



Е В Г Е Н И Й П Е Р М Я К

ДЕТСТВО
МАВРИКА

Annotation

Повесть о детстве мальчика в приуральском заводском поселке до революции. Маврик жадно вбирал в себя впечатления окружающего мира, сочувствовал и помогал детям рабочих, боролся как мог за справедливость. Когда пришла революция, он, уже юноша, без колебаний встал в ряды восставшего народа и принял горячее участие в строительстве новой жизни. (По роману «Горбатый медведь»).

Рисунки О. Коровина.

- [Евгений Андреевич Пермяк](#)
 -
 - [О ТОМ, КАК НАПИСАЛАСЬ ЭТА КНИГА](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [ТРЕТЬЯ ГЛАВА](#)
 - [II](#)
 - [III](#)

- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [ТРЕТЬЯ ГЛАВА](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)

- [VII](#)
- [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [ТРЕТЬЯ ГЛАВА](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [ВТОРАЯ ГЛАВА](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!



Евгений Андреевич Пермяк

Детство Маврика

ЕВГЕНИЙ
ПЕРМЯК

ДЕТСТВО
МАВРИКА

Повесть

Москва

• ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА •

1976

О ТОМ, КАК НАПИСАЛАСЬ ЭТА КНИГА

Эту книгу - «Детство Маврика» - я задумал, как мне кажется теперь, еще в студенческие годы, но до последних лет не решался написать ее. Меня останавливало главным образом то, что и без того много книг о детстве.

Но позднее, спустя годы, мои опасения рассеялись, потому что в жизни уральской детворы столько самобытного и своеобразного, что и при желании нельзя повторить ничье детство. Об этом говорил мне в своих письмах и знаменитый уральский сказочник Павел Петрович Бажов, говорили то же самое и мои родные. И я понял, что не написать об этом - значит спрятать от других самое дорогое, чем я располагаю.

Всякая книга, как и сама жизнь, таит много неожиданностей. Вечером вы намечаете одно, а утро изменяет все. Изменяет иногда до неузнаваемости. Так же случилось и с моей повестью. Я твердо знал, что буду рассказывать только о Маврике и его товарищах, но на страницах рукописи появились взрослые. Появились как-то сами собой. Я их не звал, не ждал, а они вторглись в повесть и не захотели уходить, как бы доказывая этим, что детства не бывает без взрослых, как не бывает маленьких деревцев без леса.

Мне пришлось уступить почтенным и солидным персонажам.

После того как новые герои освоились в моей еще далеко не дописанной книге, они потащили в нее своих соседей, родню, приятелей и даже тех, с кем они были в плохих отношениях. Так в повести появились малоприятные и совсем неприятные действующие лица. И началось невероятное. Повесть для детей уже в первом черновике стала превращаться в роман для взрослых, который теперь невозможно было назвать «Детство Маврика». Пришло новое заглавие - «Горбатый медведь», а почему именно оно, вам не трудно будет догадаться, прочитав эту книгу.

Так и начал свою жизнь мой роман «Горбатый медведь». А повесть «Детство Маврика» совсем было растворилась в романе для взрослых.

Однако же добрые и благожелательные люди рассудили по-своему. Они сказали, что «Горбатый медведь» может жить своей жизнью, а «Детство Маврика» - своей, не мешая друг другу. И я принялся выбирать из романа все необходимые строки, чтобы из них составилось «Детство Маврика». И это было не так трудно, потому что вычеркивать всегда легче, нежели писать.

Вот и вся история этой повести.

Некоторые спрашивают, не является ли «Детство Маврика» автобиографической книгой. На это я всегда отвечал: нет. Так же я отвечаю, если и у вас закрадется подобное предположение.

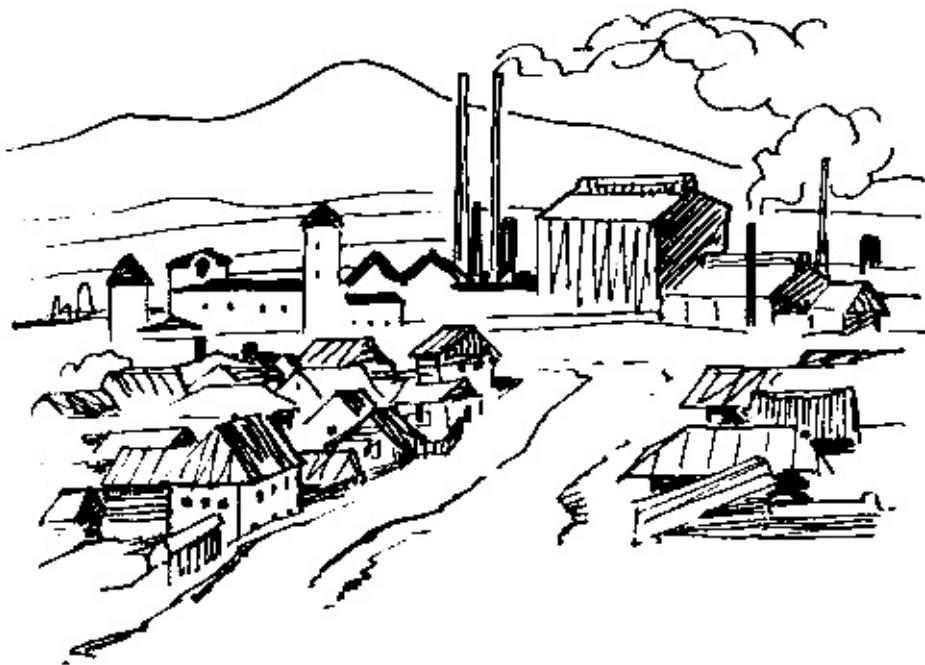
Но все же на свете нет писателя, жизнь которого и жизнь окружающих не сказались бы на его произведениях. Не избежал этого и я, наделив действующих лиц повести некоторыми чертами и характерами людей, которых я знал, любил или презирал.

Зачем скрывать: мне хотелось бы, чтобы мое детство было похоже на Мавриково. Но увы... Нельзя изменить прожитого, исправить минувшее. Да, этого нельзя сделать, но можно отдать другому мальчику все самое лучшее, что было в тебе и твоих товарищах. И заставить этого другого, порожденного тобой, мальчика жить на белых листах повести таким, каким ты не был, но хотел бы быть.

Мильвенский завод, где происходит действие этой повести, тоже не списан с какого-то определенного завода, а создан заново из многих ему подобных. Потому что мне хотелось соединить все характерное, типичное и через «сборную» или лучше сказать - собирательную Мильву показать обобщенный рабочий поселок Урала и населяющих его людей.

Теперь, кажется, все, что мне нужно было сказать у порога повести.

Автор



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

Рано начинаются зимние сумерки в затемненной сырой квартире с двумя маленькими окошками, которые выходят на тесный двор высокого дома. Скучно сидеть в полумраке восьмилетнему Маврику и смотреть на стрелки будильника. Еще целых два круга нужно пройти большой стрелке, и только тогда вернется мама, если ее, конечно, не задержат в магазине швейных машин Зингера, где она служит кассиршей. С мамой придет свет керосиновой лампы и тепло круглой печи, остывшей за день.

Маврик мог бы и сам растопить печь и зажечь лампу. Спички так и просятся: «Возьми нас... Не бойся. Чиркни!» «Нет, нет, - отвечает им Маврик. - Я дал маме честное слово не прикасаться к вам. И пожалуйста, не поддразнивайте меня. Разве вы не знаете, что обмануть маму - это самое страшное из всех самых страшных преступлений. За это мало тюрьмы...»

Спички получают по заслугам. Маврик закрывает их блюдцем. Пусть сидят в темноте и не смеют попадаться на глаза. Один их вид наводит на всякие размышления. А Маврик был и останется порядочным человеком на всю жизнь.

Но и порядочному человеку, выучившему все уроки, невесело коротать время с мышами. Опять хлопнула мышеловка. И опять пришлось вздрогнуть. Маврик не трус, он просто немножко нервный. В прошлом году он испугался громкого пароходного свистка и стал после этого заикаться.

Нужно посмотреть, кто попался. И Маврик лезет под кровать. Попалась очень скромная, тихая мышка. Не бьется, не бегаёт, не старается улизнуть. Среди таких мышей и встречаются заколдованные феи, добрые волшебницы. А вдруг это не простая мышь? Стоит только ее пожалеть, и жалость снимет с нее злые чары. Пока этого еще не случилось, но может случиться. Выпущенная мышь превратится в красавицу и скажет:

«Спасибо, Маврик. Проси что захочешь, и я все сделаю для тебя».

И Маврик скажет ей:

«Пожалуйста, сделайте так, чтобы я сейчас же очутился в Мильвенском заводе, в дедушкином доме, где светло горят лампы и топят печи, где не нужно смотреть на часы и сидеть одному в темной комнате».

«Только-то и всего, - скажет волшебница, - а я думала, ты попросишь лошадку пони, а то и две... Одну себе, а другую для Санчика. Вдвоем куда интереснее скакать по улицам Мильвенского завода...»

Скажет так и тут же исчезнет, а Маврик окажется в дедушкином доме, и на дворе будут тоненько ржать две маленькие лошадки пони. Феи любят нежадных и поэтому дают им и то, что они не смеют у них попросить, но очень хотят.

Фея даже может сделать так, что на дедушкином дворе, за старым сараем, появится пруд. По пруду фея может пустить и пароход. Ей что?.. Махнула волшебной палочкой и сказала: «Будь пароход!» И будет пароход. Небольшой. С тремя каютами. Для мамы с папой одна. Для тети Кати с бабушкой другая. И для Маврика с Санчиком. Хотя они могут обойтись и без каюты. Потому что им некогда будет в ней сидеть. Нужно вертеть рулевое колесо, подбрасывать в котел дрова, давать свистки, отдавать чалки, приставать к пристаням.

Фея может сделать и так, что на пруду появятся две пристани. Тоже маленькие, но побольше кровати. И с крышей. И с флагами. Одна пристань будет называться Банная - на том берегу возле бани, а другая на этом, возле сарая, Сарайная. Или лучше - Сарайск. Город Саранск. Вот и ездите туда и обратно... Какое это счастье!

Размечтавшийся мальчик открывает мышеловку и осторожно выпускает из нее серую пленницу. Мышь не торопится убежать в свою норку. Она оглядывается на Маврика, раздумывает о чем-то... И вот-вот, кажется, начнет превращаться в фею, но не превращается...

На свете очень редко встречаются добрые феи. Из них Маврик знает только одну, да и та не фея, а тетя Катя.

Тетечка Катечка, а почему бы тебе не стать хоть на немножечко, хоть на одну минуточку феей? За эту минуточку ты бы успела взмахнуть волшебной палочкой и вернуть к себе своего Маврика.

Милая тетечка Катечка, ты не знаешь, как трудно сидеть без лампы и ждать, когда мама вернется от Зингера и затопит печь. Милая тетечка и милая бабушка, мне плохо, мне холодно, а мамы все нет и нет...

Крупные слезы заливают глаза Маврика. От слез ему становится еще холоднее, и больше нет никакой возможности терпеть, он должен написать письмо тете Кате и упросить взять его к себе, в Мильвенский завод, в теплый дедушкин дом...

II

В тот вечер Маврику не удалось написать письмо своей тетке. Помешали слезы, которые никак не хотели переставать литься из его глаз, да и мама вернулась раньше, чем всегда. Загорелась под потолком лампа, и затрещали в печи дрова. Мама принесла очень свежие сосиски, которые так любил Маврик. Она получила прибавку. Рубль. Рубль - это воз дров. Пусть небольшой, но все же воз.

Мама не забыла купить и любимые царьградские яблоки. Она все, что могла, делала для Маврика. И Маврик знал, что мама любит его. И он любил ее, хотя все реже и реже сидел у нее на коленях. Наверно, вырос. А может быть, теперь маме нужно любить не одного Маврика, потому что появился папа. Второй папа. Первый умер. Его почти не помнит Маврик. Ему тогда было три с половиной года.

Первый папа похоронен на старом кладбище против тюрьмы, где сидят «политические». На папином кресте написано: «Андрей Иванович Толлин». Маврик тоже Толлин. Тетя Катя ни под каким видом не советовала ему менять фамилию. И второй папа ничуть не обиделся на это. Наверно, он понимал, что нехорошо отказываться от фамилии настоящего отца. И кроме того, тетя Катя сказала, что быть мещанином города Перми Маврикием Андреевичем Толлиным лучше, чем сыном крестьянина деревни Омутихи Маврикием Герасимовичем Непреловым.

Мещанин - это мещанин, да еще такого города. А крестьянин - это совсем другое. Хотя его новый папа совсем не похож на крестьянина и он не носит лаптей, но все равно... Мама стала теперь Непреловой. Для нее перестать быть Толлиной ничего не значит, потому что это тоже не ее фамилия, а папина. У мамы настоящая фамилия Зашеина, как у дедушки и у тети Кати.

Но зачем на это обращать внимание. Мама со всякой фамилией остается мамой. Правда, не очень приятно объяснять в школе, почему он Толлин, а не Непрелов. Но что же делать. Он же сам согласился на нового папу и венчался вместе с ним и мамой в церкви на Слудке. И священник не запретил Маврику ходить вокруг аналая, когда мама была папиной невестой, а папа - ее женихом. Значит, Маврик тоже повенчанный со своим новым отцом. Они втроем праздновали свадьбу, и Маврик пил шипучее вино, разбавленное лимонадом. Оно шипело и щекотало в носу. Папа в этот день подарил Маврику волшебный фонарь, которым можно показывать на

стене туманные картины. Очень хороший фонарь, только мало картин. Шесть стекол. Осталось пять. Одно разбилось.

Папа и теперь каждый раз, как только получит жалованье, покупает ему подарки. Хотя и не такие, как волшебный фонарь, но тоже интересные. Он и сегодня принес подарок. Электрический фонарик с кнопкой. Стоит нажать эту кнопку, и под увеличительным стеклом, на боку фонарика, зажигается лампочка. Маврик был очень рад.

- Теперь я не буду сидеть в темноте.

Но папа сказал, что батарейки хватает только на два часа, если фонарик держать все время зажженным.

- Как мало! - удивился Маврик.

- Что же делать, - сказал папа и пообещал в следующее жалованье купить еще две батарейки.

Не попросить ли Маврику денег у тети Кати?

Нет. Он этого не сделает. Тете Кате нужно написать не о батарейках, а совсем о другом. Да и много ли изменится в его жизни, если у него будет двадцать или тридцать батареек? От этого будет, конечно, светлее в комнате, но не там, не внутри, где душа, где сердце, где спрятано самое главное, о чем нельзя рассказать ни папе, ни маме и никому, кроме тети Кати и бабушки.

В комнате стало очень тепло, и мама была так ласкова, а царьградские яблоки оказались еще вкуснее, чем они были всегда, но письмо в Мильвенский завод не выходило из головы Маврика. Оно и не могло выйти, потому что мама опять задала Маврику тот же вопрос. Она сказала:

- А не веселее ли будет тебе, если мы купим на Черном рынке маленького братца или маленькую сестричку?..

Мама всегда советовалась с Мавриком, и Маврик всегда отвечал то, что ей хотелось. Теперь ей хотелось мальчика или девочку. И Маврик не мог запретить ей хотеть этого. И если бы он сказал «нет», то мама все равно бы добилась от него «да». И он ответил:

- Да.

Мама была очень рада. Папа пообещал, не дожидаясь жалованья, завтра же купить еще три батарейки и постараться разыскать к волшебному фонарю новые стекла с новыми картинками.

Маврик молчал и краснел. Мама и папа, наверно, думали, что он краснеет от удовольствия. А он краснел от стыда. Ему было очень стыдно говорить неправду и еще стыднее слушать ее. Покупка братика или сестрицы на Черном рынке, где будто бы купили и его, это неправда. Он родился в Мильве, в дедушкином доме, в большой комнате, в пять часов

утра восемнадцатого октября, и его принимал доктор Овечкин. Это правда. А то, что старый цыган привозит на рынок полный короб плачущих ребятишек, которых продает, как цыплят или поросят, - это ложь. Но в нее приходится верить. Делать вид, что веришь. Нельзя же сказать матери, что она... Что она сочиняет. Этого сказать невозможно, но невозможно и прикидываться дурачком, хотя бы в угоду матери. Это значит - тоже лгать.

Если бы у него были деньги, он завтра же послал бы длинную-предлинную телеграмму в Мильвенский завод. И может быть, он это сделает. Его первый папа когда-то служил на почте, и у него там остался товарищ. Телеграфист. Этот телеграфист всегда здоровается с Мавриком и рассказывает ему о папе. Может быть, он пошлет телеграмму без денег или в долг?

Нет. Об этом узнает мама. Телеграфист может рассказать ей. Только письмо. Прошито нитками и запечатанное сургучом...

III

Маврик уснул рано. Электрический фонарик лежал у него под подушкой. Мальчик улыбался во сне, и мать была очень рада, что ее сын так сладко спит. Теперь никто не мешал поговорить и помечтать вслух.

- Ты знаешь, Люба, - сказал Мавриковой маме его отчим, - бумаги уже находятся на подписи. Наверно, на той неделе я буду чиновником, и тебя никто не посмеет упрекнуть за меня...

Герасиму Петровичу очень хотелось получить первый чин - коллежского регистратора - и надеть чиновничью форму. Хотя он и не останется служить в пермском окружном суде, где сейчас числится переписчиком, но, став чиновником, он перестанет называться крестьянином, что так важно для счастья Любочки и его счастья.

Ради этого он покинул Мильвенский завод, где мог занять очень хорошее место доверенного товарищества «Пиво и воды» и получать не двадцать три, а семьдесят рублей при готовой квартире с отоплением и освещением за счет фирмы. Но все равно бы все говорили, что писаная красotka Любочка выскочила замуж за мужика из Омутихи. И ей нечего было на это ответить. А теперь, извините, она чиновница, жена коллежского регистратора.

- Я так счастлива, Герочка, я так счастлива, милый мой, - говорила и плакала Любовь Матвеевна на плече мужа, который станет ее гордостью на той неделе, и она заложит в городской ломбард плюшевую шубу на лисьем меху, и тогда хватит денег, чтобы заказать настоящую форму коллежского регистратора.

Все равно скоро весна, и ей ничуть не трудно бегать в драповой жакетке от Сенной площади, где они живут, до Зингеровского магазина на Черном рынке. А потом ему прибавят жалованье... А летом не нужно будет покупать дрова и платить за обучение Маврика в школе Ломовой.

- Все будет хорошо, - шептала, засыпая, Любовь Матвеевна. И Герасим Петрович верил этому.

Розовый свет трехлинейного ночника озарял уснувших надеждами. Каждый лелеял свои желания, и они очень часто сбывались во сне. Этот бескорыстный обманщик не жалел красок, рисуя спящим людям и то, что наяву не могло выдумать самое пылкое воображение.

Герасим Петрович видел себя фермером. Фермер - это новое слово, которое появилось несколько лет тому назад. Ферма Герасима Петровича

снилась ему не столь большой. Тридцать коров. Дом в три комнаты. Хорошие лошади. Пролетка на резиновых шинах. Небольшое, но и не маленькое рубленое помещение молочного завода, где будет стоять ведерный сепаратор, бочка для взбивания сливок и пресс. Пресс прессует фунтовые кружки сливочного масла, а на кружках рельефное изображение породистой коровы и надпись: «ФЕРМА Бр. НЕПРЕЛОВЫХ». Его брат - Федор Непрелов, умный и хозяйственный, но малограмотный мужик - тоже войдет в компанию. И вообще вся деревня Омутиха будет кормиться, и хорошо кормиться, возле фермы. Кто сбивать масло, кто работать на молочном заводе, кто ходить за скотом. Но до этого нужно заработать и скопить деньги. Все начинается с них. И служба в суде началась с денег. Продается и покупается все, даже место судейского переписчика.

Герасим Петрович не собирается сделать хуже для своих однопороденцев-омутихинцев. Он хочет, чтобы они ходили в сапогах, а не в лаптях, пахали плугами, а не сохами, и благодарили своего благодетеля коллежского регистратора в отставке, фермера Непрелова.

Лучшего сна нельзя и желать. Однако же, если бы этот фермерский сон вместе с Герасимом Петровичем могла видеть и Любовь Матвеевна, то им, наверно, пришлось бы скоро проснуться. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не будет жить в деревне. Потому что «это ужасно и невыносимо и, одним словом, кошмар».

Любовь Матвеевна видит себя женой доверенного фирмы «Пиво и воды». Квартира на втором этаже. Варшавские кровати с никелированными шишками. Ковры на полу и на стене. Большой столовый стол с двенадцатью венскими стульями. Четверги или пятницы, когда собираются гости. Преферанс и лото. Пельмени. Шуба на беличьем меху. Оренбургская шаль, которая легко продевается в обручальное кольцо, и смиренная вороная лошадь. Как у Дудаковых в Мильве.

И это она отчетливо видит во сне. Видит и знает, что этот сон станет явью. Любовь Матвеевна не позволит себя обманывать даже сном. Она видит только то, что будет или, по крайней мере, может быть.

А мещанин города Перми Маврикий Андреевич Толлин по малолетству позволяет сном властвовать над собой и показывать им невозможное.

Невозможное заключалось в том, что тетя Катя вела; ломая лед на Каме, крейсер «Варяг» и командовала: «Наверх вы, товарищи, все по местам...» И все подымались наверх. Палили из пушек. Лыдины рушились, и крейсер подходил уже к Перми, чтобы, забрав Маврика, двинуться обратно в Мильву, но в последнюю минуту «Варяг» наскакивает на

огромную льдину... «Шумит и гремит и грохочет кругом...» Маврик просыпается.

Начинается утро. Обыкновенное зимнее утро, когда заглушают будильник, когда гасят ночник с розовым стеклянным абажурчиком, зажигают лампу, потому что на улице еще темно, разогревают вчерашний ужин или просто пьют чай с почерстевшим за ночь хлебом.

Маврик, закрывшись с головой одеялом, оплакивает гибель тети Кати вместе с крейсером. Но сон постепенно оставляет мальчика, а с ним проходит и страх...

IV

Маврик мог бы и не просыпаться так рано. В школе Ломовой занятия начинаются в девять часов утра. А до школы - пять минут. Но Маврика нужно накормить, а потом погасить лампу. Ему этого делать тоже не разрешено. И Маврику приходится уходить из дому на полтора часа раньше, когда уходят его родители. Ничего не поделаешь - они тоже не виноваты.

Маврик обычно заходит в Богородскую церковь. Там тепло, и его знает церковный сторож. Но что делать в церкви? Смотреть на иконы? Он уже насмотрелся на них. Замаливать грехи?.. Какие?

Иногда Маврик заходит в булочную. Булочная открывается очень рано. Но в булочной можно постоять недолго. Там обязательно спросят: «Что тебе?» Не ответишь же: «Мне ничего, я просто так».

Утром необыкновенно трудно проболтаться час. Раньше он заходил к сапожнику Ивану Макаровичу, который с удовольствием разговаривал с ним. Но мама запретила заходить к нему, потому что у сапожника он может набраться скверных слов, хотя у Ивана Макаровича были только хорошие слова. Он любил Маврика. Он называл его «барашей-кудряшей». Он рассказывал ему множество интересных историй. Почему же нельзя дружить с сапожником, у которого нет детей, а он любит их? Почему?

Но мама все равно потребовала, чтобы Маврик дал ей честное слово не заходить больше к Ивану Макаровичу, и заходить стало некуда.

Другое дело после школы. Можно пойти в городской музей. Правда, он там бывал раз сорок и знает все от чучел зверей до двухголового ребенка, заспиртованного в банке. Но все равно, когда некуда деваться, можно пойти и в музей. Там его знают...

Иногда он проводит время у бабушки. У мамы первого папы. Но бабушка живет в богадельне и не одна. В ее комнате еще шесть других, чьих-то бабушек. Там нужно сидеть на одном месте и разговаривать шепотом. А это очень трудно. Да и бабушка начинает спрашивать, как он живет, что делает, любит ли его новый отец, тепло ли в квартире, почему его мама давно не была в богадельне... На эти вопросы ему не очень легко отвечать. Если Маврик скажет правду, то получится, что он жалуется на свою маму, а ничего не говорить тоже нельзя. Бабушка требует рассказывать все.

- Я же твоя родная бабушка, - говорит она, - ты ничего не должен

скрывать от меня. Если что, я сумею постоять за тебя...

А как «постоять»? Обидеть его маму? Накричать на нее? Она и без того как «белка в колесе». И это она не выдумывает. Ей нелегко.

Если бабушка на самом деле хочет «постоять» за него, так пусть приходит после школы и посидит с ним хоть полчаса. А бабушка этого не делает. Но и ее нельзя обвинять. Наверно, ей неприятно видеть вместе с мамой другого папу... Да и папе, наверно, тоже не хочется встречаться с бабушкой, которая ему никто, а «одни только напоминания». Хватит ему и того, что Маврикий Андреевич Толлин напоминает и лицом и фамилией первого папу, а тут еще «старая свекровка Толлиниха». Так ее называет Маврикова мама.

Вот и приходится заходить в богадельню к бабушке очень редко, когда совсем некуда деться. Если бы Маврик учился в обыкновенной школе, то у него были бы обыкновенные товарищи. Как он. И Маврик мог бы приходиться к ним, а они к нему. И было бы хорошо. Но в школе у Александры Ивановны Ломовой учатся мальчики, которых привозят и увозят на лошадях или приводят и уводят горничные. Не всех, но многих. А те, которые ходят сами, все равно не кассиршины дети. У них папы не служат переписчиками в судах. У них папы господа или купцы, а мамы купчихи или барыни... И все они живут в своих больших домах или в квартирах, где много комнат, и туда нельзя приходиться, как к сапожнику.

Впрочем, Маврика однажды пригласил к себе школьный товарищ Володя Морин, но потом перестал приглашать. Перестал приглашать потому, что Володя побывал в квартире у Маврика. Побывал и увидел, что у Маврика вместо столика для учения уроков стоит ящик из-под зингеровской машины, покрытый клеенкой. Увидел, что стульев только три и все разные, а комнат одна. Увидел и рассказал об этом всем остальным в первом классе. И все заметно переменились. Правда, Александра Ивановна Ломова разговаривала с классом и сказала, что «бедность не порок», но все же от этого Маврик не стал богаче, а несчастнее стал. Его при всех назвала бедным сама Александра Ивановна... А быть бедным среди богатых еще хуже, чем сидеть одному в темноте.

Однако в классе находились мальчики, которые не обращали внимания на богатство. Например, Геня Шаньгин. Геня был паровозом. Он самый большой в классе. Его оставили на второй год. Он умел свистеть и шипеть, как настоящий паровоз. И когда в переменку играли в поезд, Геня Шаньгин подымал пары, подавал свисток, и все мальчики становились вагонами друг за дружкой, держась за ремни. Геня начинал шипеть, потом двигать локтями, как паровозными рычагами... Поезд двигался по классу, потом по

большой комнате...

Маврик сначала был почтовым вагоном, а теперь его сделали простым товарным - и он мог прицепляться только к хвосту поезда. Самым последним.

Плохо быть простым товарным вагоном в хвосте поезда. Можно оторваться на крутых поворотах и полететь кувырком и больно удариться о печь. Но быть никем еще хуже.

Спасибо Гене Шаньгину за то, что он разрешает Маврику быть в его поезде хотя и последним, но - вагоном...

Если бы Маврик знал, что ему так плохо будет в Перми зимой, разве бы он поехал сюда? Ему нужно было сказать всего лишь одно слово - «нет», и тетя Катя и бабушка ни за что не отпустили бы его из милой Мильвы.

Но Пермь манила его. Он любил приезжать в этот белый город. Белый город начинался дымным Мотовилихинским заводом. Мотовилиха чем-то походила на родной Мильвенский завод. За Мотовилихой сразу же начиналась Пермь. В городе Маврика ждал жареный миндаль в «фунтиках», вафли трубочками, горячие жареные пирожки, фонтан в театральном саду, извозчики, у которых лошади так хорошо выколачивают копытами «ток-ток-ток».

Да разве можно с чем-нибудь сравнить Пермь летом. Что может быть лучше, чем стоять в набережном саду, который почему-то называется Козьим загонем, хотя там нет никаких коз. Стоять в Козьем загоне и любоваться пароходами. Сколько их тут... Любимовские, каменские, кашинские, русинские... А буксирных? А барж? А плотов? Про лодки нечего и говорить. На них можно и не смотреть.

Как было бы хорошо, если бы не застывала Кама, не заносило снегом улицы и ночи бы всегда оставались короткими, светлыми, а дни длинными и теплыми. Тогда бы не нужно Маврику торчать в музее, в церкви, в писчебумажном магазине и вообще придумывать, куда уйти от холода и рано наступающей темноты.

Маврик многое увидел, узнал и понял в Перми. Но мог ли он увидеть больше и понять лучше увиденное, чем он мог?

И помехой этому были не только его малые годы, но и глаза, которые могли видеть окружающее и понимать его так, как видели и понимали мама, папа, тетя Катя и две бабушки.

Недавно бабушка Пелагея Ефимовна Толлина внушала внуку:

- Кому как написано на веку, тот так и живет. К примеру: булочник торгует булками, мужики косют рожь, судьи судят, рабочие работают, губернатор губернаторствует, школьники учатся, нищие просят милостыньку, а царь царствует над всеми. Понял?

- Понял!

И бабушка опять начинает наставлять:

- Всякому свое, и все от бога. И никто ничто не может изменить,

потому что от бога не до порога и без него даже и волос не упадет ни с чьей головы. Ясно?

- Ясно.

Да и как может быть не ясно, когда он это же, только другими словами сказанное, слышал от первой бабушки. От главной.

Значит, так устроена жизнь не только в Мильвенском заводе, но и в Перми. Коли Агафуровым написано на веку быть хозяевами большого магазина, они и торгуют. А батюшкам в Богородской церкви написано отпевать покойников и крестить ребят - они и отпевают, и крестят. Всякому свое. И было бы смешно, если бы губернатор стал играть вдруг на шарманке и предлагать билетик на счастье или отпевать покойников, а шарманщик ездить в карете. Не может и он, Маврик, стать вагоном-салонном или хотя бы багажным, если ему написано на веку быть товарным вагоном и прицепляться в хвост поезда. И этого нельзя изменить.

Мало ли истин, на которые можно и нужно положиться. И полагались. Терпели, обманывались и молились.

Кто же мог сказать Маврику, что богатые люди богаты потому, что бедны другие, что они обворовывают их. Этому не поверил бы Маврик, даже если бы так сказал ему и сам Иван Макарович, который очень много знает. Больше учительницы в школе Ломовой. Маврик обязательно бы удивился и спросил: если они воры, то почему же не сидят в тюрьме?

Кто мог разъяснить Маврику, что эта кража состоит в том, что одни нанимаются на работу, а другие нанимают их. Одни работают, а другие наживаются на их работе, не доплачивая им за нее.

Кажется, просто, но этого бы не понял и его отчим Герасим Петрович Непрелов. Ему, как и миллионам других не могло прийти в голову, что через семь лет рухнет это царство купцов, фабрикантов, чиновников и жандармов. И его превосходительство господин губернатор, упоминание имени которого приводит в трепет, будет - никто.

Многие ли знали, что «политические», которые сидят в тюрьме напротив кладбища, которых иногда проводят по улицам в кандалах, - хорошие люди? Люди, которые хотят счастья для всех и для тех, кто никогда не слышал об этом счастье. А они борются, жертвуют свободой, а иногда и жизнью во имя жизни других. И Мавриковой жизни.

Маленький Маврик, ты ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что сапожник Иван Макарович, которого ты любишь и который любит тебя, вовсе не сапожник. Не такой простой была жизнь, какой она представлялась многим людям. Не так легко стало распознавать людей.

Кто заподозрит встреченного на сибирской улице франта с

ухоженными усиками и увидит в нем бежавшего с каторги организатора студенческих волнений! И не подумаешь, что девушка, так похожая на бедную швейку, везет в футляре не швейную машину, а шрифты для восстанавливаемой партийной типографии. И уж, конечно, никому не приходило в голову, что сапожник Иван Макарович Бархатов один из организаторов большевистского подполья. Ко многим заводам Урала тянутся невидимые нити из подвала, где Иван Макарович Бархатов, в перепачканном варом фартуке, ставит заплаты, подбивает стельки и косячки на сношенные каблуки.

Если бы знали отец и мать Маврика, как предан он Ивану Макаровичу! Если бы знал Маврик, как много будет значить в его жизни Иван Макарович!

А пока...

А пока Пермь живет своей жизнью нужды и благополучия. Идет тысяча девятьсот десятый год, когда, кажется, утихомирилось все и забылись недавние волнения. Волнения тысяча девятьсот пятого года. Он ушел навсегда, и как будто ничто не возвратит теперь эти опасные для империи месяцы.

Купцы Агафуровы расширяют торговлю. Пароходчики Любимовы, Каменские готовятся пустить новые пароходы. На фабриках и заводах тишина. Его превосходительство господин губернатор может безопасно ездить в открытой карете и давать открытые балы.

Власть тверда и незыблема.

Так думала, так заставляла себя думать благополучная, богатая, верноподданная, чиновная, купеческая, епархиальная, губернаторская, чернорыночная Пермь.

VI

Когда пришло письмо, прошитое нитками, с печатью из хлебного мякиша вместо сургуча, Екатерина Матвеевна Зашеина, оставив все, распечатывая конверт, дрожащим голосом сказала:

- Mamочka, от Маврушечки письмо, - и принялась читать вслух: «Дорогие родители, тетя Катя и бабушка!..»

Этих слов было достаточно, чтобы высокая полная женщина, с умным лицом, в очках, которые ей придавали особую солидность, прослезилась вместе с маленькой старушкой, сидевшей на низенькой кровати, покрытой лоскутным сатиновым одеялом. У нее сами собой вырвались слова:

- Конечно, родители! Кто же мы ему?

Написав без единой ошибки первую строку, уместив буквы в линейки листка, вырванного из тетради, далее Маврик уже не заботился о грамматике и каллиграфии. До них ли ему, когда нужно было рассказать самое главное. О том, как «плохо ему живецца», как поздно приходит мать, как ему «нечего делать в Богородцкой церкви»...

Теперь уже тетушка и бабушка не плакали, а рыдали:

- И за что это все, за что...

Маврик знал, как тетя Катя боится, чтобы он не простудился, и особенно выразительно написал про холод в квартире: «а вечеромъ холотно здесь и зуббы нипирастають чакадь одинь обь другой».

Платок был мокр. Екатерина Матвеевна утиралась кухонным полотенцем.

- Что же это, что это, мамочка...

Буквы письма вылезали из строк, прыгали, скакали, будто им тоже было холодно, и от них отскакивали палочки и крючки.

И так три страницы. На одной оставила след слеза, растворившая и размазавшая слово «прииздй».

Екатерине Матвеевне стало трудно дышать. Она подошла к русской печи и открыла дверцу трубы, затем снова принялась читать. Маврик умолял: «Не дожидайса когда пройдетъ леть на каме, а прииздй на делижанцовых лошадах».

И далее: «буду ждять тибя днем и ночью».

И наконец, подпись: «Учен. 1-го класса Маврикий Толлинъ».

Валерьяновых капель оказалось недостаточно. Пришлось нюхать нашатырный спирт.

На «бессовестную из бессовестных Любку», то есть на мать Маврика, был исторгнут весь запас ругательств, которыми располагала оскорбленная тетушка. Просолонив слезами полотенце, Екатерина Матвеевна, причитая, жаловалась Мавриковой бабушке:

- Я же как в воду глядела, что так и будет. И как только мы отпустили его? О чем мы только думали? Отчим не отец, и родная мать при втором муже немногим лучше мачехи.

Далее шли «преисподние» и «тартарары» и еще менее приятные пожелания.

За окном разыгралась метель, усиливая впечатление после прочитанного письма и сгущая краски. Екатерина Матвеевна, видящая теперь Пермь сквозь письмо Маврика, рисовала себе, как он в пургу бродит по занесенным снегом улицам города и ждет, когда закроется распроклятый Зингеровский магазин, ни дна ему и ни покрышки и всем, кто там служит. А здесь такая благодать. Новые обои с голубенькими цветочками так оживили большую комнату, а порыжевший потолок, оклеенный белоснежной матовой бумагой, так хорошо отражает свет лампы. А для кого это все? Для кого тюлевые новые шторы на окнах и заново покрашенный золотистой охрой пол? Как бы он мог кататься по этому полу на своем трехколесном велосипеде, который обиженно стоит в углу вместе с парходами, паровозами, клоуном, бьющим в медные тарелочки, и обезьянкой в зеленом железном сюртучке, лазающей по веревочке.

Как бы он мог играть в этот вечер! Каким бы сладким был его сон в белой кровати с кисейным пологом! И если она теперь ему стала мала, то разве нельзя было купить новую? А для кого томилось сегодня в русской печи хорошее молоко, которое приносит добросовестная, чистоплотная соседка Кулемина? Как он любил молочные пенки с белыми слоеными плюшками. А что ест он там?

Дума побивает думу. Один план за другим строит Екатерина Матвеевна и не может придумать ничего путного. Она не может даже потребовать в письме, чтобы в корне изменить жизнь Маврика. Тогда «ей и ему» будет известно, что ребенок жаловался своей тете Кате, и от этого Маврушеньке будет еще хуже.

Но утро, которое не только в сказках бывает мудренее вечера, подсказало хорошее решение. Утром пришло второе письмо из Перми. От Пелагеи Ефимовны Толлиной. И она посоветовала «принанять старушонку, которая бы могла доглядывать за Маврикием и сидеть с ним часок до школы и часа четыре после уроков».

Как все оказалось легко и просто. Нужно было какие-то пять рублей в

месяц. Ну пусть семь, и мальчик будет не один в эти месяцы, а потом она перевезет его сюда, в Мильву.

Через неделю в Пермь пришло обдуманное, хорошо взвешенное письмо и перевод на двадцать пять рублей.

«Дорогая Любочка, - писала Екатерина Матвеевна, - мы знаем из письма Пелагеи Ефимовны, как тебе трудно, поэтому просим тебя...»

Далее подробно указывалось: какой должна быть нанятая старушка и что должна была делать она по уходу за Мавриком. Но в конце письма Екатерина Матвеевна не удержалась и приписала: «Если же ты, Любовь, эти деньги измотаешь на другое, тогда запомни раз и навсегда, что не получишь от меня никогда ни одной копейки, ни одного лоскутка, и я вымолю у бога кару на твою голову...»

И наконец, Екатерина Матвеевна взывала к Герасиму Петровичу, как человеку рассудительному, непьющему и некурящему, исполнить ее просьбу относительно единственного племянника и самого дорогого в жизни существа Мавруши.

Старуха была нанята. Лампа зажигалась засветло. Купили три воза дров. Топили дважды, и стало тепло. Но веселее от этого не стало Маврику. Докучливая и исполнительная старуха Панфиловна, у которой пахло изо рта чем-то тухлым, ревностно выполняла свои обязанности. Она провожала Маврика до школы, как требовала Екатерина Матвеевна, встречала его и вела за руку. И это было унижительно для мальчика, лишенного самостоятельности. Панфиловна держала его дома, потому что в ее годы были затруднительны прогулки на берег Камы, куда рвался Маврик, чтобы посмотреть, не посинел ли, не собирается ли тронуться лед. Это было всего важнее в его жизни.

Сказки Панфиловна рассказывала плохие. Про жадных попов, про кровавых царей - злодеянов, живодеров, костоглодов. К тому же она часто дремала. И наконец это стало невыносимо. Старуха не облегчила, а затруднила жизнь Маврика.

- Мама, - сказал он, - я не хочу, чтобы приходила Панфиловна. Вечером теперь стало светло, и не нужно зажигать лампу.

Дни очень прибавились. Теплело с каждым днем. Тянуло на улицу, к ручьям, на оттаивающие тротуары. Зачем томить мальчика дома ради того, что так хочет тетка. Зачем платить деньги старухе, у которой такой хороший аппетит, за то, что она спит Маврик прав, ее нужно уволить, а на оставшиеся деньги выкупить из городского ломбарда лисью шубу, сшить черную шерстяную юбку и купить Маврику весеннее пальтишко. А если «скупая Катька» заставит вернуть оставшиеся деньги, то их можно

выплатить. Летом их куры не будут клевать.

Все оказалось разумным и правильным. Лисья шуба вернулась из ломбарда и была зашита от моли в мешок. Появилась черная шерстяная юбка, а затем и фотографические карточки, где папа, мама и Маврик в новом пальтишечке стоят у каменной ограды испанского замка. Папа в форме и в фуражке с чиновничьей кокардой. Мама в черной юбке и в модном жакете, взятом у знакомых для примерки, и в туфлях на высоких каблуках.



Очень красивая фотографическая карточка. Никто не догадается, каких трудов и забот стоит этот снимок, появившийся для того, чтобы обмануть родных и знакомых запечатленной на нем беспечной улыбкой Любви

Матвеевны, независимым взглядом Герасима Петровича и восторженным личиком Маврика, ожидающего, что из аппарата вылетит обещанный франтоватым фотографом скворец. Скворец! Не какая-то другая птица, а та, с которой приходит весна. Милая, добрая царица Весна-Красна из очень хорошей сказки бабушки Толлинихи.

VII

И бабушкина сказка сбывалась...

Царевна Весна-Красна шла и шла в своем солнечном платье.

И это платье было столь широко, что нет на свете меры измерить его ширину. А уж долго-то оно так, что и досужий язык ретивого краснобая малая верста в нескончаемой длине жаркого царевниного подола, протянувшегося далеко за Казань, до теплых морей за лазоревые Крымские горы. И пока его край, отороченный кружевом, сплетенным из золотых лучей, сметает последние снега с древних киевских земель, пока расковывает ото льда преславный Дон и священный Днепр, Весна-Красна ступает на камские берега, держит путь через Пермь в Мильвенские леса, в соленые земли и дальше на Вишеру, Колву, где стоит старая Чердынь - бабка всех городов и селений, малохоженого, мелкокопаного, плохознаемого, лесного, гористого царства скрытых руд, невиданных самоцветов, ненайденной черной огненной воды, неслыханных кладов, позапрятанных на дне самого ветхого из всех морей - Пермского моря...

Весна-Красна в этом году рано накрыла своим жарким голубым подолом холодную пермскую землю. Если бы не ночные заморозки, то посиневший камский лед треснул бы, тронулся и пошел бы шелестеть, скрежетать, жаловаться на раннее таяние.

Тетя Катя снилась теперь Маврику каждую ночь. Каждую ночь она увозила его на пароходе в Мильвенский завод, но всегда что-нибудь случалось, и он просыпался. То слишком громко свистел пароход и спугивал сон вместе с тетей Катей... То возвращался неверный месяц март и замораживал пароход... То просто-напросто бессердечный будильник заглушал тети Катин голос и возвращал Маврика из солнечного сна в серое утро...

А сегодня тетя Катя снилась так, что Маврик слышал ее голос и боялся открыть глаза. Вдруг сон опять улетит и останется только ночничок с розовым стеклянным абажурчиком да насмешливый, недобрый будильник с двумя громкими колокольчиками. Как будто мало ему одного, чтобы прозвенеть людям: «Хватит спать».

Маврик слышал, как тетя Катя говорила:

- Уже десятый час, и цветику-самоцветику пора открыть свои голубые глазоньки.

Но Маврик не мог поверить. Сны вытворяли всякое. Когда же знакомая

рука, от которой пахло как ни от какой другой, потрепала его по щеке, он решил открыть один глаз. Только один, чтобы другим удержать сон.

- Деточка моя, - услышал он, - голубок мой...

Это была она, и он завизжал от радости, обнял ее и, заикаясь, стал спрашивать:

- Ты не во сне? Ты не во сне, тетечка Катечка?

- Да что ты, да что ты, проснись, моя худышечка... Боже мой, какие у тебя остренькие лопатки. И ребрышки можно пересчитать... Я ведь еще вчера приехала... С первым. Ты уже спал. Не хотела будить тебя...

Екатерина Матвеевна тут же, в постели, дала Маврику теплого молока, мягкую плюшечку и только потом стала помогать ему одеваться.

Маврику так много нужно было рассказать, и ему никто не мешал. Мама и папа давно уже ушли на службу. На будильнике половина десятого. И он говорит об отметках, перескакивает на электрический фонарик, потом начинает рассказывать о Панфиловне, спрашивает о Санчике...

Рассказывая, Маврик то и дело трогает тетю Катю, проверяя, на всякий случай, не во сне ли она и не исчезнет ли так же, как вчера, как исчезала она много раз.

Екатерина Матвеевна не знает этого и очень боится за «умственное состояние» племянника Мало ли «тронутых и блаженненьких» в раннем возрасте, особенно из впечатлительных детей, которые заболевают по самым непредвиденным обстоятельствам.

С Мавриком ничего подобного не случилось. Он просто измучился и начал заикаться, и немножечко больше, чем раньше. Но скоро она его увезет, и мальчик снова окажется в хорошей обстановке. От заикания не останется следа. А теперь нужно как можно скорее пойти в город по магазинам, чтобы он знал, как она любит его, и что ей не жаль для него ничего, и она готова истратить все десять рублей, которые отложены только для прихотей Маврика.

Прихотей оказалось не столь много. Нужно было купить фунт мягкой вишневой пастилы беззубому сторожу Богородской церкви. Затем побольше колбасных обрезков, чтобы «чайные» и «рябчиковые» съесть без хлеба самому, а остальными досыта накормить ласковую собачонку из соседнего двора и мышей. Наверно, все-таки одна из них, та, что смело приходила к нему на стол, когда он учил уроки, не простая мышь. Фея не фея, но какая-нибудь добрая девочка, заколдованная мачехой или кем-нибудь еще.

И наконец, нужно было купить жареного миндаля и батареек. Тетя Катя, как и мама, также боится спичек, свечек, огня. И ей будет удобно

обходить перед сном с фонариком все уголки дома и проверять, не забрался ли кто и на все ли крючки заперто все.

Как он повзрослел за эту зиму! Не прибавив в росте и одного вершка к огорчению Екатерины Матвеевны, Маврик очень часто рассуждал не по годам и задумывался над тем, что не должно беспокоить его на девятом году жизни.

Когда жареного миндаля было куплено два фунта, потому что его не найдешь и днем с огнем в Мильве, Маврик очень серьезно спросил:

- А останутся ли у нас, тетя Катя, деньги на билеты? - И наставительно, точь-в-точь как это делала бабушка Толлиниха, сказал: - Их нынче надо тратить с умом. Золотые корабли к нам не приплывут.

Тетя Катя испуганно посмотрела на Маврика, глубоко вздохнула и ответила:

- Это верно, Маврушечка, но нельзя же отказывать себе в самом необходимом, - и попросила татарина-лавочника взвесить еще фунт жареного миндаля на дорогу.

Дорога уже была предрешена. Они поедут послезавтра. В экономной одноместной каюте второго класса на пароходе с негромким свистком.

Как хорошо, что они поедут не в общей дамской каюте третьего класса, а во втором классе, где нет никаких дам и полных теток в вязаных жакетках, которые всю дорогу тискают Маврика, сажают на колени, нахваливают его кудри и целуют толстыми мокрыми губами, не имея на это никакого права.

Пассажиру второго класса не нужно просить разрешения у толстого капитана побыть немножечко на верхней палубе и потом благодарить его, вежливо шаркая ножкой. Во втором классе можно попросить в каюту телячьих ножи, поджаренные с сухарными крошками и с зеленым горошком, вкуснее которого никогда и ничего не едал Маврик. Разве только пельмени. Но это домашняя, а не пароходная еда.

Как знает тетя Катя все его желания! Какая начнется теперь у него жизнь! Вернется все - и велосипед, и лужок за сараем, по которому можно плавать и на самодельном пароходе из старых ящиков и досок. Хорошо бы купить щенка и достать настоящий спасательный круг.

Маврик прикидывает к тете Кате и громко, не обращая внимания на лавочника, на покупателей, признается ей в своей любви:

- Я люблю тебя со всю Пермь, со всю Мотовилиху, со всю землю и со все небо... А «им» тоже хорошо будет жить без меня, с другим мальчиком или с другой девочкой.

Екатерине Матвеевне, солидной женщине в очках с золотой оправой,

никак не годилось давать волю слезам в бакалейной лавке, а они текли.

VIII

Все уже было готово к отъезду, нужно было только сходить к бабушке Пелагее Ефимовне Толлиной. Маврик вчера побывал на папиной могилке, и тетя Катя велела обложить ее новым дерном. Это сделали тут же, при ней и при Маврике, а потом отслужили панихиду. Мама хотя и знала, что нужно следить за могилкой, служить панихиды, насыпать зерен и крошек птицам, но ей было некогда. А у тети Кати было время. Она не забывала первого папу Маврика и привезла три крашенных яйца. Одно из них она положила на могилу и сказала папе, как живому:

- Здравствуйте, милый Андрей Иванович!

Маврику тоже нужно было поздороваться с папой и положить второе яйцо на могилку, а третье положить на другую, на дяди Володину могилу. Он тоже умер скоропостижно и преждевременно. И тоже от скоротечной чахотки, поэтому Маврику нужно беречь свое горло и завязывать его шарфом, даже в теплую погоду.

Побывал Маврик и у тети Дуни на собачьем дворе. Пришлось прикупить колбасных обрезков для собак, которые сидят в клетках, потому что их еще не нашли хозяева.

Зашли проститься и к сапожнику, Ивану Макаровичу Бархатову, в подвал с крутой лестницей, и тетя Катя очень боялась оступиться. Но все равно она спустилась туда, потому что «безнравственно забывать старых друзей». Маврик хотя и не знал, что значит это слово, но понимал, что поступать «безнравственно» - это плохо. Почти бессовестно.

Сапожник Иван Макарович подарил на прощание Маврику маленький молоток и привинтил резинки на каблуки его новых башмачков.

Тетя Катя преподнесла Ивану Макаровичу штоф с водкой и сказала:

- Спасибо вам, Иван Макарович, за все, за все, - и поклонилась ему.

- Что вы, зачем же это, - стал отказываться заметно смутившийся Иван Макарович. - Я же не за это любил и люблю вашего мальчика... Мне, конечно, трудно объяснить вам, но вообще-то спасибо, поскольку это от чистой души. Когда-нибудь я сумею отблагодарить вас... И вообще... - не досказал Иван Макарович и смущенно улыбнулся.

А что он мог досказать ей? Что она произвела на него очень хорошее впечатление? Что по счастливой случайности он знает о ней куда больше, чем рассказывал Маврик? Что ее мильвенский сосед Артемий Кулемин познакомился с ним в ссылке? Что, рассказывая о своем заводе, говорил и о

Зашеинных? А теперь, когда было решено создавать подпольную типографию нового типа в Мильвенском заводе, то этот же Кулемин, которому было поручено подыскать помещение для типографии, указал на зашеинский дом как на самый подходящий во всех отношениях?

Ничего этого не мог сказать Иван Макарович. И он ограничился тем, что узнал о дне отъезда и названии парохода, на котором она отправится с Мавриком.

- Желаю вам, Екатерина Матвеевна, и вашему племяннику всяческого благополучия в Мильве. Я слышал, что это очень хороший и тихий завод.

- Да, да, - подтвердила Екатерина Матвеевна и протянула Ивану Макаровичу руку в черной плетеной перчатке. - Желаю и вам благополучия в вашей работе. Прощайся, Маврушечка, с Иваном Макаровичем.

Иван Макарович поцеловал своего барашу в голову.

А бабушка Толлина не прослезилась, прощаясь с Мавриком. Она только благословляла и наставляла внука. Тетя Катя подарила бабушке черную косынку. А бабушка ничего не подарила ей. И Маврику тоже ничего.

Как оказалось, Пелагея Ефимовна не сумеет прийти на пристань, чтобы проводить Маврика. Она сказала:

- Во-первых, дальние проводы - лишние слезы, а во-вторых, умер купец Кунгуров и меня звали читать. За это дадут никак не меньше трешницы. При моем положении, Катенька, три рубля - большой капитал...

- Конечно, конечно, - согласилась тетя Катя и велела Маврику поцеловать бабушку.

Потом бабушка взяла толстую книгу - псалтырь, - напечатанную церковными буквами, по которой она будет читать у купца Кунгурова, и сказала:

- Я провожу вас до уголка.

На углу бабушка в последний раз поцеловала Маврика и пошла от живого внука к мертвому купцу, чтобы обогатить новыми рублями свою пуховую копилку-подушку, завещанную Маврику, которого она видит в последний раз. И это прощальное свидание с ним, с единственным человеком, которым она хоть как-то продолжится и останется жить на земле после своей смерти, и есть самое дорогое и самое яркое в этом ее последнем году.

IX

Ко второму папе Екатерина Матвеевна и Маврик решили не заходить, хотя и шли мимо красивого белого, совсем не судейского здания суда. Папа простился с Мавриком утром. А с мамой Маврик еще увидится. Они заедут к ней, когда отправятся на пристань.

До отвала парохода оставалось более четырех часов, а делать в Перми уже нечего. Можно бы зайти в городской музей и показать тете Кате двухголового ребенка, заспиртованного в банке, но это невозможно. Она тогда не будет есть два дня. Тетя Катя может лишиться аппетита, если ей показать лягушку. И не живую, а нарисованную на картинке.

Можно бы отправиться за богадельню на пустырь. Там гастролируют цирки, балаганы, показывают чудеса заезжие фокусники, факиры, властелины черной и белой магии... Там же продается владельцем прогоревшего балагана маленькая лошадка пони, которая называется загадочным и прекрасным именем Арлекин. Арлекин позволял погладить себя Маврику, и он мог на нем прокатиться за три копейки два круга. Теперь пони не нужен хозяину, потому что нужны деньги на проезд в Самару, и он продает смиренного и ласкового Арлекина.

Неплохо было бы добавить копейку и прокатать бабушкин семик на Арлекине. Но зачем? Зачем еще раз расставаться, еще раз обнимать шею, гладить исхудавшие бока и шептать: «Прощай на всю жизнь, прощай, моя маленькая лошадка, тебя, наверно, купят для богатого мальчика, пусть он любит тебя не меньше, чем я».

В нелюбимой квартире на Сенной площади делать тоже было нечего, и тетя Катя сказала, что лучше посидеть на пристани, где свежий воздух, чем слоняться по улицам. На пристани могли разрешить занять каюту раньше времени.

Так и сделали. На бирже наняли извозчика. Извозчик забрал вещи. Их было немного. Мавриковы костюмы с кружевными воротниками, белье, волшебный фонарь и книжки. Простыней не оказалось, а одеяло совсем вытерлось. А подушки никто не возит в Мильвенский завод, когда там столько пера и пуха продают на базаре. Подушки лучше продать в Перми, а в Мильве купить новые.

Тетя Катя ни за что не захотела садиться в пролетку, пока не вылез извозчик и не подержал лошадь за узду. Лошадь может дернуть, когда одна нога находится в пролетке, а другая на земле. Но лошадь не дернула. И

вообще она, оказывается, не трогалась без громкого «но-но» и кнута. После «но-но» и кнута она бежала тоже «так себе».

- Так рано? - спросила мама.

- Да что же тянуть, Любочка, - ответила тетя Катя.

В магазине было много покупателей. Мама то и дело получала деньги за иголки, за нитки, за машинное масло во флакончике с картинкой, на которой румяная боярышня сидела за ножной машиной и шила в большой букве «З».

Маме не хотелось на прощание расстраивать сына, и она старалась говорить очень весело:

- Я осенью приеду... А лето пролетит незаметно...

Маврик знал, что мама приедет в августе или в сентябре, потому что его братцу или сестрице лучше и дешевле появляться на свет в Мильве, чем в Перми.

Поговорить в суতোлке при посторонних людях так и не удалось. Да и не о чем говорить, когда все переговорено. Нужно скорее, пока еще у сына сухие глаза, отдать ему большую коробку с вафлями, пирожным и с десятью катушками прочных ниток для змейков.

- Слушайся тетю Катю. Она тебя любит больше всех.

Маврик получил коробку. Мама поцеловала его и тут же, повернувшись лицом к полкам магазина, громко сказала:

- Теперь идите. Можете опоздать...

Тетя Катя повернула Маврика к двери, и вскоре лошадь снова зацокала своими копытами по булыжнику. Маврик не плакал, но и не радовался.

Очень хорошо, что он уезжает в свой Мильвенский завод, но было бы лучше, если бы мама не оставалась, а ехала бы вместе с ними в каюте второго класса, а папа мог бы пожить в Перми, если ему нельзя пока не служить в суде.

Маврик прижался к тете Кате и, заикаясь, сказал:

- Хорошо бы, когда мы приедем в Мильву, послать маме какую-нибудь посылку... Она их очень любит...

Губы Маврика дрожали, как и голос.

Заметив это, тетя Катя пообещала послать очень большую посылку и указала на курносого мопсика, которого какая-то барынька вела на цепочке, а он лаял и на столбы...

- Смотри, какая отвратительная пустолайка. Разве такую куплю я тебе, как только приедем домой?

На пристани боцман сказал:

- Четвертак невелики деньги, зато загодя будете чин чином сидеть в своей каютке.

Тетя Катя с радостью согласилась, и они очутились в беленькой, пахнувшей краской каюте. Теперь можно было пробежаться по палубе, ощупать спасательные круги, познакомиться с официантом, который принесет телячьи ножки, или запереть багаж в каюте и отправиться на берег, где множество лавчонок, ларьков, лотков, где торгуют пирогами, пирожками, жареным мясом, копченой рыбой, вяленой воблой, кислыми щами, овсяной бражкой, тыквенными семечками, живыми раками, печеными яйцами, красным топленым молоком... Где торговки кричат, зазывают, ссорятся из-за покупателей, сбивают цену, обсчитывают, где мазурики шарят по карманам, шарманщики предлагают купить на счастье билетик, который вынимает из ящичка общипанный попугай, где свистят полицейские и забирают воришек, где кишмя кишит народ, куда бы ни за что не пошла тетя Катя, если б не надо было ей отвлечь Маврика.

- Батюшки-матушки, как это мы забыли с тобой купить пеклеванного хлеба и вчерашней «четырешки» для чаек.

И они идут через пристань по мосткам, навстречу потоку крючников-грузчиков с большими кулями. То и дело слышится «эй, поберегись». С грохотом катятся тачки с ящичками, с тележными колесами... Пахнет весенней рекой, смолой, воблой. Множество запахов. Тьма людей. Славно журчит под мостками Кама, а на берегу еще веселей.

Екатерина Матвеевна покупает свежий пеклеванный хлеб, потом вчерашнюю «четырешку», вместо четырех копеек фунт - по три. Тетя Катя не жадная, а бережливая. Чайкам все равно. Чайки не разбирают, вчерашний или сегодняшний хлеб им бросают.

Думая о чайках, Маврик безразлично смотрел, как взвешивается хлеб, как расплачивается тетя Катя.

- Хорошо бы, - мечтательно сказал он, - наловить чаек корзины две, увезти с собой в Мильвенский завод... Прикармливать каждый день, и развелись бы у нас в Мильве чайки.

Екатерина Матвеевна хотела было одобрить затею, но слышался голос:

- А я тоже еду в Мильвенский завод...

Маврик и Екатерина Матвеевна оглянулись. Перед ними стоял темноволосый мальчик с огромными черными глазами.

- Ты кто? - спросил Маврик.

- Я Иль!

- Такое имя?

- Да. Так зовет меня папа, а мама - Ильюшей. А тебя как зовут?

- Мавриком. А на каком пароходе ты едешь, Иль?

- На том же, что и ты.

- А в каком классе?

- Мама, я и Фаня во втором, а папа в третьем.

- А почему он в третьем?

- Так ему больше нравится.

Мальчик производил хорошее впечатление на Екатерину Матвеевну. На нем была хотя и старенькая, но чистая, тщательно заштопанная куртка. Смугловатое лицо, уши, нос тоже были безупречно чисты, и густая шевелюра, отливающая на солнышке, кажется, тоже была вполне в приличном состоянии. Кроме этого, он едет во втором классе. И самое главное, мальчик поможет Маврику скоротать время до отвала парохода. Екатерина Матвеевна сказала:

- Сейчас мы выйдем из толчеи и начнем знакомиться...

И они втроем направились к Козьему загону. Черноглазый веселый Ильюша понравился Маврику, а Маврик - ему. Они сдружились и выяснили все, не сделав и ста шагов. В этом возрасте люди не требуют многих подробностей. Маврик будет учиться во втором классе, и он во втором. Маврику было трудно жить в Перми. И ему было нелегко. Разве этого недостаточно?

Но Екатерине Матвеевне хотелось знать больше, и она спросила:

- Кто твой папа, Ильюша?

- Мой папа штемпельдик. Он умеет делать очень хорошие штемпеля и печати. Вот посмотрите.

В доказательство мальчик вынул из кармана куртки небольшой штемпель, подышал на него, затем отпечатал им на своей руке - «Илья Киршбаум».

- Какая прелесть, - похвалила Екатерина Матвеевна прочитанный оттиск. - Только зачем же ручку-то пачкать?

- А на чем же я мог показать?

Видя, что довод неотразим, Ильюша лизнул напечатанное на руке и стер рукавом, доказывая этим, что только так, а не иначе он мог поступить.

- А кто твоя мама, Ильюша?

- Она теперь просто мама. Нас же двое у нее. Фаня еще ничего, а меня приходится воспитывать. А вообще-то мама - наборщик первой руки. Но что ей платили? Жалкие гроши. Папа тоже зарабатывал мало у своего хозяина. Зато хозяин неплохо зарабатывал на папе.

Екатерина Матвеевна, внимательно слушая, отлично понимала, чьи слова повторяет маленький говорун.

- И вы решили переехать в Мильву?

- Не в Екатеринбург же нам ехать? - снова серьезно принялся рассуждать мальчик. - В Екатеринбурге штемпельщиков больше, чем клопов в ночлежном доме. А в Мильве папа будет один.

Выговорившись и расположив к себе Екатерину Матвеевну, Ильюша попросил разрешения побегать с Мавриком по Козьему загону.

- Я буду козлом, а ты будешь меня загонять.

Маврик с радостью согласился. Что еще лучше можно было придумать до первого свистка. Козлом Ильюша оказался преотличнейшим. Он бегал на четвереньках, подымался и кричал «ме-е-ке-ке». Требовал афиш, заявляя, что афиши его самый вкусный обед.

Сидя на лавочке Козьего загона, Екатерина Матвеевна любовалась двумя кудрявыми головками, мечущимися по большому, безлюдному в эту пору дня набережному саду.

Сентиментальная и в меру мечтательная Екатерина Матвеевна думала о встрече Маврика с Ильюшей, в котором тоже так рано проглянул взрослый человек.

Как знать, куда поведет эта встреча у хлебной палатки племянника и этого, так запросто зашагнувшего в ее сердце чужого мальчика.

Отец Ильюши Григорий Савельевич Киршбаум и был тем организатором подпольной типографии, которого Иван Макарович Бархатов всячески стремился поселить в зашеинском доме. По замыслу Ивана Макаровича и Киршбаума, знакомство должно было состояться на пароходе. Анна Семеновна Киршбаум должна была разговариваться с Екатериной Матвеевной, но все оказалось проще, естественнее и быстрее.

Киршбаум не знал в лицо Екатерину Матвеевну, но узнал ее по приметам. Очки в золотой оправе. Черная кружевная косынка. Степенна в походке, взгляде и разговоре. Родимое пятно на подбородке. И наконец, самая безошибочная примета - кудрявый, голубоглазый мальчик в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. И когда Киршбаум увидел Маврика на мостках вместе с его теткой, он сказал сыну:

- Илья, не лучше ли, чем сидеть на багаже, познакомиться с этим мальчиком? Вам же вместе ехать...

И тогда Ильюша пошел за Мавриком и его теткой. А теперь они возвращались втроем. Екатерина Матвеевна вела за руки по шумным мосткам обоих мальчиков.

- А это, тетя Катя, моя мама, мой папа и моя сестра, - сказал Ильюша, подводя Екатерину Матвеевну к своей семье, сидящей на багаже.

- Илья, ты с ума сошел, - оговорил его отец, - может быть, госпожа, которую ты так невежливо называешь тетей Катей, и не желает знакомиться с нами...

- Ну как вы можете так, - смущенно сказала Екатерина Матвеевна, протягивая руку. - Здравствуйте, Анна Семеновна, здравствуйте, Григорий Савельевич...

Киршбаум оживился, пожал плечами и весело сказал:

- Как? Этот маленький чертенок уже предал своих родителей?..

- Так нельзя, - остановила его Екатерина Матвеевна. - Так нельзя называть младенца, Григорий Савельевич...

Не договорив, она услышала знакомый голос:

- Бараша-кудряша!

Маврик оглянулся. Ну конечно, это он, сапожник Иван Макарович Бархатов.

- Как вы любезны, - сказала ему Екатерина Матвеевна.

А он:

- Как на шиле сидел все это время. Дай, думаю, сбегаю на пристань. Невелико время полчаса, а помнить не один год будешь.

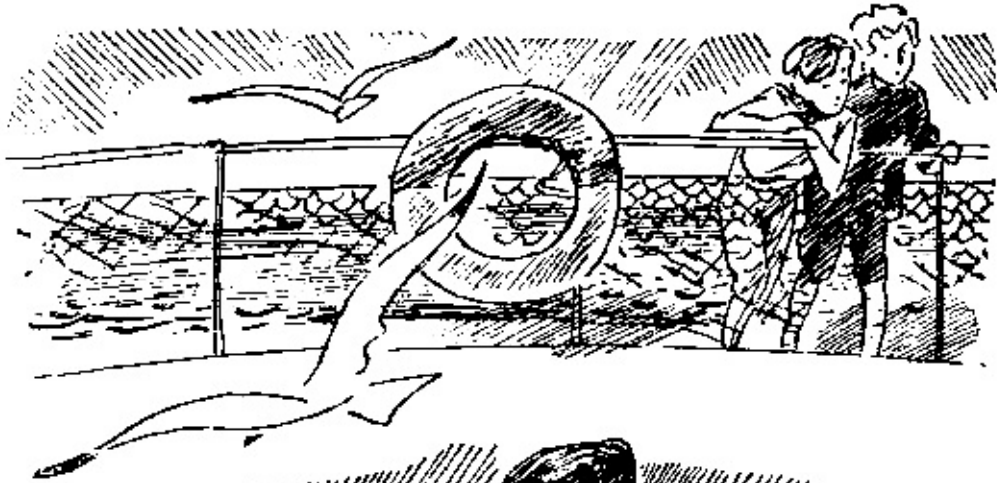
Иван Макарович Бархатов на пристани оставался недолго. Ему нужно было, чтобы Киршбаум увидел его разговаривавшим с Зашеиной и Мавриком. Бархатов нарочно громко называл Екатерину Матвеевну, а Киршбаум, проходя в это время на пароход, тоже громко сообщал своей жене:

- Теперь я вижу, что не только ты считаешь меня пентюхом, но и другие...

- Ильюша, Ильюша, - предупреждающе крикнул Маврик, - осторожно по сходням...

- Я знаю, я знаю, - отозвался Ильюша. - И ты иди. Сейчас засвистит второй.

Бархатов понял, что его опасения были напрасны. Он мог бы и не приходить на пристань. Ему очень хотелось сказать Маврику об Ильюше: «Какой хороший у тебя новый знакомый», но большая конспирация не терпит и малых промахов. Поэтому Киршбаум и Бархатов на прощание даже не обменялись взглядами.



Иван Макарович не стал дожидаться второго свистка.

- Прости, мой дружок, тороплюсь. Не забывай меня...

- Никогда. Никогда, - ответил Маврик и протянул руки к шее

Бархатова.

- До свидания, Екатерина Матвеевна, - сказал Бархатов и поцеловал ей руку.

«Бывают же и среди сапожников обходительные люди, - подумала она. Конечно, может быть, он зашел по пути. Но все равно нужно быть благодарной ему. Хоть один человек да проводил Маврика. Пусть не до третьего свистка, но проводил».

- Маврик обязательно вам напишет, Иван Макарович... Дай бог вам всего хорошего...

И они расстались.

Маврик в кармане своей куртки обнаружил надувного чертика и пачку с множеством картин для волшебного фонаря.

- Ты смотри, тетя Катя, - радовался мальчик, - папа не сумел разыскать их, а он разыскал...

Это были картинки к сказкам «Конек-горбунок», «Про братца Иванушку и про сестрицу Аленушку» и особый пакетик с картинками к рассказу Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

- Как это хорошо, как это хорошо с его стороны, - твердила Екатерина Матвеевна и в первый раз в жизни подумала, что за такого человека она, может быть, и могла бы выйти замуж. Правда, у него не очень чистые руки... Они, кажется, в дратвенном вару... Но зато сам он чистый и, безусловно, честный человек.

XII

Третий свисток засвистел скорее, чем думал Маврик. Пароход постоял еще с полминуточки, потом убрали сходни. Послышалась команда:

- Отдать носовую, - и зашумели плицы колес.

Потом отдали кормовой канат с большой петлей. Петля шлепнулась в воду и стала ползти на пароход.

Пароход шел против быстрого течения все еще прибывавшей воды вверх по Каме. С пристани махало множество рук, зонтов, шляп, платков. Маврик тоже махал тети Катиным кружевным платком. Не им, а городу. Вокзалу. Перми первой, Козьему загону, белым домам, мощеным, оживающим весной улицам и маме. Прощай, Пермь с театральным садиком и городским музеем. Прощайте, Богородская церковь и школа Александры Ивановны. Прощайте, Геня-паровоз и мальчишки-вагоны. Пассажирские, почтовые, служебные. Пусть вы и не очень хорошо относились к товарному вагону и никогда не разрешали быть ему хотя бы багажным вагоном, но все равно Маврик не сердится на вас и не желает вам колос и двоек. Это безнравственно.

Маврик смотрит на похорошевшую и ожившую в мае Пермь, жалеет и не жалеет ее. Пусть смутно, все же он начинает представлять, что есть две Перми. Пермь богатых и Пермь бедных.

Ему еще много надо прожить, чтобы понять, как устроена жизнь и почему у одних есть все, а у других ничего или очень мало, хотя и теперь он задумывается об этом, глядя на оборванных людей, сидящих внизу на корме парохода между канатами и клеткой с живыми цыплятами. На корме едут и дети. Они с удовольствием съели бы всю «четырешку», потому что едят черный хлеб с солью. Значит, он, и тетя Катя, и мама с папой живут лучше их. А они едят даже не в третьем, а в четвертом классе, где общие нары и железный пол.

Пермь остается позади. Все меньше и меньше становится высокий кафедральный собор, от которого так недалеко мама получает деньги за иголки, за нитки, за масло для швейных машин.

Вспомнив о маме, Маврик вспоминает о копейке, которую она дала ему, чтобы подарить ее Каме. Это нужно делать каждый год при первой встрече с рекой, чтобы она была доброй и в ней нельзя было утонуть.

Маврик находит в кармане монетку и бросает ее в воду. Чайки кидаются за ней, думают, что это хлеб, но монетка тонет в сероватой воде,

и птицы остаются ни с чем. Это смешит Маврика, но ненадолго. Он снова думает о маме, о папе, о бабушке, об Арлекине, о белой собачке в клетке, о серой осиротевшей мышке, совсем забывая, что рядом с ним стоит тетя Катя и что от нее нельзя ничего спрятать. Она знает, о чем он думает.

- Милый мой, не нужно вспоминать обо всем этом. Тебе еще рано морщить лобик. Пусть все остается за кормой парохода, - сказала она и махнула рукой на берег. - Пойдем лучше на нос и будем смотреть вперед.

Екатерина Матвеевна увела племянника на нос парохода.

Нелегко пароходу бороться с могучей внешней водой. Наверно, кочегары сейчас подбрасывают и подбрасывают в котлы большие поленья, чтобы пароход мог хоть как-то ускорить свой ход против течения.

Деревья выше колен в воде, а некоторые даже по макушку. Низкие берега залиты далеко-далеко, а высокие берега зажимают Каму так, что река не течет, а мчится.

Скоро будет видно, как впадает в Каму очень красивая река Чусовая. И вообще, есть на что смотреть с парохода. Берега становятся выше и круче. У каждого из них свой цвет. Попадаются встречные буксиры, плоты и баржи. Разглядывать их тоже интересно, а Пермь все равно стоит перед глазами, хотя она и далеко за кормой парохода, за многими поворотами реки.

Конечно, нужно смотреть вперед, но не оглядываться тоже невозможно. Потому что человек не пароход. У него ничего не остается за кормой, все сохраняется в нем и с ним. В нем и с ним хорошее и плохое. И ничего нельзя выгрузить, оставить на какой-либо из пристаней и забыть, потому что он человек, а не пароход. Но...

Но все-таки нужно смотреть вперед.

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

От камской пристани до Мильвенского завода не так далеко, но и не близко. Екатерина Матвеевна перед отъездом сговорила с кузнецом Яковом Кумыниным, чтобы он подал свою смирную Буланиху, а потом послала ему телеграмму, какого числа и во сколько приедет пароход. Она могла бы нанять крестьянскую лошадь и не платить Кумынину за прогон на пристань и обратно, да еще поденщину за потерянный на заводе день. Однако же Яков Евсеевич повезет не тряхнув, захватит одеяла и подушку для Маврика, постелет в коробок хорошего сена, прихватит на случай ненастной погоды большую старую столовую клеенку.

Киришбаумы наняли крестьянских лошадей. Они еле разместились со своим багажом на двух телегах. Ильюша, вчера допоздна просидевший со своим новым товарищем на палубе, теперь сладко спал подле матери. Маврика, тоже сонного, уложили в коробок, где он, укрытый теплым стеганым одеялом, проспал всю дорогу до Мертвой горы, с которой открывался вид на Мильву.

Очень не хотелось будить его на горе, но это было ему обещано, а не сдержать обещанное невозможно. Правдивость и в мелочах для Екатерины Матвеевны была святая святых. «Как я могу требовать с ребенка того, что не выполняю сама!»

На вершине горы Буланихе было сказано «тпру», и она, довольная, остановилась, а Екатерина Матвеевна сказала:

- Мавреночек, я сдержала свое обещание, но, если не хочешь, можешь не просыпаться. Мы потом сходим с тобой на Мертвую гору, когда пойдем навещать дедушку.

Маврик встрепенулся, широко раскрыл глаза, сбросил одеяло, выпрыгнул из коробка и громко крикнул:

- Мильва!.. Мильва!..

Ему хотелось крикнуть что-то еще, может быть «милая» или «здравствуй», но не хватило воздуха. Он задохнулся, увидев огромный пруд, освещенный солнцем, разноцветные дымы заводских труб, дома и улицы, начинающие зеленеть деревья и все, что называлось таким дорогим словом «Мильва» и даже «Мильвочка».

Редкий человек, приезжая в Мильву, знающий ее или видящий впервые, не останавливается на этой горе и не любуется панорамой Мильвенского казенного завода.

Сам завод находится в глубине большой зеленой долины, ниже плотины пруда. Так ставились почти все старые уральские и приуральские заводы, где падающая вода была главной силой, приводящей в движение плющильные и прокатные станы, мехи доменных печей и все, что было не по силам коням и людям.

Теперь пар потеснил воду, но все же не заменил ее полностью. Могучий Мильвенский пруд и по сей день отдает свои силы многим цехам завода. Заводом здесь называют не одни лишь фабричные корпуса, но и самый заводской поселок. Завод в понятии мильвенцев - это не село и не город, а нечто стоящее между ними.

И впрямь - Мильва, как и Нижний Тагил, как и Кушва, Юго-Камск или Очер, не города и не села, но их родные дети, как и заводские жители.

В центре Мильвы плавят сталь, прокатывают и куят железо, сооружают котлы, корпуса судов, а по улицам бредут стада коров и овец, в конюшнях ржут лошади, на дворах гогочут гуси, квохчут куры и хрюкают свиньи.

У Мильвы свой запах. Она пахнет и фабричным дымом и прелой, унавоженной землей огородов. И тот же Яков Евсеевич Кумынин на заводе кузнец, а дома сельский житель. У него богатый огород, корова, буланая лошадь, две овцы, свинья, гуси и куры, а он ни мужик, ни крестьянин, а мастеровой человек, как в большинстве жители Мильвы, которых «кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Для Маврика пока еще непонятны эти особенности и подробности жизни родного завода. Ему сейчас важнее всего увидеть дедушкин дом, а он не может его найти среди множества домов, сгрудившихся в низине.

- Да вон же он, вон, - говорит Яков Евсеевич, - с красной железной крышей, куда я указываю пальцем, подле тополей.

Теперь можно ехать.

Под гору Буланихе легко бежать. Она, чуя близость скорой кормежки, весело помахивает хвостом. Маврику хочется пересесть на козлы, но из коробка тоже видно отлично, как начинается Мильвенский завод. Он начинается не обжитыми еще «концами» улиц. Здесь не все дома достроены. Некоторые из них стоят непокрытыми срубами. Нет изгородей. Нет сараюшек.

Чем ближе к центру, тем больше и чернее деревянные дома. Каменные начнутся в самом центре. Их не так много, и все они двухэтажные, но есть

один трехэтажный дом - это дом Чураковых. В нижнем этаже чураковский магазин, а в двух верхних живет нотариус Шульгин с женой и дочерью Ниночкой, которая хочет и пока не может выйти замуж. Большой дом и у провизора Мерцалова. У него своя аптека и сын Игорь. Он старше Маврика на два года. У него настоящие сабли и ружья. Игорь не водится с Мавриком. Ему неинтересно. Может быть, теперь он обратит на него внимание? Ведь Маврик ученик второго класса.

А вот дом старого уважаемого мастера Матушкина. Скромный такой дом, с приветливыми окнами и добрым крылечком. Дома, как и собаки, похожи на своих хозяев. У гостеприимного и сердечного человека никогда не бывает злой и кусачей собаки. Они просто не уживутся вместе в одном доме. Жадный, скаредный хозяин не может держать ласкового пуделя, как не может любить бездельничающая пустая дама умную собаку. У нее болонка-пустолайка. Обо всем этом так хорошо рассказывал Маврику милый Иван Макарович, на которого очень походит улыбающийся кулеминский деревянный дом с резными наличниками. Так и кажется, что его строил Иван Макарович.

За чопорным домом Чураковых Буланиха сама свернет влево, на Большой Кривуль. На углу Большого Кривуля и Ходовой улицы - дедушкин, похожий на бабушку, дом.

- Ба-буш-ка-а-а!.. Я приеха-а-ал!

Маврик закричал так громко, что о возвращении Маврика узнали все соседи и, конечно, Санчик, проснувшийся с солнышком. Оказывается, он сидел на воротах, чтобы первым увидеть Маврика и броситься к нему навстречу.

- Санчик!

- Маврик!

Мальчики обнялись.

Из окна хмурого кирпичного краснобаевского дома послышался веселый женский голос:

- Вызвали Маврикия Андреевича? С приездом, Екатерина Матвеевна! Здравствуйте...

- Здравствуйте, - ответил Маврик, наскоро раскланявшись, и побежал вместе с Санчиком к бабушке.

Какое счастливое солнечное утро! Как пахнет распускающимися тополями, как хорошо в объятиях своей бабушки, при которой не нужно думать, как себя вести, что можно и что нельзя говорить!

- Бабушка... Я приехал, бабушка... Навсегда. На всю жизнь!

- Дитятко мое, - обнимает его старушка. - Мой маленький Матвей

Романович, зашеинская кровушка, дедушкина кудрявая головушка,
бабушкины глаза... Дождалась, дожила!

- И я дожил, бабушка... Где велосипед?..

II

Мальчики с Ходовой улицы еще не знают, как следует им отнестись к новичку в плюшевом костюмчике с белым кружевным воротником. Принять ли его в свою ватагу или начать дразнить, как поповского сына Левку, и придумать обидное прозвище? «Неженка», «Полосатик» - Маврик приехал в полосатых чулках. «Зашейная жужелица» - по бабушке он Зашейн. «Поганый гриб» - у Зашейных в пустующем огороде растет уйма шампиньонов, которые в Мильве считаются несъедобными, погаными грибами. Можно прозвать и просто «Поганкой». Должно же у него быть какое-то прозвище, как у всех на Ходовой улице. Ну, а если зашейнский внук окажется «ничего себе» и разуется, как они, не начнет воображать из себя городского, то можно прозвать как-нибудь получше.

Маврику и Санчику, нашедшим друг друга, не было дела до мальчишечьего сбора на улице. Им нужно скорее по одному разику прокатиться на велосипеде, проверить, цела ли елочная коллекция, побывать в старой бане, слазить на сеновал, заглянуть в погреб, заново покрытый, как все строения, железом, потому что поросшие зеленым мхом тесовые крыши сгнили и стали теперь еще не распиленными дровами. Вот бы в Пермь все эти доски!

Кажется, не хватит дня, чтобы все проверить и осмотреть. А проверить нужно еще очень много. Маврик должен знать, вывелись ли скворчата, или скворчиха все еще сидит в скворечнице и высиживает их. Очень важно решить, что можно сделать с грудой старого кирпича. Не соорудить ли из него кафедральный собор или пермскую тюрьму? Если тюрьму, то можно по очереди одному быть арестантом, а другому стражником.

Санчик согласен на все. Он моложе на один год Маврика и чувствует себя при нем. Он знает, что хотя старший товарищ никогда не обидит его, но все же он старший. И ему нужно быть капитаном, а Санчику помощником. А если они вздумают играть в церковь, то Санчик не может стать священником, а всего лишь диаконом. Но в церковь лучше играть зимой, а сейчас, летом, играй хоть во что. В охоту на тигров. В шарманщиков. В бродяг, которые в бочке переплывают Байкал. Бочка есть, а Байкалом может быть двор или лужок за сараем. Но лучше всего играть в пароход. Веревки для чалок много. Старая труба от железной печки ничуть не хуже пароходной, а большая кованая четырехрогая «кошка», которой достают упавшие в колодец ведра, самый настоящий якорь. Котлом может

стать медный ведерный самовар. Он также валяется.

- Давай, Санчик!

- Давай...

Нелегко сделать хороший пароход, но можно, если не пожалеть сил и не бояться испачкаться. Корму и нос лучше всего выложить из старого кирпича, а первый и второй классы сделать из ящичков, палубу из досок, а мачту... Мачта найдется - был бы пароход.

И вот уже за сараем на лужке закладывается пароход. Приличный пароход, но не такой, каким он мог бы быть, если бы мышь оказалась феей. А она не оказалась ею. Зато пришел другой волшебник, который может сделать все.

- Здорово, пароходчики!

- Здравствуйте, Терентий Николаевич!

- А корма-то косая и нос с изъёмом, - говорит он и подымает Маврика своими сильными руками, чтобы лучше рассмотреть его.

Терентий Николаевич Лосев теперь на пенсии. У него старый-престарый дом на Лесной улице. К пенсии ему приходится прирабатывать где придется. Для Екатерины Матвеевны он незаменимый мастер. Подновить ли сруб, погреба, наколоть ли дров, починить забор, подмести двор, вставить стекло в раму все может сделать Терентий Николаевич.

Терентия Николаевича знают и любят в Мильве как человека доброго, честного, отзывчивого. Человека, которому можно довериться.

Терентий Николаевич твердо знал, что эту жизнь нужно сломать. Что новая жизнь должна быть без дармоедов. А какой именно она должна быть, Лосев не представлял и считал, что этого не знает никто. Как можно знать о том, чего нет?

Екатерина Матвеевна дорожит Терентием Николаевичем. И он дорожит хорошим к нему отношением. Сегодня у него особые поручения.

- Тереша, дорогой, - попросила его Екатерина Матвеевна, - Мавруше нужно не дать заскучать без матери... И я, Терешенька, все согласна сделать для племянника, лишь бы отвлечь его...

- Катенька! Катерина Матвеевна, не толкуй ты мне, пожалуйста, зря. Зачем-то же струмент при мне? Неужели я сам не знаю, что понадобится собачью будку сколачивать! Щеночек-то у меня уж совсем подрастает. Через неделю можно брать, - говорит и смеется веселый Терентий Николаевич, размахивая огромными ручищами.

- За это спасибо тебе, Терентий Николаевич. Щеночек пусть растет, а пока нужно строить пароход.

- Что ж, можно и пароход. Старых досок достаточно. И краска от

ремонту, - он делает ударение на первом слоге, - осталась. Только я покурю для разгона, чтобы в голове не шумело...

В ответ на это Екатерина Матвеевна сдержанно наливает в граненый стакан «разгонное».

Они понимают друг друга.

- Теперь можно хоть пруд прудить, хоть мосты мостить, - говорит Лосев, закусив выпитое куском рыбного пирога.

А потом, оказавшись за старым сараем, Терентий Николаевич незаметно для мальчишек, а может быть, и для самого себя, входит в игру.

- Ненадежно, господа судовые мастера. На этакой посудине и утонуть недолго, а уж на мель сесть - как пить дать. И палуба низка, и в каюте двум котам не разойтись.

Маврик не спорил. Он знал, что Терентий Николаевич говорит плохо о начатом пароходе не для того, чтобы посмеяться, а сделать лучше.

Так и случилось.

Терентий Николаевич вбил пять кольев, обшил их досками, и получился почти настоящий нос парохода. С него уже можно было бросать настоящую чалку и отдавать якорь.

Ямка за ямкой - четыре ямы, четыре столба. Опять доски. Доски с боков, доски сверху.

Тетя Катя зовет обедать, но до обеда ли, когда прорезаются окна и вставляются настоящие рамы со стеклами, валявшиеся в каретнике.

- Шабаш! - командует Терентий Николаевич. - Свисток на обед. - И он свистит куда громче и «настоящее» Гени Шаньгина.

В кухне накрыт стол. Деревянные ложки, общая чашка, а в чашке уха. Все по-настоящему. Кормят, как плотников, которые рубили новую баню, когда Маврик был маленьким.

- Пожалуйста, рабочие люди, садитесь за стол, - приглашает тетя Катя и отрезает по большому ломтю ржаного хлеба каждому.

Маврик не знает, что все это делается для того, чтобы он ел. Ел с аппетитом и здоровел. И Маврик ест. Он решительно откусывает от ломтя черный хлеб, зачерпывает за Терентием Николаевичем полную ложку ухи, дует на нее, а потом проглатывает и счастливо улыбается, переглядываясь с тетей Катей. Она не ест. За этим столом на кухне могут есть только рабочие люди. И они едят. Уписав уху, принимаются за гречневую кашу с маслом. Тоже из общей чашки и теми же деревянными ложками.

После обеда Терентий Николаевич набивает махоркой свернутую из белой бумаги сигарку и долго курит ее, а потом, видя нетерпение Маврика, говорит:

- Шут с ней... Пошли на пароход...
И мальчики с шумом и криком бегут за Терентием Николаевичем.

III

Терентий Николаевич увлекся строительством парохода не меньше ребят. Наверно, в его шестьдесят с лишним лет проснулось недоигранное детство, а может быть, в нем «выиграла» оборванная болезнью работа в судовом цехе. Он рано пошел в «зашейинскую сотню» нагревать заклепки. С тех пор от темна до темна Лосев проработал без малого пятьдесят лет. Помешала болезнь, случившаяся «от надсады». Уж он-то знал, какие бывают пароходы. И дать бы ему волю, то им были бы пущены в дело все старые доски, не пожалелось бы силы, чтобы сделать все «форменно и на полную статью». Не поденщины ради, не ради отплаты покойному мастеру Матвею Романовичу за его добрые дела, а для своей душеньки строил он, потому что дите должно жить и во всяком старике, ежели он «путный человек».

Терентий Николаевич себя чувствовал «путным человеком», поэтому понимал, что пароход без дыма все равно что собака без голоса.

- Катенька! Ты не бойся, дорогая моя, - увещевал он. - Ну какой же может быть пожар, если в старый самовар накласть угольев, поверх их навалить сосновых шишек, а лучше ладану. Дымить будет так, что и ты залюбуешься.

Екатерина Матвеевна колебалась - можно ли играть церковным ладаном, которого осталось с фунт после похорон Матвея Романовича.

- Так не в кабаке же он будет дымить, Катенька, - продолжал убеждать ее Терентий Лосев, - в божье же небо дым от него пойдет. И Матвею Романовичу оттуль будет видно, как хорошо живется-играется его внучоночку.

Это решило исход дела. Ладан был выдан, и пароход задымил сизым, пахнувшим церковью дымом.

Маврик и Санчик завизжали от восторга. На заборе появился босой розовощекий мальчик. Это был Толя Краснобаев. Маврик сразу же узнал его и зазвал к себе.

- Хочешь быть рулевым? Ты умеешь править?

- Нет, - застенчиво признался Толя, - я лучше пока побуду матросом.

Следом за Толей на заборе показался его брат Сеня. Он был старше Толи, но ниже его ростом, зато коренастее и крепче. Тетя Катя называла его «очень самостоятельным мальчиком», которому можно доверять, и предложила заведовать «котлом» и подсыпать в самовар, то есть в котел,

уголь и ладан.

Сеня, довольный этим, серьезно мотнул головой, понимая, какая ответственность возлагается на него.

Не хватало матросов. Маврик вышел через калитку и сказал ребятам, прикинув к щелям забора:

- Нужны матросы, пассажиры и грузчики.

Ребята переглянулись. Смелые на улице, не все из них набрались храбрости появиться на зашеинском дворе, где они никогда не бывали. Выручил Толя:

- Маврик, ты иди и свистни, а я выберу, кому кем быть.

Засвистел пароходный свисток. Засвистел он не ртом Терентия Николаевича, а резиновым кругом, к которому была приделана свистулька. Отвернешь у круга запорную шайбочку, затем сядешь на круг, из него начнет выходить воздух, и он засвистит, а потом опять надувай и садись. Сколько раз сядешь, столько и свистнет.

Трижды надули круг. Трижды просвистел пароход. Тетя Катя, бабушка, Терентий Николаевич, Толина и Сенина мама остались на «берегу».

- Отдать носовую, - скомандовал Маврик.

И носовую начали выбирать.

- Руль налево. Отдать кормовую. Полный вперед.

И пошел белый, крашенный известью пароход с черной трубой на всех парах. Замахали руками на «берегу». Направо-налево поворачивает Санчик рулевое колесо. Ходит капитан Маврикий Андреевич по палубе и смотрит в маленький тети Катин бинокль, велит то с того, то с другого бока махать встречным судам белым флагом, сделанным из носового платка, раздувает во всю мочь Сеня котел-самовар, и валит сизый дым из трубы с красной полосочкой...

Маврик не может сдержаться себя... Прыгает в «воду» с верхней палубы и сначала «плывет», а потом бежит по зеленой «воде»-мураве к тетечке Катечке, целует ее, целует Терентия Николаевича и благодарит за пароход, за свисток, за дым, за красную полосочку на трубе и за все, за все...

Умиленная Екатерина Матвеевна приглашает всю команду, всех матросов, всех грузчиков и пассажиров на обратном пути из Рыбинска остановиться в старинном городе Сарайске, где будет выдано угощение.

Растроганный Терентий Николаевич не выдерживает... Он вышибает ладонью пробку из шкалика, выпивает его через горлышко и, притопывая, поет:

И-эх! Пароход плывет по Каме,

Баржа семечки грызет.
Мил уехал напокамест,
Он обратно приплывает.

И пока под тесовым обломом сарая готовится немудреное угощение, пароход успевает сходить в Рыбинск и вернуться обратно. Терентий Николаевич тем временем сколотил на скорую руку пристанские сходни.

Маврик смотрит в бинокль и объявляет всем:

- Скоро Сарайск!

И все оживляются:

- Вон, вон... Я тоже вижу! - кричит Санчик. - Полна пристань народу...

Как хорошо бы сюда Ильюшу и молчаливую девочку Фаню. Уж она-то бы могла стать пассажиркой первого класса... Вы представляете на ней темную, оставшуюся от траура вуаль... В руках у нее черный страусовый веер... Длинные черные, тоже тети Катины, плетеные перчатки... И все наперебой:

«Барышня... Позвольте мне снести на берег вещи...»

«Нет, ваша светлость, позвольте уж мне... Я задаром... Мне не нужны никакие чаевые...»

А она, не глядя ни на кого, отвечает:

«Ах, зачем же... У меня только лакированная шляпная картонка и ридикюль песочного цвета. Могу и сама...»

Но Фани нет. Первый класс есть, а в нем некому ехать. Как же мог Маврик не вспомнить о своих новых друзьях... И только теперь, когда так торжественно пароход причаливает к Сарайску, он вспомнил о них. Как это нехорошо и, наверно, безнравственно.

IV

Киршбаумы нашли временное пристанище в Гольянихе. Так по имени старой деревни, слившейся с Мильвой, назывались концы Замильвья, где тосковал Ильюша, требующий и ночью сквозь сон отвезти его на Ходовую улицу. Но Киршбаумам было не до встреч Маврика и Ильюши. Не состоялись более важные встречи. Киршбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулемина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве, слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья, стариком Матушкиным, оказаться на весенней охоте и встретиться с Киршбаумом в лесу, на болоте. Однако Киршбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».

Рисковать было нельзя. И даже то, что казалось верным, но недостаточно мотивированным, не могло быть предпринято Григорием Савельевичем. Уже давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.

Во всех случаях Киршбаум должен был побывать у пристава. Без его разрешения он не мог открыть своего заведения. И он, не теряя времени, отправился к приставу.

Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо за преуспевание в многотрудных делах блюстителя спокойствия.

Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской березы, любуясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем магазина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему веселый пикник в ознаменование губернаторского письма.

- Адъютант! - крикнул за дверь пристав. - Кто ко мне!

«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий, толстый дежурный, урядник Ериков. Он вошел и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:

- Имею честь, ваше благородие... господин из Варшавы.

- Проси.

Григорий Савельевич Киршбаум еще не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой и желающего устроить

свою жизнь или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошового счастья. Но, увидев блистательного Вишневецкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киршбаум сразу же нашел нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склоненной, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:

- Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я есть предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне так же благосклонно, как ко всем другим, кто живет в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твердые ноги.

- К вашим услугам, - ответил Вишневецкий. - Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста... «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.

Поблагодарив за предложенную дорогую папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от нее, Киршбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии и он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своем деде - «николаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киршбаум подтвердил все это предъявленным паспортом.



- Так какой черт, досточтимый Григорий Савельевич, - удивился Вишневецкий, читая паспорт, - заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?

- Нужда, ваше высокое благородие, господин пристав. Нужда. Наверно, вы слышали о существовании этой неприятной дамы. Вот она-то и заставила меня искать город, где не столь дороги квартиры и продовольствие, где я смогу открыть мастерскую штемпелей и печатей. Вот я и приехал...

- Благословляю! - Пристав простер руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за доставленное удовольствие разговором. - Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит излишние хлопоты полиции.

- Я уже это сделал, ваше высокое благородие... И не могу поручиться, что не сделаю еще... В губернии - губернатор, а здесь - вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет улыбнуться вашему покорному слуге?

После ухода Киршбаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса: «Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», а затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, оказавшимся слишком безупречным и на редкость благонадежным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава, и особенно замечаемого самим губернатором.

А Киршбаум, великолепно понимая, что это так и будет или примерно так, зная, что слова пристава не могут соответствовать его мыслям, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.

Дом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киршбаумы, представлял собой типичное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, как и горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киршбаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построившись, эта рабочая семья дорожила каждой копейкой. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие пожили у них подольше. Им продавалось молоко, первые овощи, а самое главное, для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне. Здесь все приносило радость. И появившийся на окне горшок с геранью, и подаренная на новоселье рябая молодая курица. Далекая от этого уклада жизни, Анна Семеновна говорила Киршбауму:

- А все-таки я верю, что такие, как Самовольниковы, однажды открыв глаза, увидят, как ничтожно то, чему они молятся, и, проснувшись, окажутся в наших рядах. И сколько таких? Усыпленных. Ослепленных. Замороченных.

- Да, конечно, - согласился с женой Киршбаум, желая узнать, была ли она у Матушкиных. - Как твои зубы? - спросил Григорий Савельевич иносказательно.

- Я думаю, они будут болеть не менее недели, - так же иносказательно ответила Анна Семеновна, потому что разговор происходил при Фане, девочке, думающей и понимающей более, чем хотелось ее родителям.

Зубы у Анны Семеновны заболели вскоре после ее приезда. Зубная боль была единственным поводом для встречи с Матушкиными.

Старик Емельян Кузьмич Матушкин в свое время ходил в знатных колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позаботился о детях. Сын выучился на инженера по строительству железных дорог. Одна дочь, Елена, - учительница. Вторая, Варвара, - зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семеновне. Попасть умно. Не просто завязала щеку и «здрате, Варвара Емельяновна, я из Перми, партийная кличка «Елена», давайте знакомиться».

Так не могла явиться осторожная подпольщица. И она, «маясь зубами», дождалась, когда сочувственная хозяйка Дарья Сергеевна сказала:

- К доктору бы тебе, девка, надо.

А та, держась за щеку:

- А разве они у вас есть?

- Вот те на. Целых три. Один много берет и плохо лечит. Другой мало берет, но только дергает. А третья - душа человек, Варвара Емельяновна Матушкина, самая дешевая и самая толковая. За малое лечение даже вовсе не берет. Желаешь, сведу?

Это-то и надо было Анне Семеновне.

- Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе?

И вскоре Анна Семеновна не по собственной инициативе, а по рекомендации хозяйки квартиры была доставлена к Варваре Емельяновне.

- А я вас еще вчера ждала, товарищ Елена, - сказала Матушкина, разглядывая Анну Семеновну, когда закрылась обитая белой клеенкой дверь зубоврачебного кабинета.

Так началось знакомство и установилась связь Киршбаумов с мильвенским подпольем. Зубоврачебный кабинет соединялся второй дверью с жилыми комнатами Матушкиных. Анна Семеновна получила возможность встретиться с «самим».

«Сам» походил на кого угодно, только не на подпольщика, да еще большевика. Его можно было принять за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, за удачливого земского деятеля, вышедшего на покой, и назвать болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовощеком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.

Емельян Кузьмич Матушкин был человеком вне подозрения. И если он был в чем-то замечен, то разве только в неразборчивом гостеприимстве и неумеренном хлебосольстве.

В те дни, когда Анна Семеновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», встречаясь с подпольщиками, новоявленный предприниматель штемпельщик Киршбаум налаживал коммерческие знакомства, избегая ходить по тем улицам, где жили люди, которые будут создавать вместе с ним подпольную типографию.

Между тем в полицию поступали самые приятные для Киршбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из них он пообещал выбить зубы, если он еще раз посмеет сказать при нем хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что господин Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Киршбаум. Такие губернаторы, и только такие,

как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.

Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, которое прочло ему пост вице-губернатора.

- Хватит искать чертей в кадьнице, у нас есть поважнее дела, сказал пристав своему помощнику по негласному надзору и принялся распекать его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича Тихомирова, высланного из Петербурга в Мильву. - Уже полгода, и ни одного дельного донесения, ни одной зацепки.

Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустив голову. Иного ему и не оставалось.

Тихомиров - юрист по образованию, столбовой дворянин по происхождению, опасный, но неуличный внутренний враг империи - жил в доме своего отца, генерал-лейтенанта в отставке, тоже подозреваемого в неверности государю, жил, не давая полиции даже самых малейших поводов для подозрения его в причастности к политической деятельности. И даже сам отец протоиерей, бывавший в доме у генерала Тихомирова, отзывался об его сыне Валерии как о человеке, «пострадавшем по облыжному доносу завистников его уму и простоте, свойственной настоящим сынам высшего сословия».

А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировал» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Киршбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы» в зубоврачебном кабинете Варвары Емельяновны Матушкиной.

VI

А рабочая Мильва жила по заводскому свистку. Первый свисток просыпайся, второй - беги на завод, третий - начинай работу. С третьим свистком закрываются ворота проходных.

Ранним утром оживают улицы Мильвы, и особенно те, что ведут к заводу. По ним проходит много рабочих. Смотря по году. Если большие заказы в этом году - завод берет на работу из ближайших деревень и пришлых издалека. А если мало заказов - увольняют и коренных, местных.

Ходовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный зашеинский дом, особенно шумны в этот утренний час. Здесь сливаются людские потоки со всех улиц по эту сторону пруда и текут шумной лавиной к главной проходной.

Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топанье ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стекла окон не предохраняют от шумного говора, и Маврик слышит сквозь сон это с детства привычное оживление, и оно не будит его.

Вчера он вместе с ребятами тоже решил работать на заводе, как только подрастет. Толя Краснобаев сказал, что после окончания городского училища, а затем судового будет техником. Сеня, его брат, пойдет к отцу в механический цех и станет токарем на самоточке. А Маврик и Санчик пойдут в судовой цех и начнут нагревать заклепки, а потом будут строить шаланды, землечерпалки, а может быть, заводу дадут заказ на большой пароход. Давали же. И Толя Краснобаев уверен, что дадут.

Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только потому, чтобы не огорчать тетю Катю.

Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на площадке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.

- Санчик, ну что же ты? - приглашает Маврик.

- Иди, иди, - подтверждает Екатерина Матвеевна. - Поешь.

Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест все и самое простое, а самое простое самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек проглотил лишний кусок. И как только Маврик перестает есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тетя Катя говорит:

- Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не съест больше тебя.

И Маврику ради Санчика приходится есть.

Вот и сегодня, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», отбывается самая трудная утренняя повинность еды. Маврик уже закормлен, а Санчик никогда не отказывается от еды. Правда, теперь он, с приездом из Перми своего друга, сытно и часто ест, но все равно его тельце тоще, руки худы, щеки впалы. Ему трудно наверстать недостаток в питании первых лет его жизни. Когда он был младенцем, ему не хватало молока, а потом, когда он подрос и сел за общий стол, семье не хватало и всего остального, даже не всегда доставало хлеба. А сегодня совсем другое дело: на столе белая молочная лапша, когда в чашку чая кладется два куска пиленого сахара, когда чай пахнет чаем, а не прелым сеном, а хлеб, как тополиный пух, мягок и бел. Как вкусно и как хорошо есть досыта, и будто нет другого стола, где в этот же час сидит Санчикова семья и его мать со вздохом режет ржаной хлеб и думает, как всегда, где и что раздобыть на обед. А здесь уже топится печь и в глиняной латке-жаровне лежит утка, аккуратно обложенная кружками картофеля, дожидаясь, когда сторят дрова, а угли загребут в загнетку, чтобы ей, утке, начать томиться в вольном жару при закрытой заслонке и начать пахнуть нестерпимо вкусно, а потом появиться на обеденном столе и отдать одно крылышко Маврику, а другое ему, Санчику.

- А у нас, - говорит он, - в прошлом году тоже была утка. Не целая, а хватило всем.

Этим он как бы показывает, что и они живут вовсе уж не так плохо.

С завтраком покончено. Маврик вскакивает. Санчик бежит вслед за ним, дожевывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждет, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносятся вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.

В пароход играть уже не хочется. Как он ни хорош, но надоело ездить в Рыбинск и обратно. На одном и том же месте.

Манит улица. Ее-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно Маврику придется открыть туда ворота.

Она недавно разрешила ему перелезть через три изгороди и ходить через два огорода к Толе и Сене Краснобаевым. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий огород. Красная комолая «не бодучая» корова. Куры, которых можно кормить. Но самое интересное - лазить по закоулкам большого сарая и собирать яйца. Но еще интереснее спустаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там

множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.

VII

Толя и Сеня Краснобаевы многое умеют делать сами. Ружья. Свистульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые поворачиваются против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Сеня поможет доделать ее, а потом, наверно завтра, Маврику и Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они будут приняты в славную дружину храбрых воинов.

Медленно вытесывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяжеловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посечь ногу.

- А ты не бойся его, не бойся, - наставляет Сеня Маврика. - Пусть он тебя боится. Вот так, вот так...

И Маврик тешет «вот так... вот так...». Мало-помалу, мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее...

- Вот так... Вот так, - приговаривает вышедшая во двор бабушка Краснобаиха и нахваливает: - Ух ты, какие ровные щепочки начали отлетать видать, понятливая у тебя рука, тетечкин кормилец-поилец... Вот так... Вот так... Сдружайся с топором. От него всякий инструмент пошел - и долотья, и пилы, и струги, сверла, а потом станки-машины. Все они топору доводятся детками, внуками, внучками, правнучками... Сдружайся с топором. С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит. А таким ли тебе расти, коренное молодое дерево, от старого дуба сильный росток...

Наговаривает-приговаривает так Краснобаиха, а топор все легче и послушнее становится в слабой и тонкой руке Маврика. Рука уже побаливает в локте. Пусть болит. «С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит»... Боли рука, не отвалишься...

И вот уже вытесано лезвие меча. Со лба льется пот. Обе рубашки прилипли к спине. Теперь нужно, как учит Сеня, помахать руками, да быстро-быстро, чтобы разошлась по жилам застоявшаяся кровь. И Маврик быстро-быстро машет руками, и расходится по жилам застоявшаяся кровь, и от этого веселей блестит отдыхающий на чурбаке топор. И он уже не пугает своим блеском и не говорит: «Я острый-преострый, живо отрублю тебе палец». Нет. Нет, он смеется, отсвечивая солнечными лучами, и говорит совсем другое: «Тебе со мной скоро не будет страшен никакой сук,

никакое дерево».

Как мало еще сделано, а уже свистит свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие потоки текут по улице. Не все рабочие обедают дома, а только те, кто близко живут.

Отец краснобаевских ребят Африкан Тимофеевич и его брат Игнатий Тимофеевич обедают дома. Они живут очень большой неразделенной семьей. За стол садятся человек двенадцать. Игнатию Тимофеевичу давно хочется жить самостоятельно. Но этого сделать нельзя, пока жив старик Тимофей Краснобаев. Игнатий ненавидит старый кирпичный дом с «голубятней» наверху, как он называет мезонин. Краснобаевские ребята не любят своего дядю Игнатия и скрывают это от всех и от Маврика.

У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулемин - ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март. Когда как. В нем нет устойчивой теплоты даже к племянникам. Он может и поколотить. Поэтому они побаиваются его. Зато своего отца Африкана Тимофеевича они считают за товарища. За старшего, конечно, как Маврик тетю Катю, с которой можно говорить обо всем.

В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но не во всем.

Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит:

- Садись обедать, жених, рядом с невестой.

Невеста - это Соня Краснобаева. Ей семь лет. Она подходит в невесты и нравится Маврику больше всех краснобаевских дочерей. И он уже подарил ей клоуна, который, если нажимать ему деревяшечку в животе, начинает бить в медные тарелки, прикрепленные гвоздиками к его рукам. И вообще-то говоря, на Соне можно жениться. Она очень серьезная девочка. И тетя Катя любит ее и гладит по голове. Но зачем Игнатию Тимофеевичу понадобилось говорить об этом при всех? Ведь еще же ничего не решено. Разве бы так сказал умный Артемий Гаврилович Кулемин?

- Спасибо, Игнатий Тимофеевич, нас ждут дома, - отказывается от обеда Маврик. Он, может быть, и остался бы, но ведь Краснобаев не пригласил Санчика.

Плохо, когда человек - март.

VIII

Продолжая «отвлекать» Маврика, Екатерина Матвеевна делала все возможное. Нужно красить - крась. Вот тебе кисть и краска. Хочешь засадить свой огород - пожалуйста. Нравится тебе играть в Зингеровский магазин изволь. Чем не магазин старый каретник. Покупателей сколько угодно. Санчикова сестра. Краснобаевские сестры. Для них уже проделана лазейка в заборе.

Был куплен и опаснейший из опасных инструментов - маленький топор. «От судьбы не уйдешь». И если уж суждено поранить руку или ногу, этого не избежишь. Но все же «береженого бог бережет». И Екатерина Матвеевна, купив топор, попросила точильщика чуточку притупить топор на своем колесе.

Новым топором пользоваться было нельзя. Он годился только для колки, но не для рубки и тески. Маврик, тяжело вздохнув, отложил топор и решил поиграть с горя в пермскую тюрьму. И тетя Катя поддержала эти намерения. Чем не тюрьма старая баня. Сиди там с Санчиком и пой:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...
Днем и ночью часовые
Стерегут мое окно.

А потом можно выставить гнилую раму и бежать на волю. Только тетя Катя не советует мальчикам называть себя «политическими». Лучше сидеть за поджог или безвинно, как сидел дедушка в девятьсот пятом году заложником. С каким почетом его встречали потом рабочие!

Екатерина Матвеевна сама придумывает игры, только бы как можно дольше удержать Маврика дома, хотя она и понимает, что улицы Маврику не избежать. Поэтому приходится брать Маврика на базар и ходить с ним по родне. Родни много, а знакомых того больше. Разная это родня и разные знакомые.

Побывали они у дяди Леши. У него три девочки: Клава, Маруся и Надя. Старшая старше Маврика на год, а младшая на год моложе. Но интересно ли мальчишке играть в куклы, в классы, прыгать через веревочку?

У тети Сани и у тети Лары другое дело. Там, правда, тоже три девочки, три двоюродные сестрички, с которыми не очень интересно играть, зато есть надежда, что с ними отпустят купаться.

Так и случилось. Это было настоящее счастье. Маврика отпросили у тети Кати на пруд. Старшая дочь тети Лары, Аля, сказала:

- Странно... Ему почти девять лет, а он еще не купался на пруду. Там купаются и пятилетние.

А вторая, толстая Танечка, добавила:

- Песок же на нашем берегу, и ни одной ямки. Ровное-преровное дно.

Тетя Саня, старшая из сестер Зашеиных, поддержала внучек:

- В самом деле, Катенька, за всю жизнь не слыхивали, чтобы кто-нибудь из ребятишек тонул в этом месте.

Лицо Маврика было таким просящим... В глазах его стояла такая мольба, а девочки давали такие клятвы, что тетя Катя сказала:

- Только недолго.

Этот день навсегда останется в памяти Маврика. Они бежали по широкой Песчаной улице, спускающейся к пруду. Пруд был как зеркало, и только у берега, где барахталась ребятня, вода кипела и сверкала, залитая солнцем.

Нелегко в первый раз зайти в воду и окунуться. Маврик купался впервые. Девочки раздели его, потому что он был мальчик. А сами они остались в рубашках. В них они и будут купаться. Потому что они девочки.

К Маврику не пришло еще чувство стыда, а девочкам уже внушали его.

- Иди, иди, не бойся, - зазывали его в воду Аля и Таня.

И он зашел по колено.

- Теперь присядь...

- Присядь еще раз... Зажми нос. Окунись!

С чем можно сравнить эту радость первого купания, снявшегося ему в Перми! Ласковые объятия теплой воды. Визг. Брызги. Плотное, ровное песчаное дно. Неужели все это сейчас кончится и его заставят одеваться?

Напрасные опасения. Аля и Таня ведут его глубже. По пояс. По грудь. И когда он упирается, Аля берет его на руки, затем кладет на воду животом и, поддерживая снизу, говорит:

- Плыви, я держу тебя... Не бойся.

Маврик болтает ногами, гребет руками. Он никогда не думал, что это у него получится. Ноги и руки делают сами все, что нужно.

Легко плыть, когда тебя поддерживают. А попробуй поплыть один, без Алиных рук, сразу же опустишься на дно. Маврик и не знает, что Аля

давно убрала из-под него руки и он плывет сам по себе. Плывет, как щенок, оказавшийся впервые в воде. Его поздравляют. Его называют молодцом.

- И это правда, Аля?

- Ну как же не правда, Маврик? Попробуй еще!

Аля снова заносит его в воду, снова кладет на свои руки. Он плывет! Он плывет! Этому ни за что не поверит тетя Катя, а он плывет.

Пора выходить из воды. Он уже накупался. А ему хочется еще и еще убеждаться в чуде, которое совершилось сегодня. Он не только человек, но и рыба...

Маврику, жившему в мире волшебных сказок, слышанных от бабушек, читанных матерью и теткой, хочется сказать пруду что-то очень хорошее, а слов нет. Он ищет их, торопливо надевая штанишки, приветливо улыбаясь огромному зеркалу воды. Он придумывает, что бы ему, такому громадному, сказать, застегивая ворот рубашки. И наконец он шепчет самые простые слова:

- Спасибо тебе, милый пруд, за мое первое купание!

Его шепот слышит Аля и говорит:

- Какой ты, оказывается, вежливый, Маврикий...

- Нет, нет, - опровергает он, - я нисколько не вежливый. Я благодарный. Я и тебе скажу спасибо за... - Он не договорил, и так ясно, а потом объяснил: - Человек за все должен благодарить, даже если ему всего-навсего сказали: «С добрым утром!»

Это было повторением слов Александры Ивановны Ломовой, которая бросила много всхожих зерен в рыхлую почву восторженной детской души.

Сколько раз придется ему в это лето благодарить за все первое! Лес за первые найденные им грибы, луга - за первые ягоды. Речку Омутиху - за первую пойманную в ней рыбку. Топор и нож - за первое удилище. Лук - за первую попавшую в цель стрелу...

В детстве почти все происходит впервые, но многое из этого первого бывает и последним, единственным, неповторимым. Дважды нельзя поймать первую рыбку, и тем более невозможно повторить ни один из дней своего детства. Но разве может это понять мальчик в восемь лет, да и надо ли ему понимать в это счастливое лето, что жизнь несправедливо быстротечна, что каждый день должен быть прожит хорошо и разумно.

IX

Долго старалась Екатерина Матвеевна не пускать Маврика на улицу, опасаясь, что его переедет телега, что ему выбьют мальчишки глаз или его искушает бешеная собака. Мог Маврик подцепить и чесотку, на его руки могли пересесть и цыпки. Мало ли какими болезнями хворают мальчишки, бегающие по Ходовой улице. И все же пришлось уступить.

Федя и Коля дали честное слово, что они будут следить за Мавриком и не дадут его в обиду. Им можно было верить. Да и умный сосед Артемий Гаврилович Кулемин, повывавший виды, сказал про Маврика:

- В школе-то ему так и так придется учиться с этими ребятами. Так пусть он с ними сдружится до нее.

А Терентий Николаевич вставил свое:

- Дома и молоко киснет. Проквасишь ты, Катенька, парня, и вырастет он безногим, безруким Неумеем Незнаевичем.

Это тоже страшно. И Екатерина Матвеевна решилась.

Сначала было разрешено играть напротив окон. Потом было позволено ходить по соседним улицам, и однажды он выпросился сходить за краснобаевской коровой, отбившейся от стада.

И когда все обошлось благополучно, на защиту свободы внука поднялась сама бабушка:

- Лучше ест, крепче спит, здоровеет день ото дня, как такому человеку волю можно не давать...

Случилось невероятное. Маврик получил разрешение ходить купаться и бегать босиком. Однако же были строгие ограничения. Купаться только у берега Песчаной улицы, где мелко, и заходить в воду только по грудь и не выше ни вершка. В чем было дано клятвенное обещание Маврика, Санчика и поручителя Сени Краснобаева. Хотя и без того можно было надеяться на одного Маврика. У него «твердое дедушкино слово», а кроме этого, он всегда был «порядочным человеком».

Началась настоящая жизнь. Белых воротничков не было и в помине. Ноги скоро привыкли к колкой земле и «большим» камешкам. Теперь ни одно из приготовленных для Маврика прозвищ не могло пристать к нему. Разве он «неженка» или «полосатый чулок», когда он бос. Он и не «поганый гриб», а такой же, как все. Кое-кто из ребят еще пытается придумать ему кличку, но кличка не пристает. Кроме одной - «зашеинский внук». Так его называют взрослые. Он часто слышит за спиной, как одна

старуха говорит другой: «Это идет зашеинский внук». Иногда его так называют в глаза. Здравуются с ним незнакомые люди и говорят:

- А ну-ка, покажись, каков ты, зашеинский внук...

Или:

- Зашеинский-то внук весь в деда. Бровь в бровь, глаз в глаз, и нос его.

В Перми никто не обращал на него внимания, когда он проходил по улицам. А здесь редкий не оглядывается на него, не останавливает его.

- Ну-кось, давай поздороваемся, - вдруг задерживают Маврика и начинают расспрашивать, что и как.

Говорят с ним на далеких улицах. Откуда о нем знают? Почему называют по имени - Катенькой и Любонькой - его тетку и его маму? Почему имя «Матвей Романович» произносится с уважением?

- Потому, - отвечает бабушка, - что дед твой не порознь с народом жизнь прожил, не как другие прочие мастера.

Маврик слышал о дедушке немало, но мальчик многое не понимал. Дедушку он помнил седым, кудрявым. Он сажал Маврика на колени, ласкал его, угощал сладкими пирогами, приносил маковые конфеты. Помнит он, как дедушка без конца щепал лучину для растопки печи. Пучки лучины сохранились и теперь на чердаке дома. Помнит он похороны. Помнит, что на похороны пришло много народу. Гроб пришлось выносить на улицу, чтобы не устраивать давки и дать подойти к покойнику всем, кто хочет.

Подходил к гробу и сам управитель завода. Он возложил венок с лентами. Гроб несли только почтенные рабочие, да и те ссорились - кому нести. Маврика тоже несли на руках. Чтобы ему было все видно. Это хорошо помнит Маврик. Он помнит, как ему кто-то с черными усами сказал:

- Оглянись и запомни, как хоронят твоего деда Матвея Романовича.

О деде рассказывалось многое, но из всего запомнилось, как дед спас рабочих от порки у чугунного медведя.

Медведь и по сей день шагает по серому граниту на плотине. И по сей день он тщится выглядеть царственным чудищем. Мильвенцы знают, что медведь некогда был вырезан из мягкого дерева липы мастером веселой души, по имени Сереверьян, и поставлен в заводском саду для погляда.

Молва хранит облик веселого, дурашливого медведя. И нес этот проказливый зверь на своей спине дуплянку с медовыми сотами. И все любовались им. Но это не по нраву пришлось сердитому управителю тех лет, и он велел Сереверьяну устроить морду зверя. И резчик выполнил строгий наказ.

Вскоре по липовому зверю был отлит чугунный зверь. На место дуплянки на его спину привинтили медную корону. Как-никак царь зверей Урала и Прикамья.

И стоит с тех пор на скале чугунный горбатый медведь. Никто из простых людей не любил этого зубастого зверя, напоминающего о черных днях старой Мильвы.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

«Уметь! Помогать! Добывать! Зарабатывать!» - эти четыре слова вполне бы могли стать самым кратким и самым исчерпывающим девизом мильвенской детворы, за исключением разве только тех мальчиков и девочек, которых насмешливо называли «благородными».

Маврик был «не поймешь кто». До «благородных» он не дотягивал, а «простым» тоже не назовешь. Но теперь его, разутого, почерневшего, с исцарапанными и пораненными руками, можно считать «своим», хотя у него не было никаких обязанностей и он с утра до вечера мог делать все, что ему захочется. Так не могли располагать собой остальные, кроме разве Санчика.

У Санчика нет домашних обязанностей, потому что нет дома. Денисовы живут в избушке-малушке у дяди Миши. Дядя Миша - маляр. Он ходит и красит по богатым домам. Ему везде доступ, везде вера. Не обманет, не украдет, потому что он не простой маляр, но и староста кладбищенской церкви. А его старший брат - Василий, Санчиков отец, - хотя и почище маляр, красивший не крыши да окна, не кресты да ограды на кладбище, что может делать всякий подмастерье, а мастер первой статьи, которому доверяли самые чистые работы по окраске судов, но жить теперь ему не на что. Ревматизм заставил покинуть завод и выйти на семирублевую пенсию. И если бы не мать его жены, не бабка Митяиха, то пропасть бы Санчиковой семье с голоду. Сестры еще не подросли. За стирку Санчиковой матери платили мало, да и редко нанимали. Старшую сестру Санчика Евгению не отпускали мыть полы в богатые дома, хотя и звали. Она была очень красива и могла выйти замуж за жениха с домом. А поломойку которая ходит по чужим домам, кто же возьмет замуж. Поэтому Женя училась шить, а пока метала петли настоящим швеям. По копейке за две маленькие петли. За большие платили дороже. Но много ли петель выметаешь за день? И вся надежда семьи была на сухую, подслеповатую, с тяжелыми веками бабку Митяиху. У нее случались деньги, и она кормила неплохо денисовскую семью, особенно в воскресенье и в понедельник. А иногда собранных ею кусков хватало и до среды. Митяиха была соборной нищенкой, и ей полагалось хорошее место на паперти. У самых дверей, где

могли стоять только старые нищие, которые христарадничали много лет и выжидали своей очереди в притворе, а остальные - не настоящие нищие, а просто так, побирušки, когда придет нужда, - не имели постоянного места и канючили где придется: на нижних ступеньках паперти, а в большие праздники, когда все ступеньки были заняты, им приходилось стоять на площади.

Бабушка Митяиха имела право ходить по всем домам Мильвы. Таких было всего лишь пять нищих. А остальные могли просить милостыню только на своих улицах, которые были разделены очень строго. Улиц в Мильве хотя и много, но нищих еще больше. Поэтому некоторым доставалась не вся улица, а половина. На одной стороне улицы дома были одного нищего, а на другой другого. И если кто вздумал бы перебежать дорогу, его могли проклясть, а кроме того, и поколотить. А Митяиху никто не мог тронуть. Она из перваков. Почти как мастер в цехе. Санчикова бабушка состоит в первом пятке. И ей, как и всякому из этого пятка, все остальные нищие платят каждое воскресенье «долю». Можно деньгами. Можно кусками.

Санчик гордится своей бабушкой. С уважением к Митяихе относится и Маврик. Хоть и нищая, а из главных. Поэтому ее внуку-любимцу, Санчику, живется лучше всех в семье. Бабушка может припросить и ситцевый остаточек у купца для рубашки Санчику, и самые сладенькие кусочки она бережет для него. Но теперь они не так нужны Санчику. Ему отдано много рубашек и штанишек, из которых вырос Маврик. Они Санчику тоже малы, но Женя их умеет расставлять, надшивать, припускать. И у Санчика теперь есть что надевать.

Сеня и Толя Краснобаевы, как, впрочем, и другие жившие в своих домах, выполняли многие обязанности. Мели двор, чистили у коровы и у лошади, натаскивали из колодца в огородные кадки воду для поливки, кололи и таскали дрова для русской печи... Делали все, что было под силу, а иногда и не под силу для мальчиков в восемь - десять лет. В эти годы они должны были уметь помогать взрослым. Уметь помогать было не одной лишь обязанностью, но и гордостью мальчишек.

- Мой-то уж совсем мужик, - говаривали матери про своих сыновей. Девятый только пошел, а он уже рыбой семью кормит.

Это значит - мальчик просыпается ранним утром и бежит на плотину пруда за ершами, окунями, плотвой. «Надергает» такой три десятка рыбешек вот тебе и рыбный пирог. Глядишь, опять лишняя копейка дома.

Сходить за Мертвую гору на луга, собрать там кисленки, как называли мильвенцы щавель, принести пяток стаканов «клубеники», наискать в лесу

на «жареху» маслеников, «синявок», принести полмешка еловых и сосновых шишек для «разжижки» самовара, наловить зеленой кобылки отцу для ловли хорошей рыбы - тоже считалось обязанностью детворы, - уметь помогать, добывать, зарабатывать.

Если девочка в девять лет не умеет мыть посуду, подметать пол, помогать матери управляться на кухне, она поражала сверстниц. Страшно прослыть «неумехой», «бездельницей», «белоручкой».

Мавриковой «невесте» Сонечке Краснобаевой семь лет, а она уже показывает своему «жениху», что с ней он не пропадет. Кормит кур. Собирает снесенные ими яйца. Пропалывает «легкие» гряды, ходит за водой с маленькими ведерками на крашеном коромысле, моет по субботам площадку у «паратьнего» крылечка, отворяет калитку вернувшейся с пастбища корове... Мало ли дел, которыми она гордится и прославляет себя на восьмом году жизни! Не шутка же, в самом деле, считаться невестой такого кудрявого, такого хорошенького, звонкоголового мальчика.

- Санчик, мы тоже должны что-то делать. Нам пора зарабатывать, убеждает бездельничающий Маврик своего бездельничающего товарища.

- А как? - спрашивает Санчик. - Может, железо рыть и продавать его Лудилке?

- А сумеем?

- А что тут не суметь? Только бы кочережки достать. У Кеги есть. Можно выменять на нитки.

Эта идея - выменять кочережки, потом нарыть ими много железа, продать его Лудилке - увлекает обоих мальчиков.

И они вскоре становятся добытчиками железа.

II

Из проходных завода вывозится множество шлака. Его вывозят и вываливают на незамощенные улицы Мильвы, чтобы по ним можно было ездить в распутицу, когда грязь стоит выше колес.

Вместе со шлаком попадают и куски железа: остывшие капли металла, обрезки, «срубки» и прочая мелочь, идущая в мусор цехов. Попадают в мусор покалеченные шайбы, оторванные головки заклепок, погубленные болты, случаются в нем и хорошие новые костыли, которыми прикрепляются к шпалам рельсы железных дорог.

По разработке уличных отвалов перваками считались братья Рамазановы Яктынко и Сактынко. В Мильве везде были перваки. В цехах. У нищих. Среди удильщиков. Должны же быть они и у мусорщиков.

Яктынке и Сактынке по десяти-одиннадцати лет. Сактынко красивый мальчишка, с веселым лицом, смеющимся карими глазами. Лицо старшего, Яктынки, изъедено оспой. На левом маленьком глазу бельмо. Он не умеет говорить ни по-русски, ни по-татарски. У него всего только одно слово «кеге». Если ему нужно сказать «пойдем купаться», он произносит «кеге» и размахивает руками, как при плавании. Если просит есть, снова произносит «кеге» и показывает на рот. С ним ничуть не трудно разговаривать. Крикни ему «кеге» и потом покажи руками, ногами, выражением лица, что ты хочешь сказать, что тебе нужно, и он обязательно поймет.

Это очень добрый, веселый и хороший мальчишка. Он сразу догадался, что за одну катушку ниток Санчик и Маврик хотят выменять две кочережки. Обмен состоялся. Нашлись и сумки, куда складывать найденное железо. Санчику дали старый мочальный «зимбель», с которым нельзя уже стало ходить на базар, а Маврику тетя Катя дала дедушкин кожаный «пестерек», в котором он носил еду, когда ходил на завод.

Екатерина Матвеевна не знала о предприятии, замышляемом Мавриком. Она не могла и предположить, что в эту памятную вещицу будет складываться ржавое железо.

Теперь оставалось научиться выбирать из шлаковых куч железные куски. И этому искусству стал учить тот же Яктынко, которого все ребята называли Кегой.

Нелегко различать железо от шлака. Цвет один. Разный вес. Железо тяжелее. Рукам пришлось немало перебрать, чтобы научиться определять

железо по тяжести.

Первый день не принес большой удачи. Добытчики не набрали и по фунту на брата. А если и набрали, то, наверно, половина из найденного - это шлак, слившийся с железом.

На другой день они отправились вдвоем, чтобы Кега и Сактынко не вытаскивали из-под носа хорошие, тяжелые железинки. Попадались очень счастливые куски. Наверно, по полфунта. А нужно было набрать не меньше полпуда. Двадцать фунтов. А лучше пуд. Лудилко меньше не принимал. Полпуда - это гривенник. Два фунта с пуда он выкидывал на «ржу», на прилипший шлак.

Добыча шла успешнее день ото дня, и, наверно, скоро можно будет отправиться к Лудилину и продать нарытое железо. Хорошо бы найти сразу тяжелую железяку.

Мечтая вслух, мальчики не заметили подслушивающего их возчика.

- Ты не зашеинский ли внучонок? - услышал Маврик.

- Да.

- Аль обеднели?..

- Не обеднели, а «деньги нынче кусаются», - повторил Маврик много раз слышанные слова.

- Дома послали?

- Нет, мы сами.

- Это хорошо. Хоть и плевые, а все ж таки свои копейки будут. А ты чей? - спросил возчик Санчика.

- Денисов! - крикнул он, довольный, что и его спрашивают.

- Маляров сын?

- Ага!

- Ну и много ли нарыли?

- Мало. Одна только большая попалась.

- Тогда вот что. Приходите завтра. Сюда же. Об эту же пору, а то пораньше. Будет что рыть.

Сказал так незнакомый возчик, вывалил шлак и уехал.

Рано прибежали Санчик с Мавриком. Долго ждали возчика, но дождались. Он свалил не шлак, а цеховой мусор. В мусоре блестели золотенькие чешуйки.

- Это медь!

- То-то оно и есть, - подтвердил возчик, - не по грошу за фунт, а вдесятеро Лудилин заплатит. Еще воз привезу из механического...

Медных чешуек-стружек оказалось много. Мальчики торопились выбрать их из мусора. Выбрать их было легко. Они блестели.

Сумки потяжелели, а чешуек было еще очень много. Возчик приехал снова и снова опрокинул деревянный коробок.

- Маврик, нам не донести. Давай закопаем.

- Давай.

Так и сделали. Закопали набранную медь и принялись за новый мусор. Пришлось еще раз закапывать и еще раз набирать, а потом перетаскивать по частям к Лудиле Паяловичу. Так его называли потому, что он нигде не работал, а лудил и паял кому придется и всегда «сдирал семь шкур». Но Маврик и Санчик не хотели, чтобы их обманул Лудилко. Они прежде спросили у Кеги цену на медь. Металл ценился дорого и в железной Мильве. В нем нуждались те, у кого были свои небольшие плавильные печи. Хорошее железо брали сельские кузнецы. Ну, а медь - это верные деньги.

Лудило хотел было обвесить, но послышалось предупреждающее слово «кеге» - и гири были подсчитаны правильно. Кега, не умея говорить, хорошо знал счет. Лудило отдал все до копеечки.

Маврик получил рубль шестьдесят три копейки. Таких денег он никогда не держал в своих руках. Кега помог разделить деньги пополам. Неделимую копейку отдали Кеге, и он принял ее как заработанную.

- Откуда такие деньги? - спросила мать Санчика, когда он принес их ей и сказал: «Мама, это тебе на новое платье».

Маврик объяснил, как у них оказалось по восемьдесят одной копейке, и тоже пошел домой отдавать свою часть тете Кате.

Он важным, серьезным вошел в комнату, где тетя Катя шила дорогое заказное платье на своей старинной швейной машине фирмы Попова. Пришел и сказал, стараясь подражать Терентию Николаевичу, с хрипотой в голосе:

- Это тебе на сливочное масло, тетя Катя... Нынче оно тоже вздорожало...

Не сразу поняла Екатерина Матвеевна, что все это значило. Ей долго пришлось рассказывать все с самого начала и до конца, как Лудило хотел их обвесить, а Кега не дал ему их обмануть. А поняв все, тетя Катя расплакалась.

Сначала она плакала от стыда перед собой и говорила:

- Маврушечка, неужели же я тебе не покупаю сливочного масла? Его же целых два фунта в погребе на льду.

Потом она плакала от стыда перед другими:

- Что скажут, что подумают о нас... Лудилко теперь разболтает по всем улицам, что ты, мой единственный племянник, внук Матвея Романовича,

роешься в шлаке, в мусоре с уличными мальчишками.

И наконец, тетя Катя вместе с бабушкой плакали потому, что Маврик растет настоящим, хорошим, заботливым мальчиком, будущим поильцем-кормильцем, как дедушка.

Когда все слезы были выплаканы, тетя Катя потребовала у Маврика дать ей честное слово больше не рыться в шлаке, но Маврик сказал:

- Я хочу, как все мальчики, помогать семье.

Это было сказано очень серьезно. В его глазах стояла настойчивость. В голосе исчезло заикание. И тетя Катя уступила:

- Хорошо. Только не каждый день...

III

С тех пор, когда милый, добрый Артемий Гаврилович Кулемин побывал с Мавриком на Гольянихе, где жили Киршбаумы, прошло не так много времени, но Ильюше казалось, что это было давно, и очень давно. Да и Маврик терял счет дням и надежду на скорую встречу с Илем. Едва ли Кулемину опять понадобится идти к Самовольниковым. В тот раз он относил им на новоселье обещанного пушистого сибирского котенка. Правда, пока Маврик рассказывал Илю о том, что произошло, а Илья жаловался, как скучно ему, Григорий Савельевич разговорился с Кулеминым, и оказалось, что Артемий Гаврилович может много сделать в свободное время для оборудования штемпельной мастерской.

Мальчикам, как, впрочем, и хозяевам квартиры Самовольниковым, даже и в голову не приходило, что за встреча происходила на Гольянихе. Осторожный Киршбаум наводил потом справки о Кулемине, кто он такой и можно ли ему доверить точную работу.

О Кулемине все отзывались очень хорошо, и даже сам пристав Вишневецкий сказал, что это честнейший человек и отличный мастер.

После такой рекомендации Киршбауму можно встречаться с Кулеминым и поручать работу по металлу для штемпельной мастерской. А время шло. Отец успокаивал Иля, что теперь остается всего лишь две недели и будет закончено переоборудование низа флигеля под штемпельную мастерскую и закончится ремонт верхнего этажа, где будет их квартира. Тогда он будет жить неподалеку от Маврика. Легко сказать - две недели. Это четырнадцать дней. Четырнадцать утр. Четырнадцать вечеров. Разве так много в лете дней, чтобы расшвыриваться таким счастливым временем, которое он может провести с Мавриком и Санчиком! И есть еще какие-то краснобаевские мальчишки.

Хватит терпеть. Хватит страдать. Илья задумал побег. Наслушавшись о побегах из Сибири каторжан, он знал, что для этого нужно заготовить сухарей, взять с собой самое необходимое и выбрать такое время, когда никто не заметит исчезновения убежавшего.

Таким временем было утро, когда мать и отец уходили на далекую Песчаную улицу, где происходил ремонт, а Фаня убегала с хозяйской дочерью к другим девчонкам. Утром и свершился счастливый побег. Илья еще с вечера отнес в огород наволочку с маленькой подушки, наполненную сухарями, и большой бумажный кулек с бельем. А утром, проводив отца и

мать, он сказал сестре:

- Если ты можешь бегать с девчонками, так почему я должен сидеть дома?

Фаня ничего не ответила и ушла с хозяйской Манечкой, как всегда. Ильюша пополз в огород, хотя он мог пойти туда, как ходил всегда, но тогда это не было бы побегом.

Прихватив в огороде наволочку с сухарями и кулек с бельем, Иль переполз через плетень. Теперь нужно было оглянуться, прислушаться - нет ли погони, не слышен ли топот копыт конной полиции.

Нет. Все тихо. Только жужжат шмели. Можно двигаться дальше до кустов, а кустами пробраться в лес, а там... свобода.

Хотя Ильюша и знал, что в центр Мильвы ближе всего идти по Старо-Мощеной улице, единственной улице завода, которая была вымощена булыжником, потому что это была трактовая улица, но он также знал, что убегающий должен «петлять», чтобы «замести следы». И он стал «петлять» по лесу, все же не заходя слишком далеко, чтобы не заблудиться и не потерять из виду Мильву. Пройдя кромкой леса версту или более, Ильюша стал думать о сухарях. Не много ли он насушил их? Это первое. Пригодятся ли они ему вообще? Это второе. Не подвесить ли сухари на сук дерева для какого-нибудь беглого или заблудившегося в лесу человека? Это третье. Оно вполне оправдывало первое и второе и освобождало его от груза, хотя и не тяжелого, но надоедливого. Однако, чтобы не дать себе посмеяться над собой, он заставил себя почувствовать голодным и тотчас же достал несколько ржаных сухарей, размочил их в жестяной кружке, которая, как и ложка, предусмотрительно была положена в наволочку. Преотлично позавтракав у ручейка тюрей, он подвесил свой сухарный запас на сук и, довольный разлукой с ним, повторил отцовские слова:

- Животное заботится о себе, а человек обо всех, и тот, кто заботится только о себе, напрасно считает себя человеком.

Эти слова нелегко было понять, но когда он их понял, то увидел, что не все люди - люди. Папа тоже иногда напрасно считает себя человеком. Разве не он довел своего сына до того, что теперь он вполне может петь не про кого-то, а про себя: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с сумой на плечах...» И дальше: «А в сумке его за спиною сухарики с ложкой лежат».

- Так нет же, папа, нет! Меня не остановят никакие Байкалы...

Сказав так, Иль разувается и переходит вброд ручей, стараясь «петлять» по нему, выискивая наиболее глубокие места, потом с разбегу выпрыгивает на берег как можно дальше, чтобы окончательно скрыть следы и оставить в дураках сыщиков, жандармов, приставов и папу. Пусть

он попробует его найти в этих «далеких горах Забайкалья, где пташки порхают, поют». Пусть!

И когда все это было сделано, Ильюша снова пошел кромкой леса, не теряя из виду окраинные дома, и, наконец решив, что хватит «петлять», направился в центр Мильвы. Он знал, что центр там, где самая большая белая церковь, которая называется собором и которую видно отовсюду. Он также знал, что собор находится на Соборной площади, а от площади идет множество улиц и одна из них Большой Кривуль. И если по этому Кривулю пройти два длинных квартала, его пересечет Ходовая улица. И на одном из ее четырех углов стоит дом, низ у которого кирпичный, а верх деревянный, а крыша железная, а ворота зеленые с медными кольцами, а у ворот большое бревно, на котором когда-то любил сидеть дедушка Маврика Матвей Романович. Все это было незаметно выведено Ильюшей у отца, и теперь совсем было нетрудно найти дом. И он его нашел, ни у кого не спрашивая, чтобы не навлечь подозрения, потому что каждый мог оказаться сыщиком и задержать беглеца.

И вот Ильюша перед домом Зашеиных. Ему стоит повернуть кольцо калитки, открыть ее и - «здравствуй, Маврик»... Но это было бы слишком глупо. Наверняка бы залаял Мальчик, которому он хотя и приготовил баранью косточку, но все равно бы на лай Мальчика выглянула в окно тетя Катя, и ей бы пришлось сознаться во всем. Она хотя и очень добрая, но не настолько, чтобы скрыть побег от его отца, а когда отец узнает обо всем, то, может быть, произойдет то, что не случалось никогда, но могло случиться. И хотя Ильюша не боится боли, но зачем ему нужно после того, как он будет выпорот, хуже относиться к своему такому хорошему, такому любимому отцу? Ильюша стал искать лазейку в заборе. Лазейки не оказалось, зато было круглое отверстие, оставшееся после выпавшего из доски сучка. Прильнув к отверстию, он увидел бледного, белоголового, сухощавого мальчика с белыми бровями. Конечно, это Санчик. Кто же еще мог так резвиться с Мальчиком? А то, что собака была Мальчиком, Илья слышал, когда ее так окликнул белобрысый мальчишка. Теперь крикнуть не очень громко, а лучше прошептать в дырочку забора:

- Санчик, подойди ко мне.

И Санчик подбежал. И он не стал спрашивать «ты кто?». Он сразу почему-то через ту же дырочку сказал:

- Это ты?

- Это я!

- Удрал?

- Еще спрашиваешь...

- Я сейчас...

Санчик перемахнул через забор и шепнул Ильюше:

- Иди за мной... Мы пройдем через краснобаевский огород, а там есть тайный лаз и подкоп.

Они шли крадучись, затем, нагнувшись, прошмыгнули под окнами, нырнули в «тайный лаз» и очутились на краснобаевском огороде и снова поползли на четвереньках к подкопу, скрытому крапивой, через который хотя и с трудом, но можно пролезть под забором и очутиться незамеченными на зашеинском заднем дворе, где одиноко стоял на якоре заброшенный пароход.

Сердчишки мальчиков счастливо бились. Открытая Санчиком тайна лазеек скрепляла их дружбу, которая началась задолго до этой встречи. Маврик назвал их друзьями заочно. А теперь они настоящие друзья. Преодолев столько трудностей, они вползли в пароход. Там-то уж они в полной безопасности. Санчик очень доволен, что показал Ильюше тайную дорогу и спас его.

IV

Узнав о потере сына, Григорий Савельевич, не раздумывая долго, отправился к Екатерине Матвеевне. Она, не зная, что Ильюша прячется в парохоме за сараем, убежденно сказала:

- А где же ему быть? Конечно, он где-нибудь у нас. - Затем, вспомнив, как Санчик таинственно увел Маврика, когда она ему читала письмо из Перми от матери, еще раз подтвердила: - Несомненно, Иль прибежал к нам.

И тут же, вместо того чтобы согласиться с Киршбаумом, возмущенным поступком сына, она обвинила не беглеца, а отца, который довел до этого своего сына. И повторила слова тех, кто убеждал ее не держать взаперти Маврика. Когда же Екатерина Матвеевна поняла, что Киршбаум хочет увезти да еще наказать сына, она взволнованно и горячо принялась защищать Ильюшу.

- Вы не можете, вы не должны, Григорий Савельевич, разрушать веру мальчика в свои силы, в свою самостоятельность. Нет, я не позволю в моем доме...

- Но хотя бы убедиться, что он тут, я могу? - спросил Киршбаум. - Или я должен находиться в неведении, чтобы не разрушить его веры в свою самостоятельность между первым и вторым классом начальной школы?

В это время вошел Маврик. Ему понадобились нитки. Но по его глазам, которые ничего не могли скрыть, было ясно, что никакие нитки ему не нужны, что ему нужно было проверить, зачем пришел отец Ильюши. Поздоровавшись с ним, Маврик как бы между прочим сказал:

- Когда же придет к нам Иль?

Киршбаум, опустив голову, сказал:

- Может быть, никогда. Он сбежал.

- Куда? - как мог удивился Маврик.

- Не думаю, что в Америку, но и не ручаюсь, что не в Африку. Он так любил рассказы об Африке. Но, может быть, его еще задержит полиция. Его ищут сто полицейских и триста казаков. Всюду разосланы телеграммы. Я только что с почты и по пути зашел сюда.

Щеки Маврика горели счастливым румянцем. Вот здорово! Сто полицейских и триста казаков. А он тут рядом, под сараем. И его не найдут даже тысяча полицейских и три тысячи казаков.

- А вы тоже ищите?

- Я? Нет, - ответил Григорий Савельевич. - Где я его могу искать? Разве

что в твоём пароходе? Так он же не дурак, чтобы сидеть там.

- Конечно, конечно... Зачем ему там сидеть... Но если вам надо, вы можете проверить...

Теперь уже было окончательно ясно, что Ильюша здесь. Довольный тем, что предположения оправдались, что сын благополучно добрался до Зашеиных, Киршбаум, скрывая свою радость, сокрушенно спросил:

- А как ты, такой серьёзный человек, не теряющий голову в такие трудные минуты потери своего темнокожего друга, думаешь - найдут его полицейские и казаки?

- Нет! Никогда! - почти выкрикнул Маврик.

- Ой! - простонал Киршбаум. - Ты убиваешь во мне последние надежды. Тут Киршбаум вынул платок и приложил его к своим глазам. - Жив ли он? Жив ли мой единственный сын?

Чужие слезы и чужое горе могли заставить Маврика сделать все. И он, не удержавшись, сказал:

- Ильюша жив!

Тогда Григорий Савельевич задал вопрос, который сам по себе напрашивался:

- А ты откуда знаешь?

- Я?.. Я? - стал заикаться Маврик. - Я так думаю.

- И я думаю точно так же, - поддержала племянника Екатерина Матвеевна, не желавшая, чтобы он выболтал тайну. - Я также уверена, что Ильюшу не найдет никакая полиция и он будет скрываться до тех пор, пока вы, Григорий Савельевич, не переедете на Песчаную улицу.

- Да! - крикнул Маврик и убежал, забыв о нитках, за которыми он приходил.

Вскоре ушел Киршбаум, довольный, что его сын проживет у Екатерины Матвеевны до понедельника следующей недели, когда Киршбаумы переберутся на Песчаную улицу.

Вечером Маврик попросил разрешения у тети Кати переночевать в пароходе. И это разрешение было получено. А утром Екатерина Матвеевна спросила Маврика:

- Мавруша, ты, кажется, что-то скрываешь от меня? Неужели ты не доверяешь мне своих тайн?

- Свои доверяю. А чужие я не должен... Я не могу доверять их никому...

Тетя Катя не стала спорить. А Маврику очень хотелось раскрыть тайну, и он сказал:

- Но если ты поклянешься на мече, я тебе расскажу все.

- Конечно, поклянусь. Неси меч.

И меч был принесен. И на его рукоять была положена рука дававшей клятву, затем повторены слова, сказанные Мавриком:

- «Меч, меч, тебе голову сечь тому, кто клятву нарушит, на море, на суше, на земле и под землей, на воде и под водой и всюду, везде, и даже во сне».

- Теперь целуй меч, - потребовал Маврик.

Екатерина Матвеевна сделала вид, что прикоснулась губами к мечу, после чего Маврик объявил:

- Илья сидит у нас в пароходке.

- Какое счастье! Какая приятная новость! Зови его сейчас же пить чай...

Маврик помчался за Ильюшей и Санчиком.

После чая Екатерина Матвеевна посоветовала Ильюше переселиться из парохода в дом и очень серьезно предложила ему свою маскарадную, с кружевами, закрывающими все лицо вместе с подбородком, маску, он должен носить ее при себе и тотчас же надеть, если появится кто-то из тех, от кого нужно скрывать свое лицо.

Это было так неожиданно, так хорошо, что лучшего невозможно придумать. Теперь Маврик и Санчик могут сказать всем ребятам, что у них скрывается черная маска без имени и без фамилии.

Ильюша, поняв, как это таинственно, сразу же после чая надел маску, и все ребята на улице спрашивали: кто это, кто?

А вечером, когда снова появился Григорий Савельевич, Ильюша прошел мимо него, и ему, родному отцу, даже в голову не пришло, что это его родной сын, которого он так ищет и которому он все простил. Как недогадливы бывают иногда такие взрослые и такие умные люди...

Вскоре был закончен долгожданный ремонт. Во флигеле пробит вход с улицы. Над входом большая вывеска. А на вывеске золотыми буквами написано:

ШТЕМПЕЛЯ И ПЕЧАТИ

Заказы пока не выполнялись, а лишь принимались Анной Семеновной. Сам Киршбаум уехал в Пермь за шрифтами, сырой резиной и оборудованием.

Ильюша явился на Песчаную улицу в маске, чтобы заказать штемпель с таинственными буквами МИС. Этими тремя буквами, соединенными в одно слово, начинались имена трех товарищей, трех верных друзей. И когда заказ на штемпель был принят, Ильюша сбросил плащ, который до этого был накидкой тети Кати, и снял маску.

Санчик и Маврик, стоявшие за дверью, знали, что с Анной Семеновной будет плохо, захватили с собой нашатырный спирт и, появившись в мастерской, привели ее в чувство.

Дочери тети Лары визжали от радости, а Фаня, изображая из себя красавицу Несмеяну, даже не улыбнулась. Не много ли ты берешь на себя, Фаина, не хочешь ли ты, чтобы тебе положили под подушку незаклеенный конверт с муравьями и с буквами МИС или напустили в твои чулки живых лягушек? Интересно посмотреть, какое красивое будет у тебя лицо, когда ты утром будешь надевать на свои танцевальные ноги розовые чулки. Благодарю бога, что сегодня Маврику и Санчику не до лягушек и не до тебя, слишком старшая и слишком умная Фаня. Есть поважнее дела...

Наступил сенокос. Бабушка Маврика настояла, чтобы внук пожил на кумынинском покосе два-три денька. Поучился грести сено. Екатерина Семеновна, любя и холя внука, не хотела, чтобы он вырос квелым цветком. Кумынины согласились взять Маврика и Санчика грести сено, поэтому нужно было спешить. Их ждали.

У Кумыниных нашлись маленькие грабельки. Маленькие грабельки вместе с большими и вместе с острыми косами положили на телегу. На телеге поехали младшие девочки с матерью, а остальные пошли пешком.

Покос не близко. Версты четыре. Но идти туда было очень весело. А на покосе оказалось еще веселее. Они будут спать в балагане, как все. Яков Евсеевич сразу же занялся балаганом, и все принялись помогать ему.

Сначала поставили «домиком» ивовые прутья, а потом стали покрывать их скошенной травой. Тепло, и дождь не промочит.

Если б так можно было жить всегда...

Время покоса - это веселый праздник в Мильве. Приходится останавливать на неделю, а иногда и на десять дней завод, кроме горячих цехов. Сено нужно всем. Коровы же... лошади. Чем их кормить? Траву нужно скосить вовремя. В хорошую погоду. Траве нужно не дать перерастить и полечь. Сено нужно убрать, как только оно подсохнет в рядках. А вдруг дождь... Намокнет, почернеет сено и может сгнить.

Косят почти всю ночь. Те, кто не справляются сами, нанимают пришлых. Их много приезжает в Мильву. Со своими косами. Со своими песнями.

Белая ночь не зажигает звезд. Хорошо косить в белую ночь, а еще лучше спать и слышать сквозь сон ширканье кос и ржание лошадей. Спать и видеть сны о том, как Толя Краснобаев помог сделать из кровельного железа маленькие косы. И как этими косами накосили хорошее сено для пони Арлекина...

Не думай, Маврик, о нем даже во сне. Пусть тебе лучше снится козел из замилвенской пожарной. Его тоже можно запрячь в маленькую тележку и возить на ней сено или ездить вдвоем с Санчиком в гости. К рогам козла нетрудно прицепить вожжи. Куда потянешь вожжи, туда и он повернет. Но козел провоняет весь двор да еще вздумает бодаться. Нет, не нужно, не нужно видеть, чего не может быть. Спи, Маврик, спи. Завтра ты попробуешь прокатиться на Буланихе верхом. Это твердо. А пони, козлы, северные собаки - это почти мышь, которая не оказалась волшебницей.

Спи! У лета впереди еще сорок пять дней. Сколько купаний будет за эти дни! Сколько теплых вечеров! Сколько новых знакомых! Новых игр! А потом грибы. Потом привезут арбузы, яблоки, виноград. А потом ты можешь помогать солить капусту. Купят не менее чем сто кочанов капусты, а огурцов тысячу штук. Потом поспеет калега, которую в Перми почему-то называют брюквой. Старая Кумыниха напарит тебе и Санчику целую корчагу вкусных паренок из калеги. Это не Пермь. Здесь своя русская печь, и она может, что ты захочешь, напечь, нажарить, напарить, сварить...

Спи. Тебя любит тетя Катя, любит бабушка, любит и мама. Теперь у тебя все будет хорошо. Пятнадцатого августа ты пойдешь в школу. Во второй класс, вместе с Толей Краснобаевым. Санчик пойдет в первый класс. В школе тебя не заставят быть товарным вагоном. От тебя там никто не отвернется. Зимой тебе никогда не будет холодно. Дрова уже куплены, да еще и прошлогодних осталось четыре сажени. А потом придет

рождество. Терентий Николаевич опять принесет пушистую елку.

А за месяц до елки ты с тетей Катей будешь золотить орехи, клеить цепи, приводить в порядок елочную коллекцию, надвязывать оборвавшиеся ниточки.

А бабушка Екатерина Семеновна в долгие зимние вечера будет рассказывать про старину такое, какое не услышишь ни от кого. Про первые бунты. Про то, как Мильва горела. Как Мавриков прадед Роман пудовую щуку в пруду поймал. Мало ли у бабушки нерассказанных былей-небылей! Зимние вечера тоже хороши.

А до этого придет екатеринин день. Тети Катины и бабушкины именины. И все соберутся, и будет очень весело.

Спи! Впереди еще сорок пять летних дней. Завтра всего только второе июля. Спи!

И Маврик спит, убаюканный тети Катиными словами, которые мысленно повторял сам себе.

Сорок пять дней - это немало, но мелькнули и они. Позади остался милый покос, ставший еще милее. Побывал Маврик и в лесу с Терентием Николаевичем и научился отличать поганки от хороших грибов. Хотя и не все, но многие. Уж главные-то мильвенские грибы - груздь и рыжики - он никогда не спутает ни с какими другими.

Лето в Мильвенском заводе кончается раньше, чем думал Маврик. Лето кончается в сердитый ильин день. Двадцать первого июля. Этот недобрый пророк с красивым и таким близким именем Илья еще накануне, как пьяный возчик, начал кататься по небу на своей громовой колеснице, и люди крестились на гром, на молнию. Маврик тоже два раза перекрестился. Как все, так и он. Но полюбить этого пророка он не мог. И за что его можно полюбить, когда в его именины горбатый медведь опускает в пруд свою чугунную лапу? И вода от этого становится холодной. И больше уже нельзя купаться. А если нельзя купаться, значит, настоящее лето кончилось.

Какое же лето без купания? Это начало осени. Ветер с деревьев рвет листья. Они еще не желтые, но все равно ветер срывает их. Правда, и ветер нужен. Нужен для змейков. Маврик с Санчиком запускают змейки, которые научились делать сами. Змейки взлетают очень высоко. Очень интересно пускать к ним по нитке телеграммы. Они в одну минуту долетают до змейков. Но разве пускание змейков можно сравнить с купанием? С беганием босиком? С жарой? На пруду злые волны. Ни одной лодки. Только буксир «Ермак» таскает туда и сюда дровяные баржи. Рыба, наверно, и та попряталась на дно.

Правда, и осенью тоже бывает кое-что интересное. На Соборной

площади строят тесовые лавки арбузники. Сколько угодно бобов и репы. Подшевели яблоки. На огурцы уже никто не смотрит. Их солят, и все. Но без пальтишка не выйдешь. А у Санчика не было пальто. Только шуба. В шубе еще ходить рано. Пришлось отдать ему старый дедушкин пиджак, чтобы сшили пальтишко. Шили долго, но получилось настоящее пермское пальто с хлястиком и на клетчатой подкладке. Бабушка Митяиха выпросила ее в какой-то лавке.

Плохое время года осень. Ее никогда не полюбит Маврик. Но в эту осень был очень хороший день. Маврик встретил такую девочку, каких нельзя встретить и на картинках в самых дорогих детских книжках. Он не знал этой девочки, а она знала его. Она первая подошла к нему и назвала по имени.

Вот это как было...

VI

Это было на той же Ходовой улице. Маврик любовался красной рябиной, которая росла напротив краснобаевского дома в господском палисаднике. Эту рябину можно было уже есть. Дать ей только немножко подвянуть на погребке, и она «посластеет». Так уже делали Сеня и Толя в прошлом году. Они же говорили, что рябина слаще меда после первого заморозка, но тогда ее не остается. Съедают птицы.

Пока размышлял Маврик о рябине, пока он придумывал, на что можно выменять у кучерского сына Левки рябину, слышался тоненький, тоньше птичьего, голос:

- Здравствуй, Маврик!

Маврик оглянулся. Перед ним стояла очень красивая и очень маленькая седая женщина, а с ней девочка. Обе они были в осенних пальто из одинаковой серой, мышинового цвета, материи. И обе они улыбались. И обе походили на волшебниц.

- Маврик, разве ты не узнал меня?

- Нет, - ответил Маврик.

- Маврик, разве ты не помнишь елку в общественном собрании?

- Помню. Я хорошо помню, как я там был.

- Тогда ты должен помнить девочку, которой ты привязал к косе блестящую ниточку из золотого дождя с елки.

Маврик старался вспомнить и не мог.

- Нет, я не помню...

- А я помню, - сказала девочка. - И буду помнить всегда.

- И я буду помнить, - сказала нестарая старушка. - Это было очень мило с твоей стороны.

- Пожалуйста, приходи к нам, - пригласила девочка. - Меня зовут Лера. А это моя бабушка.

Маврик шаркнул ногой и раскланялся, как учили его в школе Александры Ивановны Ломовой. Он не протянул первым руку.

Этому тоже обучили его.

- Ну право же, ты настоящий кавалер, - сказала бабушка девочки, назвавшейся Лерой.

Далее у Маврика не хватило небольшого запаса вежливости, полученного у Александры Ивановны и порастерянного в Мильве, и он спросил:

- А где вы живете?

- Твоя тетя скажет тебе, когда ты назовешь ей нашу фамилию Тихомировы.

- Генералы?

- Положим, не все, а только Лерочкин дедушка.

- Спасибо, - поблагодарил совсем тихо Маврик и еще тише сказал: - Я, может быть, приду... Я, наверно, приду, - добавил он, глядя на такое красивое, на такое нарисованное, на такое сказочное лицо Леры.

- У тебя с тех пор немножечко потемнели волосы. - Лера потрогала его кудри, улыбнулась и сказала: - Приходи. У меня два брата. У них есть ослик...

Это решило все. Ослик - это почти пони.

- Обязательно приду... Обязательно, Л-л-лера, - слегка заикаясь, назвал он впервые это имя, которое стало теперь самым красивым из всех имен.

Бабушка и внучка простились с Мавриком и пошли дальше. Маврик остался под рябиной в господском палисаднике. А из окна краснобаевского дома печально смотрела Сонечка Краснобаева, которой вчера исполнилось ровно восемь лет, и Маврик был у нее на именинах и подарил ей фарфорового кукленка в маленькой ванночке, куда можно наливать воду и мыть младенца.

Это было вчера. Он сидел рядом с ней за столом, и Сониная мама говорила про них:

«Ах, какая парочка, барашек да ярочка...»

А сегодня?.. Сегодня совсем другое. Его гладит по голове генеральская внучка. Он шаркает ножкой. Кланяется. Он говорит ей: «Обязательно приду...» Что же это?

- Сонька, о чем ты? - спрашивает ее мать.

- Ни о чем... Просто так.

Сониная мама сажает на колени свою младшую дочурку. Обещает завтра же ей купить школьную сумку, букварь, тетради, карандаши... И что-то еще...

Но что ей школьная сумка? Разве можно утешить девочку цветными карандашами? Сонечка плачет. Мать решает про себя: «Наверно, не выпалась прошлой ночью» - и убаюкивает свою маленькую любимицу, зная, что сон высушит ее слезы. А Сонечка долго не уснет, она всего лишь притворится спящей и будет думать, думать...

VII

- Ты обязательно, ты обязательно, Мавруша, должен нанести визит Тихомировым, если тебя приглашала сама генеральша, - говорила Екатерина Матвеевна, радуясь, что племянник будет принят в таком благородном и таком закрытом почти для всех доме.

Был доволен и Маврик, хотя и не знал, что такое визит и почему его надо нанести, а не просто принести или поднести как подарок, как букет.

Вскоре выяснилось, что визит - это значит сходить на недолочко в гости, а почему визит «наносят», как наносят оскорбление, удары, тетя Катя тоже не знала.

Но раз наносят, значит, наносят, и Маврик его с радостью нанесет.

Затем стало известно, что таким господам, как Тихомировы, визит нельзя наносить пешком, потому что они дворяне.

В слове «дворяне» Маврику слышалось нечто унижительное. Когда ученик получал двойку, то ему говорили, что из него вырастет «дворянин с метлой». Когда хотели унижить собаку, ее называли «чистокровной дворянкой». Почему же тетя Катя слово «дворяне» произносит с таким уважением? Наверно, так надо.

Маврику было сказано, что в воскресенье утром его повезет наносить визит Яков Евсеевич Кумынин. Потому что возьмет он недорого и у него появилась новая тележка с крыльями от грязи и с кожаным сиденьем.

Подготовка к визиту началась в субботу. Тетей Катей был сшит новый костюм, накрахмалены обшлага и воротник, куплен пышный голубой бант с крупным белым горохом, подровнены у парикмахера кудри, а затем вымыты в двух водах и надушены одеколоном «Саддо-Якко».

Утром было не до Санчика, и он не явился к чаю. Тетя Катя несколько раз перевязывала бант и переспрашивала племянника, как и кого зовут из Тихомировых. Маврик твердо заучил тихомировские имена и пообещал, что им не будет сказано ни одного лишнего слова, что в гостях он будет не долее получаса.

Ровно в десять Яков Евсеевич подал лошадь. И, как следовало ожидать, сбежались ребята. Их всех занимало, что это значит? Кто и куда едет? И все узнали, что Маврик едет в генеральский дом. Узнала об этом и Сонечка Краснобаева. Ах бедняжечка!

Маврик вылетел из ворот и хотел было впрыгнуть в тележку, но что-то помешало ему. Что-то остановило его. И он понял, что молчащим ребятам

нужно объяснить, почему он сегодня так одет и почему он должен ехать на лошади.

Когда было сказано все, Маврик заметил, что это не произвело никакого впечатления на ребят. Они молча выслушали его и молча проводили, Маврик не мог понять, что произошло и почему им, кажется, не очень приятно, что у него такой счастливый день.

Яков Евсеевич тоже молча сидел на козлах, поторапливая вожжами Буланиху, будто ему тоже было не очень приятно. Но разве Маврик виноват, что у него такие знакомые и к ним нельзя появляться просто так?



Дверь открыла горничная, и Маврик выпалил ей:

- Маврикий Толлин. Прошу доложить. - Все, как было велено.

- Да зачем же докладывать, мы тебя и без доклада вторую неделю

ждем.

Послышались голоса. Среди них он различил тонюсенький голосок Леры. Маврика провели в гостиную, генеральша поправила смявшийся бант. Появились все. Маврик представлялся, назывался с реверансом. Все ему очень понравилось, и так было жаль, что генерал не носил эполеты, а был просто в тужурочке и даже без галстука, как Иван Макарович Бархатов. Валерий Всеволодович тоже оказался какой-то не такой. Он даже не походил и на серьезного человека. Шутил и смеялся. Показывал фокусы. Р-раз - и полная коробка спичек. Р-раз - и она пустая. Он очень удивился, что Маврик такой чинный, такой важный. И еще более удивился, чуть даже не свалился со стула, когда узнал, что Маврик приехал с визитом на лошади. Маврик сам виноват в этом. Вернее, не он, а его длинный язык.

Маврику показалось, что никто не заметил и не заметит, если он не скажет сам, что под окнами его ждет лошадь. А ему хотелось, чтобы все знали об этом. И конечно, Лера. Поэтому Маврик подошел к окну и, приподнявшись на носки своих новеньких желтых башмаков, заглянул на улицу.

- Ты что, мой дружок? - спросила его Лерина бабушка, Варвара Николаевна.

Маврик ради этого вопроса и заглядывал в окно. И он небрежно, как бы между прочим ответил:

- Хотел проверить, не ушла ли лошадь, на которой я приехал.

Вот тут-то Валерий Всеволодович и покатился со смеху, чуть не упав со стула. Почему-то улыбнулась и Лера. Не смеялась только бабушка, Варвара Николаевна. Она очень серьезно спросила:

- А если и ушла твоя лошадь, что тогда?

- Ничего тогда, но все-таки, - ответил Маврик, не зная, что нужно было сказать.

- Вот что, - сказала тогда Варвара Николаевна, - спустись и скажи уважаемому Якову Евсеевичу Кумынину, что ты просишь его не затруднять себя и не мокнуть под дождем, потому что ты останешься у нас на весь день. И попроси извинения за то, что ты заставил его ждать...

Маврик покраснел.

- Хорошо. Я сейчас.

- Нет, нет... Mamочка, разве можно посылать гостя? Я сбегаю сам. Тут Валерий Всеволодович быстро выбежал, и было слышно, как он мчался по лестнице.

Маврик чувствовал, что что-то не так. Что-то было неправильное не только в его приезде на лошади, но и в ожидании Якова Евсеевича под

дождем. И это подтвердилось, когда Валерий Всеволодович вернулся с Кумыниным и, проводя его в комнаты, сказал:

- А я не знал, что ты мокнешь на улице. Давай по одной. У меня к тебе охотничье дело...

- Давай. Я всегда рад стараться, - ответил по-свойски Яков Евсеевич.

- Прошу извинить меня, Маврик, - раскланялся, хитро-прехитро улыбаясь, Валерий Всеволодович и увел, обняв, Кумынина к себе.

Варвара Николаевна внимательно следила за Мавриком. По его лицу пробегала то обида, то стыд, то признание чего-то, и наконец он, обратившись к Варваре Николаевне, сказал:

- Тетя Катя сделала это из уважения к вам. Ведь вы же дворяне...

Варвара Николаевна обмерла. Она открыла рот, потом бросилась к Маврику. Ей стало так неприятно, что не тщеславие заставило его приехать на лошади Кумынина, а уважение к Тихомировым вынудило Екатерину Матвеевну прибегнуть к этому параду.

- Нет, не я и не Валерий, - начала говорить она, - преподали тебе урок хорошего тона, а твоя прямота, правдивый мальчик, заставляет нас об очень многом подумать. - И затем, обращаясь ко всем, она продолжила: Извозчик - это извозчик. И если Якова Кумынина унижает его приватное извозничье занятие, то кто мешает ему не жадничать и заниматься только его прямым делом? Ведь он же кузнец. А если ему нужны легкие рубли, то нечего обижаться, что ему приходится сидеть на облучке. Ведь если бы Маврик приехал просто на извозчике, то никому бы не пришло в голову упрекать мальчика за то, что тот его ждет.

С этого часа у Маврика появился новый друг - Варвара Николаевна Тихомирова. Как знать, может быть, когда-нибудь он будет называть ее бабушкой. Милой бабушкой.

VIII

Потом Лера играла на рояле. И, наверно, хорошо играла. Но Маврик не очень любил музыку, кроме разве гармошки. Та пела, плакала, смеялась. А рояль что-то хотел произнести, но не мог выговорить, потому что у него не было голоса, а только струны...

На ослике прокатиться тоже было нельзя. Шел дождь. Да и у осла была слишком большая голова, слишком длинные уши и очень неприятный рев. Пришлось вернуться в дом.

Решили поиграть в короли. Как раз было четверо: Маврик, Лера и ее два брата, Викторин и Владислав. У Тихомировых все имена начинались на букву «В». И только Лерина мама была на другую букву. Ее звали Матридия. Она бывает именинницей в один день с тетей Катей. В этом есть тоже что-то предсказательное. И вообще от судьбы не уйдешь. Не беда, что Лера немножечко выше Маврика. Но когда они сидят рядом, это незаметно.

Теперь Маврик знал их всех. И они были очень хорошие люди. Хорошие, но другие. У них можно бывать. И он будет бывать у них. Но у них он никогда, наверно, не станет своим человеком. У них даже за столом нужно вести себя не как у всех.

Неинтересно быть дворянином, но и жить, как живет вся Ходовая улица, тоже не подходит для Маврика.

Неужели все-таки он принадлежит к тем, про которых говорят «не поймешь кто» и «ни то ни се»? Это плохо. А все же Тихомировым нужно дать понять, что он тоже не из простых. Поэтому Маврик решил сказать Варваре Николаевне, чтобы слышали все:

- А ведь я мещанин города Перми.

- И очень хорошо, - сказала Варвара Николаевна и, кажется, обрадовалась услышанному.

А Валерий Всеволодович снова хохотал. Ему, кажется, достаточно показать палец, и он будет смеяться. Но, просмеявшись, он сказал:

- А я думаю, что ты из рода князей Барклай де Толли и не знаешь этого, - и снова улыбнулся.

Тут Маврик вспомнил, как бабушка Толлиниха сказала ему однажды, что придет время и Маврик узнает, какую знаменитую фамилию носит он. И кажется, бабушка назвала слово «Барклай».

- Может быть, - ответил Маврик Валерию Всеволодовичу. - Бабушка

тоже говорила что-то такое... Но мне все равно.

Шутка Валерия Всеволодовича приняла неожиданный поворот. Провожая Маврика до дома, он повторил ему совершенно серьезно, что его фамилия имеет прямое отношение к фамилии Баркляя де Толли. Только он не досказал, какое именно отношение. Не договаривала об этом и пермская бабушка. Тихомиров предположил, что фамилия Маврика пошла от прозвища крепостных, принадлежащих Баркляю де Толли, - Толлины. Толлины мужики. Толлины крестьяне. И эту неожиданно пришедшую в голову версию Валерий Всеволодович, не пройдя и ста шагов по Большому Кривулю, провожая Маврика, стал считать абсолютной и неоспоримой. По принадлежности тем или иным господам возникали многие крестьянские фамилии. Например, в Прикамье уйма крестьянских фамилий Строгановы. Эту версию он считал безусловной и потому, что фамилия Маврика с двумя буквами «л» не могла быть фамилией русского происхождения, тогда бы она звучала просто Толин, а не Толлин.

Вернувшись домой, Маврик стал спрашивать про князя Баркляя де Толли. Екатерина Матвеевна долго вспоминала, где она слышала это имя. И вспомнила только вечером. А вспомнив, нашла потрепанную книжку, которая называлась «1812 год». В книжке был портрет Баркляя де Толли.

Может быть, Маврику стоит подумать еще, кем ему быть, когда он подрастет. Стать фельдмаршалом и скакать на коне вовсе не так плохо. Конечно, это опасно. Могут убить, и тетю Катю некому будет поить и кормить, но ведь Лере-то будет очень приятно, когда она узнает, что Маврик решил стать полководцем.

Но это пока нетвердо. А сейчас нужно спать.

Во сне прилетела милая, желтогрудая, с белыми щечками птичка. Это большая синица. Здесь ее ласково называют кузей... кузькой... кузнецом. Кузя сел на спинку кровати, отряхнулся и спросил голосом Ильюши Киршбаума:

«И когда только ты перестанешь забивать себе голову всякой чепухой? И вообще, лучше бы ты не ходил к Тихомировым...»

Но это теперь уже невозможно. И не потому, что первая детская привязанность к Лере будет манить его к Тихомировым. Каждый из них по-своему интересен и приятен.

IX

Не так много знал о Тихомировых Маврик. Несколько больше знали о них взрослые люди, но знали скорее по догадкам. Тихомировы не выносили на люди того, что касалось только их. Даже внутри семьи не принято было посвящать одного в дела другого. Это бабушкина школа.

Бабушка, Варвара Николаевна, отдав дань исканиям путей к счастью народа, перечитала все доступное ей от утопистов до революционных демократов, решила для себя, что высокие общественные основы начинаются с высоких нравственных начал человека. Насаждать благородное, воспитывать в человеке хорошее и есть главнейшая из сил переустройства общества.

Наивная убежденность бабушки переделать мир только проповедями и личным примером служения добру не вызывала возражения окружающих, но и не стяжала поклонников. Варвару Николаевну безоговорочно любили такой, какая она есть. Любили внуки, любили дети, обожал муж.

Всеволод Владимирович Тихомиров в свое время сочувствовал ранним народникам. Его жизнь на Омутихинской мельнице, приносящей только убытки, тоже можно было назвать своеобразными народническими попытками общения с народом.

Старик Тихомиров принадлежал к тем военным, для которых профессия была случайной, много знал и очень много читал. Он восхищался Марксом, преклонялся перед Энгельсом, и тем не менее написанное ими было для него лишь одной из точек зрения, которая может и восторгаться, но, конечно, не в России, а там, где уже не едят из общей чашки, не моются в курных банях и не кичатся лаптями, предпочитая их кожаной обуви. Всеволод Владимирович любил Россию и русский народ, но не верил, не мог поверить, как бы он этого ни хотел, что его страна выйдет в первый ряд. В это не мог верить не один он, но и многие, очень многие хорошие и по-своему передовые люди.

Дети Тихомировых, воспитанные в духе неприязни к самодержавию, нашли свои способы борьбы с ним. Старший, Владимир, отец Леры и ее братьев, оказавшись народовольцем, был приговорен к каторге. Убежав с каторги, пропал без вести.

Неизвестно, каким путем пошел бы второй сын, Валерий, если бы не счастливая встреча с механиком по дизелям Иваном Макаровичем Бархатовым. Студента Тихомирова поразила простота и ясность суждений

нового знакомого о вещах сложных и явлениях, казавшихся неразрешимыми. Они сблизились настолько, что Валерий Тихомиров получил возможность познакомиться с Владимиром Ильичем Лениным.

Совсем не таким представлял Тихомиров Владимира Ильича. Это было удивительное излучение простоты и ясности. Это был человек, заставляющий мыслить, видеть, понимать.

Прошло не так много дней, и Валерий Тихомиров решил для себя, что на свете есть и могут быть только две партии. Это партия поработанных и партия поработителей. А остальные, как бы они ни назывались и какими бы они ни притворялись, не имеют самостоятельного значения. Они либо сопутствуют, либо прислуживают.

Быть марксистом, состоять в одной партии с Владимиром Ильичем - это значит помогать рождению нового общественного строя, готовить людей к встрече большой весны, ускорять ее приход. Большевик - это не искатель, а проводник найденного, открытого, увиденного в грядущем.

Стоит ли ради этого жить, а если понадобится, то и отдать жизнь? Для Тихомирова на этот вопрос один ответ. И он отвечает, став не только большевиком, но и профессиональным революционером, таким же, как и его друг, механик по дизелям, которого мы уже знаем как сапожника Ивана Макаровича Бархатова.

Если бы знал об этом пристав Вишневецкий! Какой бы чин, какую бы медаль-размедаль получил он! Подумать только, сапожник и генеральский сын, столбовой дворянин. Такие разные, такие далекие друг от друга люди, как благостный, бородатый, пузатый старик Матушкин, заядлый рыболлов Артемий Кулемин, предприимчивый штемпельщик Киршбаум, такая тихая и такая жалостливая Варвара Емельяновна, стремящаяся вылечить и безнадежный зуб, работают вместе с Тихомировым и Бархатовым в глубоком подполье, представляя собою пусть малое зерно пока еще немногочисленной партии, которая вскоре поведет за собой миллионы тружеников.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

Пятнадцатого августа кончилось школьное лето. В земском складе бойкая торговля учебниками, сумками, ручками, карандашами, школьной бумагой, из которой ученики сами сшивают тетради - это дешевле.

Маврик тоже готовится к учебному году. У него хороший ранец, а в ранце - книги, пенал, коробка для завтрака, бутылочка для молока. Там же и электрический фонарик, подаренный папой в Перми. А вдруг пригодится фонарик! Его можно показать мальчикам во втором классе. Интересно же им, как горит маленькая электрическая лампочка.

В первый школьный день Маврик встал рано. Поминутно смотрел на часы, чтобы не опоздать. Ждал Санчика - он идет в первый класс и уже знает все буквы и немножко читает по складам. В ненастные дни Маврик был его учителем.

На улицах Мильвы ватаги школьников. Им тоже еще рано в школу, и у них еще есть время поколотить ребят из соседней школы на Купеческой улице или быть побитыми «купчатами».

Чинно проходят по улице ученики в фуражках городского училища со значками «ГУ», их дразнят «гуся украл». Их недолюбливают сверстники, у которых после трех классов начальной школы кончилось образование. А эти «гуси» будут учиться еще четыре года и выучатся на табельщиков, чертежников, конторщиков, разметчиков.

Хоть и не выйдут в господа, а все-таки не свой брат, не мастеровая молодежь.

Съехались техники - ученики Мильвенского судостроительного училища. Это взрослые люди. Многие с усиками. Самому младшему из них шестнадцать лет. Они в настоящей форме. Тужурки с золотистыми пуговицами. Фуражки с кантами и со значком.

Техники проходят всегда по Купеческой улице, даже если им не по пути. Там женская гимназия, и у них много знакомых гимназисток.

- Давай, Санчик, пойдем в школу через Купеческую улицу, - предлагает Маврик.

- Давай, - как всегда, отвечает согласный на все Санчик.

И они идут.

На Санчике старая Маврикова курточка. Он в сапогах. И большинству мильвенских школьников покупают сапоги. Не по ноге. С запасом. Чтобы хватило «на всю школу», то есть на все три года обучения.

Толе Краснобаеву тоже купили новые сапоги. Он их начистил ваксой. Здорово блестят.

Санчик и Маврик шли медленно. Лера не встретила. Решили вернуться. Потом снова вернуться. И наконец Санчик сказал:

- Вон она. Я отбегу...

Лера шла в синем форменном платье, в белом фартуке, с белым бантом в косе и несла большой букет цветов.

- Здравствуй, Маврик. Какой ты нарядный!

Лера одобрительно отозвалась о его синем бархатном костюме, расправила под ремнями ранца белый воротник и преподнесла из букета, а потом продела в петлицу куртки большую садовую ромашку и сказала:

- А эту вторую твоему товарищу, который почему-то стесняется.

- Спасибо, Лера... А я нарочно пошел по этой улице, чтобы увидеть... Чтоб посмотреть, - слегка заикнулся Маврик, - как идут гимназистки в гимназию. Добро пожаловать! - сказал он ей, не зная, что говорят в таких случаях, и убежал.

Санчик и Маврик появились у ворот своей школы. Ворота еще не открылись, а возле них уже гудел рой ребят. Знакомых оказалось мало.

- Здравствуйте! - поклонился всем Маврик. - Я тоже буду учиться в этой школе.

В ответ раздался хохот. Затем для первого знакомства была выдернута из петлицы ромашка, подаренная Лерой, а затем получен первый синяк.

За что? Что сделал он?

- Отдайте! - крикнул Маврик.

- Отдайте, - повторил подоспевший Толя Краснобаев.

Этого было вполне достаточно, чтобы начать потасовку.

- Задаешься? - спросили Толю. - Значит, тоже хочешь? Получай.

И Толя получил хороший тумак, затем второй, третий, а когда он дал сдачи, его свалили с ног и стали бить сумками. Маврик лежал ничком в крапиве, его белый воротник был вымазан чернилами. Чернила школьники приносили с собой в пузырьках, привязанных на веревочках к поясу.

Тут подоспел на помощь брату Сеня. При виде сильного, коренастого

третьеклассника драчуны бросились врассыпную.

- Погодите, - сказал Толя, вытирая кровь, сочащуюся из разбитого носа. - Узнаете, как ни за что бить.

Открылась калитка. Гурьба школьников, сбивая один другого, кинулась на школьный двор. Маленький тесный дворик едва уместил сто с лишним школьников трех классов кладбищенской церковноприходской школы.

Потом открылись двери школы. Снова давка. Школьники разбрелись по своим классам. Первоклассники еще не знали, кому и с кем сидеть.

Ученик второго класса Маврикий Толлин вошел последним. Он тоже не знал, куда ему сесть. Измазанный, с синяками на лице, в обрызганном чернилами кружевном воротнике, держа в руках ранец, ремни которого были оторваны, он стал возле печи.

Вошла учительница Манефа Мокеевна. Полная. Приземистая. Седеющая, с сердитым лицом.

Все встали. И она, не сказав школьникам «здравствуйте, дети» или просто «здравствуйте», как это делали все учителя в школе Ломовой, обратилась к Маврику:

- Ну что ты стоишь как казанская сирота?

Класс громко и пронзительно захохотал. Класс хотел прозвища Маврику, и оно нашлось. «Казанская сирота». Ха-ха! В самый раз.

- Я не знаю, куда мне можно сесть, - поклонился Маврик и добавил, еще раз поклонившись: - Здравствуйте, Манефа Мокеевна. - Ее имя он знал еще летом. И знал, что она злая, потому что ее никто не взял замуж.

Это обескуражило Манефу Мокеевну. Мальчик, стоящий покорно у печи, не желая, преподал ей урок вежливости.

Манефа Мокеевна никогда не любила школы, детей и самой профессии учителя. Но нужно было что-то делать в жизни, кем-то быть. И она, сестра урядника, где-то и чему-то подучившись, стала учительницей, вымещая на детях свою злобу за неудавшуюся жизнь.

- Хорош, хваленый груздь, - сказала Манефа Мокеевна, осматривая Маврика. - Еще за парту не сел, а уж в синяках и царапинах. Где ты так измазаться успел? Кто тебя?

С задних парт Маврик увидел поднятые кулаки. В его ушах еще слышались слова: «Наябедничай только, ябеда-беда, не так причешем».

Манефа Мокеевна ждала, что Маврик назовет своих обидчиков и те добавят ему после школы, и она повторила:

- Кто же? Говори! Они посидят у меня без обеда.

- Никто, - ответил Маврик. - Я сам.

- Значит, трусишь говорить правду своей учительнице, Мартын Зашеин?

В классе снова раздался угодливый хохот.

- Я... я... я не Мартын и не Зашеин, - волнуясь, возразил Маврик. - Я ученик второго класса Маврикий Толлин.

Теперь хохотала и сама учительница. Ее живот подпрыгивал. Она закашлялась от смеха. Бледный Маврик не знал, как вести себя далее. Но тут Манефа Мокеевна поняла, что ее поведение находится за чертой допустимого. Она, сиюсь улыбнуться, положила на плечо Маврику свою широкую короткопалую руку и сказала:

- Иди, я посажу тебя, кружевной ангелок, на первую парту.

И посадила.

II

Для первого дня, проведенного в школе, Маврику достаточно было и трех прозвищ, подсказанных учительницей: «казанская сирота», «хваленый груздь» и «кружевной ангелок». Кроме них, у него появились и другие: «Зашей, продай вшей», «Маврикий-заикий». Но уроки еще не кончились. Пришел кладбищенский батюшка, отец Михаил. Законоучитель.

Все встали. Молча поклонились. Потом повернулись к иконе Кирилла и Мефодия - первоучителей славянских. Толя Краснобаев прочел молитву «Царю небесный». Отец Михаил благословил рукой класс и сказал:

- Да благословен будет год нынешний, как год минувший, - затем спросил, не забывали ли повторять преподанные им молитвы, молились ли по утрам, перед обедом, после обеда и перед сном?

- Да-а-а, - гудел класс, отвечая на каждый вопрос. - Не забывали... Повторяли... Молились...

- Это хорошо, дети мои. Верю, а потом проверю. А теперь расскажу вам о боге.

Отец Михаил расчесал пятерней свою сивую с желтизной бороду, провел руками по голове, высморкался в красный клетчатый платок и начал:

- Бог есть дух - всемогущий, вездесущий, всезнающий...

Маврик, позабыв о своих обидах, смотрел в беззубый рот своего законоучителя и думал: зачем ему нужно понятное рассказывать непонятно? Это же самое он слышал еще в первом классе от нарядного, красивого священника в блестящей темно-лиловой рясе, с бородой, как на иконе у Иисуса Христа, и с такими же большими синими глазами. Его звали отец Иннокентий, и он служил хотя только раннюю обедню, но в кафедральном соборе. От него пахло не как от этого, не вчерашними щами из старой капусты, а церковью и причастием. Маврику очень хотелось подсказать отцу Михаилу, как нужно говорить о боге, и он сказал вслух:

- Бог все знает, все видит, и от него ничего нельзя скрыть.

- Именно, отрок мой, - подтвердил законоучитель и погладил Маврика по голове.

Поощренному Маврику захотелось сказать о боге еще больше, и его голос зазвенел:

- Люди только думают, что можно обмануть бога, спрятать от него свои грехи, а как их спрячешь, когда с неба все видно и бог все помнит, все

терпит, а потом, как придет конец его терпению, его милостям, он как возьмет камень да как трахнет им по голове грешника...

- Это, положим, все так, - остановил Маврика законоучитель, - но зачем трещать-то тебе, трещотка? Трещоток тоже не милует господь...

Маврик осекся, побледнел. Отец Михаил смягчил свои слова и сказал:

- На первый раз бог прощает трещоток и выскочек, если они, конечно, впредь не будут трещать, перебивать и выскакивать.

В классе прошел шумок. Послышался шепоток: «трещотка», «выскачка».

Маврик получил еще два новых прозвища, на этот раз данные ему священником. А он не Манефа-урядничиха, а отец Михаил, который не боится и самого протоиерея, потому что у него двоюродный брат архиерей. И если бы отец Михаил не гулял на свадьбах, на похоронах и на крестинах, если бы его не уводила пьяного под ручку кладбищенская просвирня, тогда бы его сделали протоиереем. Об этом знают школьники. Им известно, что он «плюет на всех с большой колокольни» и не боится опаздывать к обедне и служить ее «на скорую руку», так что и псаломщик за ним не успевает.

Маврик страшился возненавидеть отца Михаила, но не мог заставить себя считать его порядочным человеком. Об этом, как и обо всем, что произошло сегодня в школе, он рассказал тете Кате и бабушке.

Обе они плакали. Прикладывали серебряные полтинники к синякам на лице Маврика, чтобы они скорее прошли. А потом стали советовать, как быть дальше.

Снова выручил Терентий Николаевич. Он сказал так:

- Катенька, Катерина Матвеевна, одно из двух. Ежели вы хотите пускать парня по барчуковой стезе, тогда нанимайте ему домовую учительницу, как у господ. А ежели он будет жить, как все, тогда стригите его под первый номер, обуйте его в сапоги, наденьте на него «обнакновенную одежду», и он не будет белым голубем в стае сизарей.

Примерно так же сказал тихий и разумный сосед Артемий Кулемин. Он хотя как бунтовщик и был «приведен к медведю» после пятого года, хотя и побывал в Сибири, но вернулся оттуда неузнаваемым.

Никто не знает, что ему тоже, как и Тихомирову, посчастливилось встретить того же доброго друга. Страна огромна, да дороги не столь часты. Вот и встречаются люди. До последних дней держат связь старые друзья. Хитра почтовая цензура, но на всякую хитрость находятся уловки.

Артемий Гаврилович Кулемин диктует письма жене, а она посылает их в Пермь прачке ночлежного дома Сухаревой. А Сухаревой диктует письма Иван Макарович, которые до того скучны и безрадостны, что всякий

чиновник, читающий их, не доходит и до пятой строки. А Кулемин, Киршбаум и Матушкин по три, по четыре раза перечитывают их, не оставляя непонятым ни одного иносказания Бархатова о работе мильвенского подполья.

Кулемин давно признан умным и хорошим советчиком не только на своей улице, но и на заводе.

- Екатерина Матвеевна, - сказал он, - если по душам, то скажу так Манефа-урядничиха стоит хорошей пеньковой петли. Зря она родилась, простите на слове, бабой. Ей бы в самый раз быть палачом. Порола бы с оттяжкой и с удовольствием. Конец она свой найдет. А пока что надо ладить.

- Уж не на поклон ли идти к этой... - не договорила Екатерина Матвеевна, не найдя нужного слова.

- На поклон не на поклон, - сказал Кулемин, добродушно улыбаясь, опуская свои умные серые глаза, - а кость бросить надо. Сшейте ей что-нибудь в знак благодарности...

- За что?

- За материнскую заботу о вашем племяннике... Затравит ведь, - сказал Кулемин и перевел разговор на другое.

Очень обидно было Екатерине Матвеевне идти к Манефе, но в словах и в глазах Кулемина была правда. «Надо бросить кость».

Сапоги Маврику были куплены в сапожном ряду. Скроить, сшить «обнакновенную одежду» из чертовой кожи и для медлительной Екатерины Матвеевны было делом дня. Что же касается Манефы, ей было сказано так:

- Манефа Мокеевна, вы были разборчивой невестой, и я была разборчивой невестой. Вы не захотели выходить замуж, и я не захотела. Вам трудно живется, и мне нелегко.

И неожиданно для Екатерины Матвеевны Манефа прослезилась.

- Не хотела я обижать вашего мальчика, - вдруг перешла она сразу к делу, поняв, зачем пришла к ней эта степенная, всеми уважаемая Екатерина Зашеина, - да сатана во мне верх берет.

- Это и со мной случается, - покривила душой Екатерина Матвеевна. Не надо поддаваться ему, Манефа Мокеевна. Не надо, ну да не мне вас учить...

Екатерина Матвеевна без обиняков стала говорить о плохом осеннем пальто Манефы, о малом жаловании в церковноприходских школах и о том, что Маврик неусидчив и плохо пишет, что ему нужно терпеливо внушить, как важно научиться выводить буквы. А так как научить этому Маврика нелегко, поэтому Екатерина Матвеевна решила сшить терпеливейшей из

терпеливых учительниц, Манефе Мокеевне, модное и солидное пальто, сукно которого давно уже куплено.

- Я стеснялась предложить это вам, Манефа Мокеевна, летом... Я не знала, какая вы простая и сердечная женщина... А теперь я вижу...

- И я ведь не знала, какая вы, Катенька, - сказала Манефа, проверяя по лицу Зашеиной, не оскорбляет ли ее употребление слова «Катенька» вместо полного имени с отчеством.

Но Екатерина Матвеевна постаралась не обратить внимание на это. Для Маврика она готова поступиться и не этим.

Был рассмотрен фасон, затем снята мерка и...

III

И положение Маврика в школе круто переменялось. Манефа не обладала и малой долей такта. Она велела классу встать, а затем объявила, указывая на Маврика:

- Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого знают и помнят ваши отцы и ваши деды за его добрые дела. И если кто-то из вас тронет хоть пальцем или, случаем, и не нарочно толкнет или обзовет его разными словами, потом пусть пеняет на себя. Сядьте. А ты, Байкалов, выйди к доске и повтори.

Манефа Мокеевна, взяв за плечо Байкалова, помогла ему выйти из-за парты. Помогла так, что драчливый ученик готов был взвыть от боли. Короткие сильные пальцы Манефы Мокеевны могли бы, сжавшись, покалечить плечо Байкалова. Но нажим был в половину силы. Хотя и этого было достаточно, чтобы Байкалов понял, что его может ожидать, если он снова посмеет ударить Толлина.

- Повтори, что я сказала, Байкалов!

И Байкалов стал повторять:

- Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого... которого...

- Которого знают и помнят, - властно подсказала Манефа Мокеевна, ваши отцы и ваши деды...

Байкалов повторял подсказываемое. И только после того, как он заучил слово в слово предупреждение учительницы, ему было позволено сесть за парту.

- А сейчас выньте тетрадки и пишите то, что я вам велю.

Началась диктовка. Байкалов не мог поднять руки.

- Сохнет, что ли, рука, Байкалов? Или, может быть, боится писать?

- Не знаю, - ответил Байкалов.

- Ну, коли не знаешь, возьми книжки, пойди домой и спроси у отца, что случилось с твоей рукой. Завтра тоже не приходи. Марш! А вы пишите... «Осень!..» Знак восклицания... «Осыпается... весь... наш... бедный...» Слово «бедный» пишется через букву «ять»... «весь... наш... бедный... сад». Точка.

Байкалов покинул притихший класс. Было слышно, как скрипели перья. Маврик, остриженный наголо, в шагреновых сапогах, в топорщащейся новой «одежке» из чертовой кожи, писал с трудом,

пропуская буквы. Перо не слушалось. Руки дрожали. Ему стыдно было поднять глаза.

Что теперь будет с ним? Что будет теперь?

А было плохо. Совсем плохо.

Маврика никто больше не трогал. Но никто и не разговаривал с ним. Ему уступали дорогу. Подчеркнуто сторонились, чтобы «случаем» не задеть, не толкнуть его.

«Уж лучше бы били, - думал он. - Уж лучше бы и она давала новые прозвища, чем так защищать».

Маврик страшился, что так будет всегда, но этого не случилось. И самые драчливые, самые злопамятные ребята разглядели Маврика, и прозвища «трещотка», «болтушка», а потом и «Маврикий-врикий», оставаясь справедливыми, перестали звучать оскорбительно, а вскоре забылись, хотя Маврик по-прежнему болтал, трещал и врал. Но как «врал»!.. Даже Митька Байкалов как-то сказал:

- Соври еще раз, пожалуйста, про что-нибудь.

И в слове «соври» не чувствовалось обидного. «Соврать» для Митьки Байкалова в данном случае означало - «придумать», «сочинить».

Для Маврика ничего не стоило рассказать, как одна плохая телеграмма шла по проволоке и заблудилась, потому что было темно, а проволок на столбах было очень много, поэтому плохая телеграмма не дошла, куда она была послана, и сыщики не сумели поймать разбойника, который был не разбойник, а молодой капитан парохода, нарядившийся разбойником, чтобы спасти свою невесту Валерию, украденную кровожадным купцом Кощевым.

Серьезный мальчик Коля Сперанский, живший напротив школы, и тот стал приглашать к себе Маврика, чтобы послушать его неистощимое «вранье». И сила этого «вранья» оказывалась такой, что на тесном школьном дворе под морозящим дождиком оставалась чуть ли не половина класса, чтобы послушать, почему чижик не улетел в теплые края, или о волшебном карандаше, который оказался в руках у одного мальчика и мальчик не знал, что это волшебный карандаш и что все написанное и нарисованное этим карандашом «случается взаправду».

Тетка, две бабушки и особенно пермская бабушка Толлиниха, да и дед Матвей Романович порассказали достаточно сказок, былей-небылей, страшных и счастливых историй, чтобы развить воображение Маврика. И теперь он иногда пересказывал, видоизменяя слышанное, однако же способность выдумывать была столь очевидна, что и злая Манефа находила в Толлине «сочинительный дар». Да и как этот «дар» было не обнаружить,

когда появившийся на заборе чижик заставил Маврика рассказать очень интересную неправду.

- Я видел сам вчера у казенки, - рассказывал он, - как этот глупый чижик пил водку.

- Какую, где, ты что? - спросил Митька.

- У казенки, на Купеческой улице. Пьяный разбил бутылку, и все разлилось. А чижик очень хотел пить. И он думал, что это вода. Откуда же чижикам знать? Правда, ребята? Водка же тоже белая, и он напился...

И когда все согласились с этим, можно было придумывать дальше. А дальше чижик валялся под забором, и его чуть не схватила кошка, но на нее накинулась собака Мальчик. Чижик протрезвился, хотя и не совсем. Ночевал он на березе и, проснувшись, стал звать своих. Но свои улетели...

- Все большие чижики улетели в теплые края, - рыдающим голосом тети Кати рассказывал Маврик. - И остался маленький чижик один. Один-одинешенек. Ни папы, ни мамы, ни дедушки с бабушкой - никого... Они все улетели... Все до одного, а дорогу в теплые края он не знал... А кошка караулила его... Она скалила зубы и кричала: «Я тебя мяу-мяу до последнего перышка...» И вот она стала точить когти, потом зубы...

Маврику и самому до слез было жаль чижика, которому он придумал сначала легкомысленное опьянение, а затем «неминуемую смерть», но ему очень хотелось спасти чижика. И всем хотелось спасти эту маленькую птичку, которая жила теперь не выдуманно, а правдиво и для самого Маврика.

- И когда чижик насквозь прозяб до последней косточки, - рассказывал Маврик, еще не зная, что его спасет, и тянул время, - и когда кошка пробиралась к нему по веткам, вдруг...

За «вдруг» что-то должно следовать. А что? Не фея же? Не чижина же тетя Катя прилетит за ним... А почему бы и не прилететь чжиной тетке? Почему?

- И вдруг, - продолжает Маврик, - он слышит знакомый чжиный голос, и этот чжиный голос на чжином языке говорит ему: «Чижик, мой милый чижик». Чижик сразу же узнал свою тетку, бросился к ней под крыло и тут же согрелся...

- А кошка? - спрашивают ребята.

- А кошка струсила, - отвечает Маврик.

- Чжихи? - сомневается Коля Сперанский.

Митька Байкалов показывает Сперанскому кулак и подтверждает:

- Да знаешь ли ты, какие бывают старые чжихи... Львам глаза выклеивают, а не то что кошкам. Рассказывай, Маврикий, дальше.

А дальше совсем нетрудно рассказывать. Когда чижик отогрелся под крылом своей тетки, сразу захотел в теплые края. И они полетели над лесами, над лугами, над реками и всю дорогу разговаривали на чижином языке, как тепло в теплых краях и как им будет там хорошо.

Рассказ о чижонке заканчивался. Ребятам хотелось знать, что будет потом. И Маврику хотелось тоже знать. Но что будет потом - можно придумать дома.

Моросит дождь. Ребята расходятся по домам. Кто-то досказывает, как хорошо будет маленькому чижикю в теплом краю, и кто-то сожалеет, что нельзя сделаться хотя бы на денек или на два чижом...

На улице - глубокая осень. Вспоминается недавняя диктовка. В ушах немазаной телегой скрипит голос Манефы: «Осень!.. Знак восклицания. Осыпается весь наш бедный сад...»

Маврик идет мимо школы, где учится Иль. Дождавшись его, он идет вместе с ним, обнявшись.

Выросший в иной среде Ильюша Киришбаум - воспитанный в реальной и нередко суровой обстановке - никак не был склонен искать в тех же мышах заколдованных фей или умиляться рассказом о чижике. Наоборот, ему чуждо было всякое волшебство, и он не признавал ни духов, ни привидений. Не очень охотно Ильюша слушал сказки. А недавно с ним что-то произошло. Он тоже стал придумывать невероятное.

- Ты знаешь, Мавр, - с таинственной убежденностью начал Иль, - если поймать большую шипучую змею и посадить в стеклянную банку, а потом глядеть ей в глаза всем классом и заклинать ее часа три, то можно змее внушить что захочешь...

- А что? - спросил удивленный Маврик.

- Например, змее можно внушить, чтобы она вместе со своими шипучими змеенышами поселилась у Манефы под кроватью. И она поселится. А Манефа выселится.

Воображение живо рисует Маврику, как змея и ее змееныши шипят ночью под кроватью. И как это страшно. И как вскакивает и бежит по кровати обезумевшая Манефа. Как она потом прыгает на стол, потом вскарабкивается на шкаф и сидит там до утра. Это очень смешно. И Маврик громко хохочет. Хохочет, но не верит в такую возможность. Не верит потому, что это уже не прежний Маврик. В нем поселился критический Ильюша, требующий проверки, доказательств и не позволяющий одурачить себя.

Мальчики, не замечая, обогащали друг друга лучшими своими чертами. Разные - они становились чем-то похожими. Таков закон

взаимовлияния закон дружбы. Хороший это закон.

IV

Из Перми пришла телеграмма, и Екатерина Матвеевна сказала:

- Завтра, Мавруша, они приедут.

Маврик радовался предстоящей встрече с матерью. Радовался и опасался:

- А где я теперь, тетя Катя, буду жить?

Этот вопрос давно беспокоил Маврика, и было видно, что мальчик спросил не просто так и не между прочим. Он знал, что для папы и мамы прибран нижний этаж. Там теперь очень чисто. Стены оклеены «веселенькими обоями из не очень дешевых», поставлена мебель. Столы, стулья, шкафы, большая кровать. Кровать Маврика оставалась наверху. Екатерина Матвеевна и сама не знала, где будет жить Маврик, и уклончиво ответила:

- И тут и там...

«Лучше бы тут, а не там», - сказал про себя Маврик и не стал больше спрашивать, понимая, что сын должен жить с матерью, но все же на всякий случай заметил:

- Лучше бы не стеснять маму... Она же будет болеть после маленького.

Екатерина Матвеевна покраснела, но сделала вид, что не расслышала этих слов. Улица, семьи, в которых бывал Маврик, простота нравов во многое посвятили Маврика. Его уже поздно было переубедить. Да и незачем. Поняла это и мать Маврика при встрече с ним. Он робко подошел к ней, не спуская глаз с ее большого живота, и тихо, почти шепотом, сказал, целуя ее:

- Здравствуй, мамочка... Ты сядь, тебе трудно стоять, - и заплакал.

Слезы потекли сами собой, а почему они потекли - Маврик не знал. Может быть, ему было обидно видеть такой мать. Может быть, его страшила боль, которую мать должна перенести. Об этом он тоже знал, не стремясь узнавать. Слышал. А может быть, у него, единственного сына своей матери, родилась ревность к неродившемуся. Не зря же, утешенный подарками, привезенными из Перми, он сказал час спустя:

- Лучше, если ты купишь девочку...

Он, употребляя слово «купишь» вместо слова «родишь», которое было у него на языке, как бы показывал матери, что он умеет «выбирать хорошие слова и не булькает не подумавши первое, что приходит в голову, как это делает Митяиха». Умению выбирать слова учила его тетя Катя, и старания

не пропали даром.

Свидание с матерью было недолгим. Умудренная житейским опытом бабушка мягко, но приказательно сказала дочери:

- Внуку надо переехать к старшей тетке на Песчаную. И ему там будет лучше, и тебе, Любовь, легче выздороветь.

Смышленому мальчишке вполне достаточно было этих слов. Оказаться у тети Лары, проводить время с Ильюшей в штемпельной мастерской, помогать солить капусту, есть хрустящие кочерыжки, спать на новом месте... Да мало ли радостей сулит длительное гощение у тети Лары!

Через несколько дней Маврик узнал, что у него появилась сестричка, которую назовут Ириной в честь деревенской бабушки из Омутихи Ирины Дмитриевны, которую еще не знал Маврик.

Все обошлось хорошо. Мама очень скоро поправилась. Маврику показали сестру. Она, кричащая, какая-то слишком розовая не произвела на Маврика приятного впечатления. Но ее нужно было любить, и Маврик пообещал любить ее, как только она начнет ходить.

Маврик снова жил с тетей Катей на втором этаже. Тетя Катя рассудила очень разумно:

- Ириночка будет будить ночью Маврика... Да и тебе, Любочка, удобнее без него. Не где-то же он, а в одном доме.

Лучшего Маврик и не хотел, но иначе рассуждал его отчим:

- Дорогая Екатерина Матвеевна, я очень ценю вашу заботу о нас, но пользоваться бесплатно вашей квартирой не позволяет мне совесть. Квартира дает вам обеспечение. А платить за нее столько, сколько она стоит, я не в состоянии.

- Герасим Петрович, да что вы, да бог с вами, - принялась уговаривать Екатерина Матвеевна.

Но это было напрасно. Самолюбивый Непрелов, привыкший жить только на заработанное им, знающий цену деньгам, не захотел прожить в наследственном доме Екатерины Матвеевны и одной зимы. Ему предлагалась вместе с должностью конторщика мильвенского пивного склада компании Болдыревых и квартира. Не воспользоваться этим Герасим Петрович не мог. Доверенный склада, обожавший честного, исполнительного и энергичного Непрелова, был очень плох. Открывались виды занять его место. Жена доверенного фирмы прямо сказала матери Маврика:

- Мой Иван Иванович едва ли доживет и до рождества. Смерть не перехитришь, Любочка. И ему очень хочется, чтобы твой Герасим Петрович зарекомендовал себя и чтобы Иван Иванович при жизни мог

передать ему ключи и должность.

Даровая квартира от фирмы Болдырева представляла собою огромную мрачную комнату со сводчатым потолком. Здесь когда-то было питейное заведение. Сохранились еще высокие и глубокие полки, отделявшие питейный зал от кухни.

- Это та же пермская Сенная площадь, - ужасалась квартирой Екатерина Матвеевна. - Только этот склеп и саженью дров не натопишь. Неужели, Люба, ты и Маврика потянешь за собой в такую труппу?

Любовь Матвеевна не сказала сестре, что, кроме Маврика, у нее есть грудной ребенок, которому тоже нужно тепло и свет. Она знала, что к этому ребенку Екатерина безразлична.

У нее только Маврик один свет в глазу, ее не рожденный ею сын.

- Что скажут другие, если я оставлю Маврикия у тебя, Катя? Каких собак повешают на меня мильвенские бабы, да и не одни бабы с Ходовой улицы!

«Что скажут другие» - самые страшные и самые ненавистные слова для Маврика - опять оказываются сильнее всех слов. «Что скажут другие» было сказано, когда его увозили в Пермь. И теперь эти слова увозят его из дедушкиного дома. А кто эти «другие»? Какое им дело до него с тетей Катей и бабушкой?

Плохо начиналась зима. Был только один радостный день - день рождения Маврика, когда ему исполнилось девять лет, да и этот день был последним. И он переехал в большой «склеп». Но и это еще не так страшно. Тетя Катя сказала:

- Пусть все думают, что ты живешь там, а жить будешь тут. Ночуешь ночку-другую у матери - и ко мне. А потом видно будет.

И он жил и там и тут. Но неприятности, как оказалось, «что твои грузди, не живут в одиночку». На десятом году жизни Маврик попал в историю, о которой заговорила вся Мильва.

Все началось с волшебного фонаря...

В школе стало известно, что у Толлина есть волшебный фонарь. И этим фонарем он ребятам со своей улицы показывает картины, а его дружок - Илья Киришбаум - читает по книжке или рассказывает о том, что показывается. А Санчик Денисов подает Маврику стекла с картинками, и получается «ух как здорово» и «до чего хорошо».

Всех ребят своего класса Маврик не мог позвать домой и показать им туманные картины. А видеть их хотелось всем. Всем трем классам. И ребята упростили Манефу Мокеевну показать картины в школе. Она согласилась. И был назначен «вечер туманных картин».

Маврик и Санчик торжественно принесли волшебный фонарь, натянули экран - простыню с красными каемками. Появился и Ильюша. Несмотря на то что это был «земский» школьник, которого полагалось отлупцевать, его встретили приветливо и даже почтительно.

- Сказка о сестрице Аленушке и о братце Иванушке, - объявил чистый голос Ильюши.

На белой простыне появилась первая картина. Аленушка ведет своего братца по лугу, на котором цветут цветы, зеленеют травы и голубеет небо.

Ребята замерли. Они, кажется, перестали дышать. Потом вырвался восторженный вздох. Затем кому-то захотелось ощупать простыню, на которой такая красочная, такая яркая картина. Теплая ли она, эта картинка... Не зальет ли красками белое полотно... Не прожжет ли, наконец, простыню яркий свет, бьющий из белой трубки с увеличительными стеклами волшебного фонаря.

Когда простыню пощупал один, потрогал и второй, и третий... И наконец, все... Потому что мальчики впервые видели экран и волшебный фонарь. И он был для них волшебным без преувеличений. В те годы он и не мог быть другим. Первый кинематограф «Прогресс» еще только строился в Мильве. А слово «телевизор» пока еще не произносил никто ни в Мильве, ни в России - нигде на земном шаре. Не было этого слова.

Когда простыню-экран все пощупали, Ильюша принялся читать дальше, а Маврик показывать картину за картиной, а Санчик исправно подавать ему один диапозитив за другим. У них было все срепетировано очень хорошо.

Школьники боялись, что скоро кончится сказка и кончится все.

Нет, потом была другая, третья... А потом Ильюша громко объявил,

став перед простыней-экраном, освещенным лучом волшебного фонаря:

- А теперь мы вам покажем «Бог правду видит, да не скоро скажет», рассказ графа Льва Николаевича Толстого.

Сказав так, он сел за столик, около экрана, чтобы свет падал на книжку, принялся с выражением читать рассказ, а Маврик показывать картины, подаренные ему Иваном Макаровичем.

Рассказ и картины произвели огромное впечатление даже на Манефу. Пришлось показывать дважды. Второй раз Ильюша не читал рассказ. Его знали. Смотрели только картины.

Чуть ли не весь класс проводил Маврика до дома. Проводили до дома благодарные зрители и «земского» Ильюшку Киршбаума. Гость же! И потом, так хорошо читал.

Ничего не предвещало беды. Наоборот, в земской школе стали просить Ильюшу, чтобы он привел своего товарища Толлина и показал им картины. К Маврику пришли ходоки из земской школы. И тетя Катя сказала:

- Конечно, конечно... Чем же хуже ребята из земской школы? Дружнее будете жить.

«Вечер туманных картин» в земской школе прошел с большим успехом. Туда школьники привели своих младших братишек и сестер. В земской школе большой и широкий коридор. Сидели на полу. Учительницам принесли стулья. Здесь Ильюша показал себя еще лучше. Он был в своей школе. У него была слушательницей его учительница Елена Емельяновна Матушкина.

Все школьники благодарили Маврика, и Санчика, и Ильюшу. Учительница Елена Емельяновна сказала:

- Вон какой ты, Толлин, оказывается, просветитель... Хорошо бы показать эти картины и в девичьей школе...

Маврик был очень рад. Там учатся девочки Краснобаевы. Но все повернулось неожиданно плохо...

Стало известно, что скончался Лев Николаевич Толстой. И все заговорили об этом. И заговорили по-разному. Одни говорили, что умер великий человек и великий писатель русской земли, а другие... Другие, например отец Михаил, говорили очень дурно.

Он собрал всех учеников церковноприходской школы в одном самом большом первом классе. Никогда такого не бывало. Никогда не видали таким и отца Михаила. От него пахло не одной лишь селедкой, но и винцом. Всклоченная борода, потемневший сизый нос, злые глаза не предвещали ничего хорошего. Он впервые появился в классе без нагрудного креста. В первый класс пришли и стали у стен все три

учительницы школы.

Отец Михаил расчесал пятерней, как он это делал всегда, свою бороду и объявил классу:

- Смертью грешника на захоластной станции кончил свои дни отлученный от церкви, втоптавший в грязь свою сословную честь граф Толстой. Забвение имени его! Смерть творениям его, писомым по наущению сатаны и приспешников ада.

Распаляя себя, отец Михаил стал рассказывать о тлетворной жизни очернившего свой графский титул чернокнижного лиходея, обмакивающего свое перо в зловонный сосуд, пополняемый богоотвратным Люцифером кровью отцеубийц и повешенных царей-отступников.

Не жалея хулящих слов, перемежая свою речь выражениями, вгоняющими в краску учительниц, робеющих у стены, отец Михаил обрисовал жизнь отлученного от церкви и проклятого самим богом, черту подобного графа, не постеснялся заявить, что греховодница Каренина Анна была писана им с одной из блудниц, которых было великое множество в его имении, под городом Тулой, где на сто верст вокруг посохли деревья, померла каждая седьмая тварь и перестали гнездиться птицы, множиться звери и метать икру рыбы.

Выпитый с утра шкалик водки во многом способствовал измышлениям отца Михаила, очернявшего память великого писателя России.

Источа свою злобу, законоучитель перешел к теме, имеющей отношение к данной школе:

- Находятся и в нашей приходской школе отроки, а равно и потрафляющие им наставники, которые, пребывая в тумане ослепления своего, может быть и не ведая того, туманят себе и другим головы туманными картинами... Толлин! - выкрикнул отец Михаил. - Выдь к доске и покайся!

Испуганный Маврик исполнил приказание.

- Ну что же ты молчишь, господин Толлин? Показывал мерзопакостные картины?

- Йя...йя, - начал заикаться Маврик, - я показывал хо-хо-хорошие картины. Про Аленушку, про...

- А про невинного... который якобы заточен был в темницу по лживому доносу? Мог ли ошибаться суд праведный, суд помазанника божиего царя-батюшки? Ну, что же ты молчишь?

- Не знаю, - ответил Маврик. - Наверно, мог ошибиться. Мой дедушка тоже невинно сидел шесть дней.

Отец Михаил задышал чаще. Жилы на его висках надулись. Он закашлялся.

- Вот как? Невинно? Откуда тебе это знать?

- Бабушка говорит, и тетя Катя, и все. Хоть кого в Мильве спросите.

- Значит, ты не признаешь вины своей перед богом и перед сверстниками? - спросил, указывая на притихших учеников, отец Михаил. - И не каешься в том, что ты показывал богоотступническое?..

- Отец Михаил, - стал защищаться Маврик, - если бы вы посмотрели и прослушали «Бог правду видит...», вы бы сами сказали, какой это хороший рассказ. Всем, всем ребятам понравились эти картины. Они почти что священные...

- На колени! - не крикнул, а заорал отец Михаил.

У Маврика начали было сгибаться колени, но в эту минуту он вспомнил, как тетя Катя внушала ему и другим: «Если ты не уважаешь себя, за что же тебя будут уважать другие?» И его ноги сами собой распрямились.

- За что же, батюшка? - взмолился Маврик. - За что же, отец Михаил?

- На колени! - взревел священник и больно схватил за ухо, чтобы пригнуть к полу неслуха.

Маврик и не собирался укусить руку отца Михаила. Он это сделал помимо своей воли, так же как Мальчик укусил, хотя и не больно, руку Маврика, когда он потянул свою добрую собачонку за ухо.

Отец Михаил отдернул укушенную руку и тотчас же, размахнувшись, ударил Маврика по скуле и сбил его с ног. Упавший затрясся, заскулил по щенячьи. Он плакал не столько от боли, сколько от обиды, от несправедливости, от незащитности.



Кто-то всхлипнул в классе. Это был Санчик. Плач повторился в другом конце. С учительницей первого класса стало плохо. Ее вывели. Отец Михаил опешил. Он хотел было поднять Толлина. Но водка и самолюбие не

позволили этого сделать. И он схватил Толлина за шиворот.

- Еретический выродок! Змееныш! - крикнул он и пнул под зад Маврика так, что тот своим лбом открыл дверь и очутился за нею.

Более ста мальчиков опустили головы.

Отец Михаил понял, что произошло непоправимое. Он попытался смягчить, объяснить, что его гнев - гнев небес, но, видя, что никто не верит этому и все против него, он снова перешел на крик и проклятия, но и страх оказался бессилем. Школьники не подымали глаз на своего законоучителя.

- Встать!

Они встали.

- Поднять морды!

Они подняли головы, но глаза их были опущены.

- Воды! - приказал отец Михаил.

Манефа принесла воду в жестяной кружке.

- Худо мне, дети мои, - схитрил отец Михаил и вышел из класса.

Занятий в этот день в церковноприходской школе не было.

VI

Ошеломленный Маврик, выплакавшись на груди школьной сторожихи, не вернулся домой на Купеческую улицу. Не пришел он и к тетке. Начались розыски. Его нашли в доме Кулеминых. Маврик боялся, что за укус руки священника его не простят ни мать, ни тетя Катя, ни бабушка. А все оказалось совсем не так.

Екатерина Матвеевна, осыпая поцелуями найденного племянника, орошая его слезами, называла кладбищенского попа неслыханными до этого Мавриком словами:

- Я доберусь до этого упыря с Мертвой горы. Я выведу на чистую воду этого дударинского демона. Будет он у меня старым расстригой Мишкой. Не примет земля его подлые кости. Станет он ползать после своей окаянной смерти безглазым могильным змеем, изъеденным вечной паршой и бородавками!

Такой тети Кати никогда не видел племянник. Не узнавали ее и Кулемины. Всегда строгая, расчетливая в словах, она готова была осуществить свои угрозы: выдрать до волоска сивую гриву кладбищенского попа, вытащить его из алтаря за грязные полы богохульственной рясы и всенародно назвать его тем, кто он есть.

- И его не защитит никакой суд, - говорила она. - Ни мирской, ни духовный. Тишка Дударин - живое доказательство незамолимого греха попа, вогнавшего свою жену в могилу.

Разволновавшись, Екатерина Матвеевна с трудом сдерживала себя. Ей хотелось, чтобы племянника осмотрел доктор Комаров, что было важно во всех отношениях.

- Прошу вас, Артемий Гаврилович, - сказала Екатерина Матвеевна. Пусть ваш Никиша пригласит доктора Комарова и расскажет ему, что произошло.

Доктор Комаров приехал в тот же вечер. Потрясенный случившимся, он, почитатель Толстого, поставивший силами мильвенского общества любителей драматического искусства пьесу Льва Николаевича «Плоды просвещения» и замышляющий поставить «Власть тьмы», готов был, еще едучи к Зашеиным, преувеличить увечье мальчика вплоть до того, чтобы положить его в заводской госпиталь.

Осмотрев Маврика, Комаров нашел повреждение хрящей правого уха и, ощупывая скулу, хотел найти, но не нашел раздробленные кости.

- Я не могу определить всего в домашних условиях, - сказал он. - Это я сделаю завтра в приемном покое.

Маврику была прописана обезболивающая мазь и покой. Уходя, доктор сказал, что сегодня же фельдшерица забинтует ему голову, а завтра он придет за пострадавшим свою лошадь. От платы за визит Комаров категорически отказался:

- Что вы, что вы, уважаемая... За этот удар расплатятся другие, и уверяю вас, дорогая моя, это им будет дорого стоить. Очень дорого, повторил он, уходя.

Маврик, счастливый вниманием к нему, с удовольствием выслушивал соболезнования соседей, родных и школьников, навестивших его в этот вечер. А утром была подана лошадь, и он, забинтованный, ехал медленно с тетей Катей через всю Мильву в приемный покой заводской больницы. И все останавливались, разводили руками, а некоторые даже крестились.

Еще вчера, не зная того, Маврик стал героем Мильвы.

Более ста мальчиков рассказали о том, что было в школе, более чем в ста семьях. Этого было вполне достаточно, чтобы все двести - триста семей, а затем все семьи знали о необыкновенном событии.

В Мильве не выходила газета, и молва заменяла ее. Заменяла, приукрашая, добавляя, расцвечивая. Кладбищенского попа не любили и без того. И если до этого говорили приглушенно об его пьянстве, разгуле и всего лишь намекали на его связь с просвирней Дудариной, то теперь об этом рассказывали у каждого уличного колодца.

Осложнял дело и дурачок Тишенька Дударин. Этот «божий человек» бегал по улицам Мильвы босым и в морозы. Бегал и бормотал или выкрикивал «пророческие слова». Теперь его «пророчества» откровенно лгали. Он поносил безвинного зашеинского внука, называя его «учеником дьявола», что явно противоречило здравому смыслу даже самых темных верующих старух.

«Блаженный» впервые получил оплеуху от неизвестного. А в окно отца Михаила был брошен горшок с нечистотами. Горшок выбил стекла двойных рам и разбился, ударившись об изразцовую печь, обрызгав дорогие обои и «озловонив чертог иерея», как писал в жалобе приставу Вишневецкому отец Михаил.

Но пристав не только не учинил розыска, но и посоветовал отцу Михаилу «не дразнить гусей» и отсидеться дома. Вишневецкий понимал, как может обернуться «школьное происшествие», и для предосторожности поставил переодетого полицейского к поповскому дому. Сегодня горшок с нечистотами, а завтра «красный петух». Спалют отца Михаила, и концы в

воду. Бывало и такое в тихой Мильве.

На всякий случай, в целях возможных запросов из губернии, было заведено дело, названное «Неблаговидное происшествие в школе кладбищенского прихода Усть-Мильвенского завода».

Дело начиналось с показания Манефы Мокеевны, не обелявшей законоучителя, продолжалось донесениями полицейских и агентов по тайному надзору. Сюда же было подшито заявление отца Михаила о горшке с нечистотами.

Маленькое дело, заведенное «на всякий случай» и «для предосторожности», росло с каждым днем. К нему были присоединены письма известных и неизвестных лиц, посланные в газеты и перехваченные почтой. Известные и неизвестные лица требовали мирского и духовного правосудия над попом, порочащим великую православную церковь. О Толстом не говорилось ни слова, хотя так недвусмысленно во имя защиты его памяти писались эти письма известными и неизвестными лицами, якобы защищающими и оберегающими религию от «растленных пастырей».

Пристав понимал, что всех писем не перехватить почте. Какие-то из них могут быть посланы и не из Мильвы. Особенно опасался он юридически образованного Валерия Тихомирова. Поэтому дело «о неблаговидном происшествии...» велось с особой тщательностью. Пристав должен знать все. И если что - «Не извольте беспокоиться. Все до последней бумажечки подшито и пронумеровано».

Матушкин собрал своих единомышленников, чтобы обсудить, как воспользоваться случаем в церковноприходской школе.

Тихомирову было поручено встретиться с протоиереем Калужниковым и попросить его о невозможном. Об извинении кладбищенского попа перед оскорбленными школьниками и, конечно, перед Мавриком.

- Подобное извинение не подобает священнослужителю, - заявил протоиерей Тихомирову. - Это унижительно.

Ожидавший примерно такого ответа, Валерий Всеволодович сказал:

- Сожалею и опасуюсь - не пришлось бы вместо отца Михаила отцу протоиерею приносить более широкое раскаяние с соборного амвона. Госпожа Зашейна сильнее, чем вы думаете. За нею общественное мнение. Тысячи людей. А за вами? - спросил Тихомиров, вставая и раскланиваясь. - Имею честь. Я выполнил свой долг. Предупредил.

Встревоженный Калужников остался сам не свой. Он знал, что в Мильве теперь будет известно всем о посещении Тихомирова и об отказе протоиерея признать виновность кладбищенского попа и заставить его

повиниться. Протоиерей не ошибся. Его презирали не только в рабочих семьях, но и в близких ему домах, где он бывал запросто.

Отчим Маврика, хотя и находил поведение отца Михаила непристойным, все же искал смягчающие вину обстоятельства, считая, что заживут синяки и обиды. Герасим Петрович боялся, что скандал, который может поднять Екатерина Матвеевна, падет тенью и на него, поскольку Маврик им усыновлен, станет известен хозяину фирмы, и тогда прощай место доверенного пивного склада. Кто знает, как посмотрит господин Болдырев? А Екатерине Матвеевне нет ни до кого дела, когда речь идет о защите справедливости. И что бы ни грозило ей, она скажет правду во всеуслышанье.

VII

Отец Михаил не выходил из дома дня три. Сказался больным. Екатерина Матвеевна ежедневно появлялась в кладбищенской церкви, чтобы объяснить с попом. Но служил другой священник, из собора. Откладывать встречу не хотелось. Екатерина Матвеевна боялась, что пройдет неделя-другая и все забудется, да и она порастеряет припасенные и продуманные слова.

- Пойду к нему домой, - сказала она и пригласила с собой соседку Краснобаеву и мать Санчика.

Отец Михаил, ничего не зная, сидел дома без подрясника, в полосатых штанах, в сатиновой рубаше, в меховых котлах на босу ногу и покуривал трубку, ожидая возвращения просвирни Дударинной, посланной за псаломщиком и церковным старостой, опасавшимися появляться в поповском доме. Теперь, после «горшка», после оплеухи, полученной «блаженным» Тишенькой, можно было ожидать и не такое.

И когда отец Михаил услышал на кухне голос просвирни «проходите, проходите», он решил, что это пришли избегавшие его псаломщик и староста, которых следовало проучить за вероломство и трусость.

Несдержанный на слова, начал он еще у себя в комнате громкое и сложное ругательство, которому позавидовал бы и камский грузчик, закончил брань, появляясь на кухне в чем был. То есть в полосатых штанах, в котлах на босу ногу и с трубкой в зубах.

- Аг-га... Пришли, гадины! - крикнул он в ярости пришедшим к нему Екатерине Матвеевне, Краснобаевой и Санчиковой матери.

Женщины попятились. Екатерина Матвеевна взвизгнула и закрыла лицо руками. Ни одной из них никогда в жизни не приходилось видеть попа в штанах, да еще с трубкой в зубах. Появление священнослужителя перед прихожанами и особенно перед прихожанками в таком виде было делом неслыханным. Это не менее других понял отец Михаил, остолбеневший и потерявший дар речи. Зато Екатерина Матвеевна обрела его.

Отняв руки от своего лица, но не открывая глаз, она исступленно перекрестилась, затем простерла руки к небу и проникновенно начала проклятие:

- Именем бога! Именем пресвятой троицы отца, сына и святого духа я, непорочная дева Екатерина, расстригаю тебя, распутный поп! Трижды анафема тебе отныне и во веки веков... Анафема!

- Анафема!.. Анафема! - повторили громко Краснобаева и Денисова, наэкзальтированные певучим голосом Екатерины Матвеевны и словами проклятия.

Не открывая глаз, Екатерина Матвеевна повернулась к двери. Поспешно ушли вслед за ней Краснобаева и Денисова. Около ворот их ожидали человек до двадцати сочувствующих и любопытных.

- Ну как? Ну что там он?

На Зашеиной не было, что называется, лица. И все заметили это. Бледная, взволнованная, не видя никого, она прошла мимо толпившихся, не слышала их вопросов. Зато Денисова и Краснобаева рассказали все. Не забылись полосатые штаны, трубка, брань и, конечно, злополучное обращение: «Ага... Пришли, гадины».

Одни всплескивали руками. Другие крестились и повторяли: «Анафема ему, расстриге». Для них он уже был расстрижен и лишен сана. Проклятие благочестивейшей девственницы Екатерины Зашеиной от имени бога, отца, сына и святого духа, которое теперь неизбежно повторится сотнями уст, предрешит все. Неграмотные и забитые женщины знали силу слов и силу молвы.

Наутро добрая половина Мильвы услышала о новой выходке кладбищенского попа. А еще через день появилась листовка, отпечатанная на гектографе, с заголовком, каллиграфически выведенным пером «рондо», каким обычно писали ученики технического училища: «Видит ли бог правду?» В листовке говорилось о бесправии детей, о глумлении над прихожанками, об изуверском разгуле черных сил, о попустительстве властей и полиции, об осквернении памяти великого сына России - бессмертного Льва Николаевича Толстого. Листовка заканчивалась призывом:

«Проснитесь, честные люди! Скажите свое слово! Да здравствует правда! Да здравствует разум!»

Листовка, отпечатанная в малом количестве, рассчитанная на таких, как доктор Комаров, не получила большой огласки. Зато через два дня вышла другая листовка, отпечатанная типографским способом. Она была разбросана до первого свистка в устьях улиц, примыкавших к проходным завода. Листовка начиналась, как церковная проповедь:

«Ей, Господи царю, услышь правду свою!»

И далее она, перекликаясь с первой, гектографической листовкой, спрашивала бога:

«Ужли ж Ты, царь царей, владыка владык, не видишь надругания слугителей Твоих и допускаешь избиение чад Твоих и горение в храмах,

воздвигнутых Тебе, иудиных свечей, насылаемых сребролюбивыми блудодеями, наживающимися на имени Твоем».

В холодном поту пристав Вишневецкий вчитывался в строки перехваченных листовок.

«Кто автор? Где отпечатаны они?» И снова «кто?» и снова «где?» стучит в голове пристава, в головах поднятой на ноги тайной и явной полиции. Он должен знать, «кто» и «где», до того как придет запрос из губернии. А белая листовка в затейливой рамочке издевательски молитвенно, строка за строкой, спрашивает:

«Ежли всякая власть от Тебя, Господи, то неужли ж и эта власть жиреющих на вере в Тебя, стяжающих в темноте неведения Твоего, страшащих возмездием Твоим, тоже дана Тобой, Всеблагий молчащий Господь? За что же, Господи? За непосильное труждение от зари до зари, за безропотное примирение с тяготами, штрафами и поборами? За что, Господи? За темноту душ и умов, молящихся Тебе? За редьку и квас, вкушаемые не только в посты Твои? За гнев и порабощение законом Твоим?..»

И управляющий заводом Андрей Константинович Турчаковский не мог сдержать волнения и отмахнуться от воскресшего призрака тысяча девятьсот пятого года. Уж он-то, образованный человек, знающий силу словесной стилистики, понимал, какое воздействие на простой народ произведет этот крик души, так понятный дремлющим, колеблющимся душам мильвенцев.

И он не ошибался. Листовка не столько читалась, сколько пересказывалась. И каждый пересказывал ее по-своему, соответственно своим взглядам и убеждениям. Листовка пересказывалась и в церквах. Правда, там замалчивали ее последние строки, ради которых писалась и печаталась листовка. А последние строки выглядели ультиматумом:

«Ей, Господи царю, не будь глух к взывающим Тебе, отверзи уста Свои, воззри на землю Твою. Смилостивись, не понуждай глас народа громоподобно призвать к низвержению царствующего от имени Твоего, не дай поднять гневную руку на прислужников и палачей его, казнящих и тиранящих, обирающих и гнетущих, унижающих и темнящих во славу Твою».

И наконец, последняя строка жирным, крупным шрифтом:

«Твою ли, Господи? И - славу ли?»

- Протоиерея... Немедленно протоиерея... Лошадь за ним! - приказал лакею Андрей Константинович и отправился в соседнюю комнату, где на стене висел массивный, сделанный из орехового дерева, с двумя белыми

блестящими колокольчиками и с черной изящной ручкой телефон фирмы «Эриксон». Теперь в Мильве установлено почти сорок телефонных аппаратов, и один из них - у отца протоиерея. Хотя он и является лицом, к заводу не имеющим прямого отношения, но завод имел отношение ко всем. И управляющий округом управлял не одними заводскими цехами. Это была главная власть, которой так или иначе подчинялись все.

VIII

К телефону подошла матушка и ответила Турчаковскому, что отец протоиерей находится у Зашеиных по делу отца Михаила.

- Поймите, дочь моя Екатерина Матвеевна, - разъяснял протоиерей Зашеиной, - духовные лица, как и светские лица, дома пребывают в мирском одеянии.

- Я понимаю это, отец протоиерей, и не виню его за то, что он появился в таком виде и с курительной трубкой во рту. Пусть курит. Это его грех. Но брань, оскверняющая родившую его и всякую рождавшую в том числе... - не договорила Екатерина Матвеевна, переведя глаза на икону богородицы, висевшую среди других в переднем углу большой комнаты дома Зашеиных, где был принят протоиерей, - эта брань незамолима для священника, каким он перестал быть.

- Екатерина Матвеевна, не вас же он бранил, - увещевал проникновенным голосом протоиерей Калужников. - Он бранил избежавших его псаломщика и старосту.

- Я допускаю... Я верю вашим словам, отец протоиерей... Но разве псаломщик и староста не служители церкви? И если бы они были даже арестантами или каторжниками, то и в этом случае мог ли он тогда, еще нося сан священника, произнести эти слова? Нет прощения расстриге. Нет... нет... И не уговаривайте меня. Меня нельзя уговорить.

- Мирянка Зашеина! Ты слуга божия, а не служительница его! заговорил протоиерей приподнято. - Бог не облакал тебя, женщину, властью расторжения рукоположения во иереи отца Михаила! Это грех, женщина, и за него может быть наложено церковное наказание...

- Господин Калужников, - Екатерина Матвеевна поднялась, - вы гость в моем доме и сказались другом этого дома, войдя в него. Бог не женщину облакал своей властью, а девственницу. Это - первое. А второе - не я, а всевышний моими устами предал анафеме распутного попа-двоеженца, прижившего при живой благочестивой матушке Евгении Константиновне умопомраченного сына. И третье, и самое последнее... - Тут Екатерина Матвеевна повернулась лицом к иконам и снова перекрестилась. - Разрази меня господь, если лгу, что ты вложил в уста мои анафему предавшему тебя попу Мишке с Мертвой горы. Покарай меня смертью без святого причастия, если я не твоим именем, бог-отец, бог-сын, бог - двух святой, расстригла распутника, торгаша, пьяницу, избивающего младенцев.

Протоиерей Калужников видел на своем веку фанатический экстаз моления, он знал разрывающих на себе одежды кающихся женщин, ему ведомы были леденящие кровь моления «общающихся с богом праведниц». Сейчас он увидел большее. Он чувствовал себя маленьким седеньким старичком, чем-то похожим на домового, рядом с этой святой своим человеческим величием.

Отца протоиерея зазнобило.

- Четвертого не назову, - сказала, повернувшись, Екатерина Матвеевна, - но если кладбищенский расстрига хотя бы одной ногой ступит на церковный амвон или того хуже - посмеет войти в алтарь, бог вложит в мою руку перо и перу даст слова, которые будут прочитаны в Санкт-Петербурге. Будут!

Калужников понимал, что это говорилось не для красного словца. Он знал, что юридически образованнейший Валерий Всеволодович, волшебник слова, предлагая защиту Маврика, изъявлял желание написать прошение в Петербург. И Екатерина Матвеевна могла прибегнуть к этому. Не зная, как вести себя далее, протоиерей услышал спасительные слова:

- От его превосходительства за отцом протопопом.

Это говорил в кухне за тесовой перегородкой кучер Турчаковского.

- Я здесь, Аким, я сейчас, - отозвался Калужников и хотел было, прощаясь, благословить, как всегда, Зашеину и дать ей поцеловать ручку, но Екатерина Матвеевна постаралась не заметить этого.

- Бог вас простит, отец протоиерей. Молитесь. И не защищайте впредь низложенных богохульников. Поклон матушке Любви Захарьевне... Маврик, где ты? - направились в другую комнату Зашеина, не желая проводить до дверей протоиерея.

IX

Управляющий принимал протоиерея в домашнем кабинете, оклеенном золотыми тисненными обоями. Терпеливо выслушав рассказ возмущенного Калужникова о посещении Зашеиной, Турчаковский спросил:

- И к каким же выводам пришли вы, отче?

- Вывод один - привести к покорности возгордившуюся и непомерно возомнившую о себе Зашеину.

- А каким способом, премудрейший отче? - с игривой иронией спросил Турчаковский.

- У церкви много способов, Андрей Константинович. Проповедь. Принуждение к покаянию. Увещевание и, наконец, угроза наложения епитимьи, а то и отлучения...

- Уг-гуу! - пробасил, откашлявшись, управляющий. - А не угодно ли отцу-отлучителю, милостивейшему увещевателю прочесть сию социал-демоническую экциклику некоего проповедника, «глаголом жгущего сердца», а потом уже избрать способ принуждения к покаянию непорочной дочери знаменитости Мильвенского завода Матвея Романовича Зашеина?

Турчаковский положил перед протоиереем листовку и принялся расхаживать по ковру кабинета, позванивая маленькими шпорами, привинченными к каблукам его тупоносых башмаков.

- Читайте, читайте! - повторил управляющий. - Вникайте в слог, в искусство словосочетания незаурядного риторика, наторевшего открывать сердца куда более успешно, нежели приставленные к этому бесчинствующие благочинные.

Дзинь, дзинь, дзинь - малиново позвякивали серебряные шпоры. Ходит из угла в угол в расстегнутом мундире, с заложенными за спину руками начавший сидеть и грузнеть, но все еще энергичный управляющий Мильвенскими заводами. Их теперь шесть. Они процветают под началом заботливого управляющего округом его высокопревосходительства и кавалера орденов Турчанино-Турчаковского, лично принятого и обласканного всемилостивейшим государем императором Николаем Александровичем.

По ковру ходил, позвякивая стальными колесиками шпор, сановник отечественной промышленности, получивший право непосредственного обращения на высочайшее имя. И в этом заводском округе не было лица выше его.

Руки протоиерея Калужникова, дочитывавшего второй раз листовку, тряслись. Очки то и дело сползали по скользкому, вспотевшему розовому носу.

- Так что же это, почтеннейший Андрей Константинович? - спросил упавшим голосом протоиерей.

- Я вам хочу задать, всепочтеннейший Алексей Владимирович, этот вопрос, а затем спросить вас - кем благословлено это похабное, невежественное возмущение умов, связанное со смертью графа Толстого?

- Указание из епархии, Андрей Константинович... С благословения преосвященного. Письменного, почтеннейший Андрей Константинович...

- Преосвященный благословил священнослужителей приходить в школы «подтурахом» после водочного излияния? Епархиальный архиерей указал появляться без нагрудного креста и в затрапезном подряснике? - говорил все громче и громче управляющий. - Епископ повелел бить внуков уважаемых и благочестивых мирян, а затем пинком под зад вышвыривать из класса?.. Доводить до потери чувств учительниц? Сеять смуту в цехах доверенных мне заводов? Это приказал преосвященный?

Калужников опустил голову.

- Отвечайте же, отец протоиерей, - потребовал Андрей Константинович.

- Отец Михаил поставлен мною на поклоны. На сорок сороков покаянных поклонов...

- И только-то? Хорошо наказание осквернившему церковь! Вы бы еще, Алексей Владимирович, посоветовали церковному старосте после каждых сорока поклонов этого тупого болвана подносить ему кварту церковнославянского вина да подостлать подушечку, чтобы расстрига не разбил свой чугунный лоб от усердного моления.

- Он не расстрига, - мягко заметил Калужников. - Он двоюродный брат преосвященного.

- Ах вот как? - сказал и зло усмехнулся Турчаковский. - Прошу принять мои сожаления обоим братьям, а равно и вам, отец мильвенских приходов. Не хотите ли хереса? Херес весьма способствует просветлению мышления. Нет? Как угодно.

Турчаковский залпом выпил стакан хереса.

- Теперь поговорим келейно и государственно, отец протоиерей, как за карточным столом. Ход мой! - объявил Турчаковский, садясь в кресло перед своим столом напротив Калужникова. - Не задумывались ли вы над тем, что наш обожаемый монарх, имея неограниченную власть над верноподданными, почел за благо обеспечить неприкосновенность

личности графа Толстого? Почему? Не из боязни ли? А? Ни в коей мере. Мудрость руководила императором, благоразумное нежелание будить в народе смятение.

- Но граф отлучен от церкви, - вставил свое замечание протоиерей.

- От церкви, - поправил Турчаковский, - а не от империи.

«Не все ли равно», - хотел сказать Калужников, но управляющий предупредил его:

- В этом есть свои тонкости. И эти тонкости нужно понять священникам. Отец Никандр из Никольской церкви и отец Александр Троицкий да и остальные мильвенские попы провели в школах и училищах моего округа мягкое собеседование. Мягкое! А этот расстриженный просвирнин боров... как он повел себя?

- Да не расстрижен же он, Андрей Константинович! Странно же, право, слышать от вас такие слова, - упорствовал Калужников.

- Расстрижен. Низложен. Растоптан. И не Зашеиной, а тысячами верующих и безверных жителей Мильвы. Послушайте, что говорят в цехах, в благородном собрании, в церквях... Не защищать, а добить безмозглого кабана. На сало... На мыло. На благо веры, царя и отечества. Милейший и первосвященнейший... Не одну сталь приставлен я плавить здесь да клепать мосты и шаланды. К сожалению, мне приходится укреплять нравственность и религию, чем должны были заниматься вы и присные с вами... Неужели вы, образованный человек, не понимаете, - снова поднялся Турчаковский и принялся расхаживать по кабинету, - что эта до фанатизма религиозная Зашеина, до глубины души потрясенная богохульством этого ослейшего из ослов, может стать своего рода мильвенской Жанной д'Арк и, вооружившись крестом, как мечом, над голо... вот так, - показал Турчаковский, подняв руку над головой, - повести за собой христолюбивую толпу, чтобы тем же именем бога, отца, сына и святого духа разметать логово еретика Мишки с Мертвой горы. А он - еретик... Этого не опровергнет и святейший Синод... И неизвестно, отче протопопе, кто примкнет к этой христолюбивой толпе и чем окончится столь бурное возмущение умов, начатое маленьким инцидентом в церковноприходской школе. Вы забыли о бунтах. Я не уверен, сколько и каких горшков может влететь в окна вашего дома, если вы возьмете на себя роль адвоката хулителя нравственности и осквернителя веры. Читайте и перечитывайте листовку... Вот эту строку... Вот эти слова: «Не дай, Господи, поднять гневную руку на прислужников и палачей...» Не самообольщайтесь силой своей проповеди и угрозой отлучения... Не забывайте, что треть рабочих Мильвенского завода умеют довольно бегло читать. И в эти дни чудовищно

возрос интерес к чтению книг Толстого. Либеральная интеллигенция Мильвы раздала все толстовские произведения вашей пастве. Не удивляйтесь, Алексей Владимирович, если сегодня, с наступлением темноты, объединяемые «Союзом Михаила-архангела» предупредят возможные волнения рабочих и степенно выбьют стекла в доме кощунственно носящего имя вышеназванного архангела, а затем - при блистательном бездействии полиции - заставят вашего соученика по семинарии признать низложение его девствующей Зашеиной и поклясться не переступить порога кладбищенского храма. Бить не будут, но рясу прикажут снять и разойдутся с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояния твоя...».

- Откуда вам известно это, Андрей Константинович? - взмолился Калужников.

- Мне все известно, - сказал Турчаковский. - Я управляю, а не при сем присутствую. Мудрость управления состоит и в том, чтобы опережать возможные события, убавлять давление в котле и выпускать из него излишние пары. Лучше пожертвовать одним растленным дураком и оградить этим от возможных эксцессов мужей благоразумных и верных своему служению отечеству. Выпьете хересу, Алексей Владимирович?

- Пожалуй, - ответил совсем тихо и примирительно Калужников.

Пока Турчаковский разливал оставшееся в бутылке, у протоиерея возник новый вопрос:

- А что скажет на это губернатор?

Турчаковский небрежно заметил:

- Мой друг еще в первых классах корпуса был сметливым малым и подавал хорошие надежды, в которых я пока не разуверился. За ваше благоразумие, отец протоиерей, - сказал он, чокаясь с ним, и перевел разговор: Давненько мы с вами не сражались в преферанс, - а потом будто бы так, между прочим, спросил о достраивающейся часовне у плотинной проходной.

- Если бы рабочие завода, - сказал Калужников, - были бы усердны в завершении строения, как они усердны в ночных самоуправствах, то бы Михайловская часовня была освящена в Михайлов день, восьмого ноября...

- Михайловская... в Михайлов день? - переспросил Турчаковский, будто не понимая, что значат эти слова. - А почему она Михайловская и почему ее нужно открыть в Михайлов день? Кто ее так назвал?

Протоиерей разъяснил:

- Главного жертвователя купца Чуракова зовут Михаилом. Михаилом Максимовичем.

- И что же из этого?

- Как что, Андрей Константинович? За пожертвованные Михаилом Максимовичем деньги он хочет увековечить свое имя - Михаил.

- Учту... Увековечить... За деньги... Не кажется ли вам, отче, что Михайловская часовня и самое имя Михаил не будут популярны в этом году? Не станет ли Михайловская часовня перекликаться вольно или невольно с кладбищенским Михаилом?..

- Что вы, Андрей Константинович. Он-то при чем тут?

- При чем не при чем, однако же на каждый роток не накинешь... подрысник. Часовня, как и вера, нужна не одному богу, но и заводу. Не поискать ли другое, более известное и уважаемое в Мильве имя? Мало ли их в святцах и на языке у рабочих?

Протоиерей решил, что речь идет о покойном Зашеине.

- Оно конечно... Богу служи, а о людях думай. Часовня могла быть названа и Матвеевской... Именем евангелиста Матвея. Памятное и

уважаемое в заводе имя...

- Вот видите, - сказал Турчаковский, испытующе глядя своими пронизывающими темными глазками в большие, начинающие светлеть от старости глаза Калужникова. - Херес - отличное отрезвляющее вино. Велю прислать вам полдюжины бутылок. Допивайте, отец протоиерей, не оставляйте в стакане зла. И я допью, чтобы начать новую.

- Куда же, зачем же, Андрей Константинович, - учтиво противясь, сказал Калужников.

- Превосходное имя - Матвей... Матвеевская часовня. Часовня, связанная с почтеннейшим корпусным мастером, рабочим Зашеиным. Какой козырной удар по листовкам... И какая могла бы получиться глубокая проповедь, в которой слегка, без педалирования, проповедник вспомнит человека, носившего имя евангелиста. Однако же, отче, не много ли мужских имен даем мы храмам и часовням?.. На Гольянихе церковь... Никольская... замилвенская - Петра и Павла, на кладбище - Ильинская... Опять святой мужского пола...

- Зато на Рыдае - Благовещенский храм...

- Это верно, отец протоиерей, но, насколько я понимаю, главным героем в благовещении был благовестник Гавриил. Не так ли?.. Часовню, мне кажется, неплохо бы назвать именем святой женщины... девственницы...

- Екатерининской? - спросил протоиерей, поняв, куда клонит речь Турчаковский.

А тот будто сделав открытие:

- Екатерининской... именем преподобной Екатерины...

- Не преподобной, а великомученицы. Не темните, Андрей Константинович...

- Позвольте, отец протоиерей, это вы, а не я назвал первым это звучнейшее из имен... Екатерининская часовня! Огромная икона великомученицы во весь рост, написанная умным и тонким иконописцем.

- Великомученицу писать в очках или без? И если в очках - то в золотой оправе или в простой металлической?

Глаза Турчаковского сверкнули зло и угрожающе.

- Не кощунствуйте, отче.

- Да до кощунства ли мне! Пас. Откроемся. Ход ваш.

- Так-то лучше, - все так же повелительно продолжал Турчаковский. Насколько мне позволяют мои знания, святые, как и носящие их имена, не были лишены ушей, лбов, носов, ртов, - отчеканивал управляющий, - равно и всего прочего, присущего людям, например, величавого сложения,

покатости плеч, цвета волос и глаз... И почему одной из достойнейших, носящих имя великомученицы, не повторить по божьему промыслу ее черты?

- Это требование?

- Праздные размышления между первой и второй бутылкой. Где слышано, чтобы какой-то заводской чиновник диктовал главе многих приходо́в, как называть часовни, и наставлял в тайнах иконописи?

Турчаковский посмотрел на каминные часы с амурами, потом на карманные золотые, зевнул и сказал:

- Как я задержал вас, отец протоиерей.

А тот, понимая, что его выпроваживают, вынужден был ответить согласием Турчаковскому ранее, чем этого требовали приличие и сан.

- Екатеринбургская так Екатеринбургская... А что сказать Чуракову?..

- Сказать, что его преосвященству епархиальному архиерею, а равно его высокопревосходительству управляющему Мильвенским заводским округом лучше знать, как следует называть заводские часовни. А если ему этого покажется недостаточно, то верните ему пожертвованное и попросите от моего имени убираться к... мадам Чураковой из при заводских лавок, которые будут сданы безвозмездно заводской потребительской кооперации. Прошу вас еще по единой свежееоткупоренного, отец протоиерей.

- Господи владыко... Я ли это? - спросил себя Калужников и опустил на впалую грудь отяжелевшую голову.

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

В церковноприходскую школу Маврик не вернулся, хотя и мог бы. Новый молодой законоучитель из Никольской церкви, заменивший кладбищенского попа, не советовал Екатерине Матвеевне переводить мальчика среди года в другую школу, но Зашеина на это сказала:

- Там у вас и стены будут плохим напоминанием для него.

- Ни за что, - подтвердила Любовь Матвеевна. - Мой сын может учиться и дома, как другие дети из порядочных семей.

Маврик, разумеется, не мог учиться дома. Конторщик пивного склада Герасим Петрович Непрелов получал небольшое жалованье. О найме домашней учительницы можно было только говорить «для дурацкого близиру и для фанфаронского гонора», как выражалась Екатерина Матвеевна, считавшая теперь, что ее племянник должен учиться и жить среди ребят, какими бы они ни были. Она теперь верила, что к хорошему не прильнет плохое, а хорошее, как, например, честность, правдивость и, конечно, религия, всегда восторжествуют над плохим. Этому живой пример ее победа над кладбищенским извергом. А победа была. Не случайно же, не просто же так приезжал к ней сам Турчаковский, чтобы выразить свое восхищение и заверить, что на ее стороне правда, которая неизбежно восторжествует. Он также спросил, не нужно ли ей провести за счет завода электрическое освещение и установить телефон. Екатерина Матвеевна сказала, что по телефону разговаривать ей не с кем, а электричество притягивает молнию, что весьма опасно для деревянного строения, к тому же в керосиновой лампе живой горячий огонь, с чем управляющий безоговорочно согласился и попросил разрешения послать ей хотя бы несколько кубических сажен дров, обшить тонким тесом дом, что необходимо для светлой памяти личного друга управляющего Матвея Романовича. Екатерина Матвеевна обещала подумать относительно обшивки, а дрова согласилась взять, но не бесплатно, а за недорогую плату, чтобы в Мильве не говорили, будто она извлекает выгоду из доброй славы ее бескорыстного отца.

В конце концов было решено перевести Маврика в земскую школу на Купеческую улицу. Там его встретили приветливо и шумно. Всем во втором

классе хотелось сидеть с Толлиным на одной парте. Юрий Вишневецкий, сын пристава, объявил:

- Он должен сидеть со мной. Мои уланы не дадут его никому в обиду.

Но учительница Елена Емельяновна Матушкина, сестра зубного врача Матушкиной, сказала, что новичка Толлина лучше посадить с его товарищем Ильей Киршбаумом.

- Как вы думаете, ребята? - спросила она класс.

И класс ответил:

- Да! Да!

Обиженные ученики церковноприходской школы, считавшие теперь Толлина «своим в дым и в доску», поклялись избивать «земских» на каждом углу. Юрка Вишневецкий в ответ на это обещал пятерку своих верных уланов вооружить настоящими пиками с железными наконечниками. Однако же знающая душу детей Елена Емельяновна предложила иное:

- Давайте играть в мир! Это куда интереснее.

И действительно, эта игра неплохо началась и хорошо продолжилась. А началась она так.

К указке был привязан белый носовой платок. Это флаг перемирия. И с этим флагом ученики второго класса подошли к Нагорной церковноприходской школе. Флаг нес Юрий Вишневецкий. Если сыну пристава хочется быть впереди, то пусть он будет впереди хороших дел, решила для себя умная учительница.

Парламентером был назначен Илья Киршбаум. Он, как друг Толлина, был тоже «своим в дым и в доску», и его нельзя было тронуть пальцем. Илья, наученный учительницей, замыкавшей шествие второго класса, начал переговоры.

- Храбрая и славная армия нагорных стрелков! - обратился он. - Мы признаем и уважаем вашу силу!

Это понравилось выбежавшим из двора школьникам, и они торжествовали.

- Заслабило, значит... Пришли! - крикнул Митька Байкалов.

- Нет, - сказал Илья, храбро выставляя ногу вперед. - Мы не слабые, мы дружные и предлагаем мир.

Елена Емельяновна сидела на другой стороне Нагорной улицы, на скамеечке дома Сперанских, и не вмешивалась, надеясь, что ребята помирятся без ее помощи. Но мальчишечья воинственность мешала миру. Задиристый Митька Байкалов подзуживал «наддать земским», но, увидев Елену Емельяновну, а затем услышав за своей спиной голос Манефы

Мокеевны, примирительно спросил:

- А кто будет платить дань?

Стороны стихли. В самом деле - кто будет платить дань? Какой же мир без дани, следовательно, без победы? А дань платить никому не хотелось. Она оскорбляла честь класса, честь школы. На выручку пришла Матушкина. Перейдя улицу, она сказала:

- Это правильный и очень серьезный военный вопрос.

И снова всем это очень понравилось. Понравилось и Митьке Байкалову. Значит, он не дурак, не оболтус, не тупица, как называет его Манефа-урядничиха, которая тоже готова была подыграть в мирных переговорах. Она сказала:

- Пусть от каждого класса выйдет по одному богатырю и поборются. Кто кого положит на обе лопатки, тот и победитель. Тому и получать дань.

- Правильно, правильно, Манефа Мокеевна! - заорали ребята из Нагорной школы.

Ученики же земской школы посмотрели на свою учительницу. Что скажет она? А она, к удивлению всех, сказала:

- Очень разумные условия. Лучше обойтись без большого кровопролития, без убитых и без раненых солдат и решить спор богатырской силой. Кто выступит богатырем от храброй армии нагорных стрелков? Кто?

Вытолкнули Байкалова, и он, счастливый, предвкушая неминуемую победу, сбросил ватную куртку, затянул потуже ремень и крикнул:

- Выходи, боец-богатырь! Пятерых уложу!

Желающего в земской школе сразиться с верзилой-второгодником Байкаловым не находилось. И тогда Елена Емельяновна посмотрела на Маврика Толлина. И все заметили этот взгляд. Заметил его и Маврик. А потом она тихо, почти шепотом, спросила его:

- Уж не боишься ли ты, Барклай?

Это решило все. Маврик сделал шаг вперед. Классы обеих школ замерли. Детские сердчишки застучали. «Вы что, Елена Емельяновна?!» - чуть было не крикнула Манефа, но сдержалась, решив вмешаться в последнюю минуту.

Толлин сделал второй шаг, затем третий, четвертый. И вот маленький розовощекий Маврик и загорелый рослый Митька сошлись. Кулачки земских школьников сжались. Они ни в коем случае не допустят, чтобы Митька поборол их Толлина, хотя бы осторожно, хотя бы «совсем не больно» подмял его под себя.

- Здравствуй, Митя, - протянул свою руку Маврик.

- Здравствуй, - ответил Митька Байкалов и обхватил Маврика своими не по годам сильными руками. Он обнял его так крепко и закружил в своих объятиях так быстро, и его лицо было таким добрым и смеющимся, что всем стал ясен исход поединка.

- Ур-ра! - закричали земские школьники.

- У-ра! - повторили церковноприходские и побежали навстречу друг другу «брататься на заединщину».

Манефа Мокеевна тоже пошла навстречу Елене Емельяновне:

- Хорошо-то как... Теперь никто никому не будет платить дань.

Елена Емельяновна сказала:

- Вы нынче к нам на елку... А мы к вам на елку. И у нас будет не по одной, а по две веселых елки. Хорошо жить в мире. Не правда ли?

И школьники закричали в ответ:

- Правда!.. Правда!..

В разных школах одной и той же Мильвы был разный дух. И этот дух всегда зависел от учителя и всегда будет зависеть от него.

Разошлись с песней:

Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет...

У каждого времени свой цвет и свои песни.

II

За стенами школы текла далекая от нее и неразрывно связанная с нею жизнь, размеренная заводскими свистками, получками два раза в месяц и праздничными гулянками.

События, вызванные смертью Толстого, улеглись. Листовки забывались, домашние хлопоты, заботы о корове, квашне, обеде, тяготы будничной жизни рабочих семей главенствовали над остальным. Ранние глубокие снега, затем и морозы, сковавшие реки, приглушили и без того тихую жизнь Мильвы, отрезанную зимой заснеженными полями, густыми хвойными лесами, тянущимися на многие версты. Только узенькая кривая дорога с еловыми ветками-вехами оставалась единственным путем сообщения, по которой раз в день, а то и через день пробегала кошевка «дележанца» к дальней железнодорожной станции.

Началась зима. Длинная, белая, с короткими днями, с неизменной стужей - мильвенская зима. Уж коли надел в октябре валенки, можешь не снимать их до конца марта. Оттепель - редкая гостья в Мильве. Да и та чуть растопит верхний слой снега на солнечной стороне улиц, погостит час-два и снова «клящая стынь-стужа» здесь, в верховьях Камы.

В церковноприходской школе, как думали, Маврикий учился плохо потому, что там была отвратительная Манефа-урядничиха, но плохо учился он и в земской школе, где преподавала милейшая из милейших - Елена Емельяновна Матушкина, ожидавшая места словесницы в женской гимназии.

Герасим Петрович Непрелов объяснял неуспеваемость пасынка его избалованностью, изнеженностью, потворством Екатерины Матвеевны и вообще его обреченностью вырасти шалопаем-бездельником и почему-то «петрушкой». Отвратительный почерк Маврика был гарантией, что из него не получится даже делопроизводителя и, конечно уж, счетовода, бухгалтера, которые должны выводить цифирки, как печатные.

У Герасима Петровича был отличный почерк, и только по одному его почерку можно было безошибочно предположить, что этот человек отличного делового склада ума, - хотя он и не везде ладит с орфографией, зато его слова не расходятся с делом, а если и расходятся, то в лучшую сторону. Именно так и оценивал глава фирмы «Пиво и воды» Иван Сергеевич Болдырев своего конторщика, успешно заменяющего больного доверенного мильвенского склада.

Екатерина Матвеевна считала, что на плохом учении Маврика сказались пережитые им потрясения.

Терентий Николаевич сказал:

- С годами все образуется...

Григорий Савельевич Киршбаум находил, что к Маврику нужен особый подход.

Елена Емельяновна терялась в догадках - как может плохо учиться способный и даже одаренный мальчик?

А учился Маврик плохо потому, что считал ненужным многое из того, что задают в школе.

- Зачем, ну зачем, Иль, - убеждал его Маврик, - учить наизусть рассказ или стихотворение, когда ты его прочитал и понял, когда ты его запомнил и можешь рассказать, о чем оно написано? Лучше в это время прочитать другой рассказ или другое хорошее стихотворение.

- Это само собой, - спорил Иль, - но некоторое нам нужно знать наизусть, навсегда, на всю жизнь, как имя друга, как себя...

- Например? - спросил в упор Маврик.

- Я не на экзамене...

- А зачем учить таблицу умножения? - возмущался Маврик. - Зачем? Если тебе понадобится узнать, сколько восемью восемь, то ведь можно посмотреть в задачнике.

- А если нет под руками задачника? - спорил Ильюша. - Тебе вот как, показывал он на горло, - нужно знать, сколько восемью восемь, тогда что? Если ты покупаешь для ребят восемь билетов по восемь копеек, как ты будешь знать, сколько нужно заплатить? Могут же обсчитать.

Маврик на это возражает:

- А если тебе нужно купить двенадцать билетов по двенадцать копеек, как ты будешь знать, сколько заплатить? В таблице же нет двенадцатью двенадцать? А если тебе нужно купить сто тридцать девять билетов по семьдесят три копейки? Ага! Попался. А тысячу сто пятьдесят три билета по сто девяносто три рубля...

Иль молчал. Он не находил возражений. А Маврик не молчал.

- И не обязательно знать, в каких словах пишется буква «ять». Валерий Всеволодович говорит, что это совсем лишняя буква, которая отнимает только время, и ее давно пора выбросить вместе с фитой, и с ижицей, и с точкой... И вообще, - добавляет от себя Маврик, - нужно выбросить половину букв. Кому нужны заглавные буквы?.. Если ты напишешь имя Санчик с маленькой буквы, так никто и не прочитает «поросенок». А можно и простые буквы выбросить и оставить одни заглавные. Пишутся же

вывески только большими буквами, и все понимают. И вообще. - Маврик любил это слово. - И вообще, во втором и первом классе можно было выучиться за один год.

На уроках Маврик слушал только интересовавшее его, а когда начиналось повторение пройденного или таблица умножения в разбивку, Маврик уплывал на каком-нибудь волшебном корабле или на спине гуся-лебедя в далекие страны или думал о том, как хорошо было бы достать маленьких веселых человечков с карандаш ростом или чуть побольше. Лучше поменьше. Они могут ездить на курице. Это очень смешно.

- Над чем ты смеешься, Толлин? - слышится добрый голос Елены Емельяновны.

- Ни над чем, - вскакивая, отвечает Маврик и старается больше не думать о постороннем.

Но постороннее само лезет в голову. Сам по себе приходит екатеринин день - тети Катины и бабушкины именины. Очень трудно не думать о них, когда соберутся все. Все-все! Три тети Лариных дочери. Три дяди Лешины девочки. Придет Санчик с Ильюшей. Краснобаевых едва ли разрешат приглашать. Все не усядутся за столом. Их можно позвать в другой раз. Запросто. Без рыбных пирогов и желе. Но что подарить тете Кате и бабушке? Бабушке можно подарить рисунок, а вот тете Кате?..

- Маврик! - говорит, положив руку на его плечо, севшая рядом с ним на парту Елена Емельяновна. - Урок давно уже кончился. И все ушли. О чем ты думал сейчас, мой дружок?

- Я?.. Обо всем. Хорошо бы... Хорошо бы, Елена Емельяновна, если бы не было зимы, - выдумывает он, - если бы в школе можно было учиться ночью. Во сне. Когда спишь. Спишь и учишься во сне. Семью семь - сорок семь.

- Сорок девять, - поправляет учительница.

- Все равно, - соглашается Маврик. - И время бы ночью не пропадало на разные сны, и днем бы не нужно его терять...

Елена Емельяновна крепко прижимает к себе Маврика. Если у нее будет сын, то пусть будет такой. Двоечник. Фантазер. Выдумщик. Но только такой.

- А ведь я вас тоже люблю, Елена Емельяновна, - прикидывается к ней Маврик. - Не больше, чем тетю Катю, но и не на очень меньше. На дважды два - четыре. А может быть, и на одиножды один... На один!.. И вообще, добавляет он, - Валерий Всеволодович Тихомиров для вас хорошая пара. Только его могут посадить в тюрьму... Но что же делать... Мой дедушка тоже сидел шесть дней.

У Елены Емельяновны холодеют руки, немеет язык. И она спрашивает:

- Ты знаешь, сколько тебе лет, Маврик?

- Мне? Я только на два года моложе Леры Тихомировой.

- А она-то тут при чем?

- Просто так, - неопределенно ответил Маврик и принялся укладывать в ранец свои книги, тетради, карандаши.

Елена Емельяновна долго еще сидела в классе после того, как ушел самый плохой и самый любимый ученик Маврикий Толлин.

III

Екатеринин день в Мильве был шумным, пьяным, пляшущим, плачущим, провожальным днем горьких разлук любящих сердец и тягостных расставаний друзей. Это был последний день рекрутского набора, день призыва на тяжелую бесправную службу в армию муштры, жестокого произвола, мордобоя. С утра плачут в екатеринин день осипшие еще вчера тальянки, двухрядки, венки и дедовские семиладки с колокольчиками. Ватагами ходят по заводским улицам новобранцы-«некруты» с товарищами, молоденькими женами, родней, соседями и просто досужими провожателями.

Через двойные рамы окон слышит Маврик истошные песни, женские причитания и пьяные выкрики. С Ходовой улицы тоже многим «забрили лоб». Уходит в солдаты младший брат Артемия Гавриловича Кулемина - Павел. Жалко. Хороший молодой токарь. Приветливый. Молчаливый. Хотел жениться на старшей Санчиковой сестре - Жене. Ждал екатерининового дня. Надеялся, что не возьмут. Тогда была бы свадьба. И могли бы его не взять. Завод подавал какие-то «тихие» списки на «тороватых» мастеров из молодых. Их не брали. Находили непригодными к военной службе. И Павла, как «быстрого и точного» токаря, тоже хотели оставить, да не оставили. Нашлись почище. С деньгами. Сумели дать. А у кого есть деньги, тот все купит. И цеховое начальство, и волостную власть.

Жалко. Очень жалко. Прощай, Женечка Денисова. Она обещает ждать. Какое там «ждать»! Пусть уж одна молодость гибнет, а не две.

Рекрутский набор принимался как неизбежное зло, как неминуемая болезнь. Уж коли суждено переболеть в детстве корью или скарлатиной или быть лицу изъеденным оспой - никуда не денешься, как и от солдатчины. Царствовали изречения утешительного самообмана: «От судьбы не уйдешь», «Кому что написано на веку...» и так далее - добрая сотня пословиц, присловиц, поговорок, канонизированных «мудрыми».

Сегодня Маврик не пошел в школу. Предстояло много интересного с утра и до позднего вечера. Тетя Катя за себя и за прихварывающую бабушку отстояла обедню, получила первые поздравления «с днем ангела, с екатерининым днем» и вернулась домой принимать «поздравителей» и визитеров.

Перебывало до десятка нищих, и, конечно, Санчикова бабка Митяиха, получившая, кроме специально для нее испеченного небольшого изюмного

пирога, двугривенный. Просто нищим, из непривилегированных, давалось по две новенькие, блестящие, наменянные в казначействе копейки. Копейку за здоровье одной Екатерины и копейку - другой. Если же нищий или нищенка, благодаря за подаяние, упоминали имя покойного Матвея - давалась еще копейка.

Побывала блаженненькая Марфенька-дурочка, пропевшая в юродивом пританцовывании озорной стих:

Катя, Катя, Катерина,
Нарисована картина
Не чернилом, не пером,
Из лоханки помелом.

Так как Марфенька-дурочка не понимала неучтливости смысла стиха и пела его как прославление имениннице, то ей тоже были даны две новенькие копеечки и особо - кусок горячего пирога.

Юродивых, блаженных, обиженных разумом в Мильве числилось до двух, а то и более дюжин. Такое количество «нетунайных людей» было заметным излишеством и для многонаселенного Мильвенского завода. Для него хватило бы вполне и одной дюжины. Правда, не все из блаженных, юродивых и обиженных разумом заслуживали находиться в этом разряде.

Умные люди умели растолковать и находить велеречивые объяснения для каждого душевнобольного или притворяющегося им хитреца.

Тишенька Дударин не притворялся дурачком. Он был им. Но все же дурачком «себе на уме». Выкрикивая «вещие» слова, услышанные от других, а то и подсказанные другими, он привлекал к себе внимание и значился в разряде юродивых уже потому, что его способность бегать босиком по снегу в морозные дни поражала и самого доктора Комарова, не находившего этому объяснения.

В зашеинском доме и вообще в чьих бы то ни было домах Тишенька никогда не бывал и милостыни не собирал. А сегодня он, босой и продрогший, выглядевший более, чем всегда, долговязым, долгоногим, прибежал к Екатерине Матвеевне и принес на посеребрянной тарелке очень большую, не менее полутора-двух фунтов, румяную просфору. Войдя на кухню, он принялся бормотать:

- Во весь роток свистит свисток... Обедать пора! Обедать пора! А великомученица-то... великомученица-то с небес сошла, в часовенку зашла... Слава тебе восподи-восподь, слава тебе... Изыди, архангел

Михаил, тут мой каменный домик, моя кирпичная келейка... Изыди, изыди! - прокричал он и подал просфору.

Не взять просфору от блаженненького Екатерина Матвеевна не могла, как не могла и принять ее, испеченную Дударихой, в доме которой теперь открыто жил ушедший на покой бывший кладбищенский поп.

- Спасибо. Поставь на стол, - сказала она Тишеньке и, не зная, чем отблагодарить его, вспомнив о старых подшитых валенках Матвея Романовича, лежавших в кладовке, сказала: - Подожди, я сейчас отблагодарю тебя!

Тишенька увидел через дверь Маврика и снова принялся наговаривать:

- Иван-дудак в гробу сопрел... Непрелый Герасим на пиво сел...

- Хватит, Тишенька, - остановила его Екатерина Матвеевна. - Не от бога эти слова, а от злых языков. Это тебе от Матвея Романовича, - сказала она и подала подшитые валенки.

Тишенька тут же обулся в них и забормотал:

- Ногам тепло... голове холодно, - и убежал.

Через минуту он мчался босым по большому Кривулю и, размахивая валенками, кричал:

- Турчака-дурчака в валенки обувай... Архангела не обуешь...

Просфору бабушка Екатерина Семеновна отдала старому нищему, прибавив к ней медный пятак, и наказала ему:

- Молись о смягчении кары грешной души Михаила.

- Буду, матушка, буду, - понимающе ответил старик, опуская в кошель тяжелую милостыню.

В этот день была получена и другая просфора, посланная протоиереем Калужниковым с соборным диаконом, поздравившим обеих Екатерину и пригласившим их на открытие часовни, имеющее быть после свистка на обед. Им же было вручено «Житие великомученицы Екатерины».

- Поучительное житие, доподлинно и специально перепечатанное для мирян в типографии господина Халдеева, - сообщил диакон, не преминувший и не смеющий отказать себе в откушании рыбного пирога, а равно испитии двух чарочек в честь двух имениниц и третьей для усиления голоса, который понадобится ему сегодня на молебне открытия Екатерининской часовни при многочисленном стечении почитателей великомученицы и носящих имя ее.

Все шилось слишком белыми нитками, и это настораживало Екатерину Матвеевну, не искавшую славы, и особенно такой. В этом было что-то нарушающее основы веры и оскорбляющее великомученицу и носящую ее имя Екатерину Матвеевну. Но ведь она-то здесь ни при чем, и ей не следует

ходить на открытие часовни, чтобы не дать пищу молве.

Это же подтвердил и Терентий Николаевич, появившийся испить свою чару и подарить низенькую скамеечку, на которой хорошо сидеть у топящейся печки.

И забежавший в обед Артемий Гаврилович Кулемин тоже одобрил решение Екатерины Матвеевны.

- И хорошо, что не пошли туда, - сказал он, - тем более что икона весьма и очень похожа на вашу фотографическую карточку ранней молодости. Конечно, - постарался смягчить он, - все девичьи лица имеют схожесть, и чего не надо искать, того нечего и выискивать. Но ведь могут найтись люди... И все же кто бы что бы ни говорил, а я скажу, что и отцу протоиерею приходится нынче кадить подумавши.

Большого он сказать не мог. Но и этого вполне хватило, чтобы впервые за всю жизнь Екатерина Матвеевна усомнилась в святости икон. Не всех, разумеется, а некоторых...

IV

Не мудрствующие лукаво мильвенские старухи и старики, не умеющие молчать и там, где нужно бы, находили открытие Екатерининской часовни справедливым откупом за надругание треклятого попа Мишки, без обиняков назвали часовню в день ее открытия Зашеинской. И ничто - ни время, ни люди не переименуют этой часовни. И даже в те годы, когда Мильва, став городом, получит новое имя и забудется старое название завода, а часовня станет будкой бюро пропусков, - все равно старики вахтеры будут рассказывать необычную историю о Зашеинской часовне.

Но это еще впереди, а пока в доме Зашеиных Санчикова мать и разбитная старуха Кумыниха управлялись на кухне, дожаривали, допекали последнее и готовили большой стол.

Первым из гостей появился Иля Киршбаум. Санчик не в счет. Он пришел прямо из школы. Иля торжественно внес коробку и еще более торжественно прочитал стихи собственного сочинения:

Тетя Катя, дорогая,
Папа, мама, Фаня, я...
С этим днем Вас поздравляем
И желаем Вам счастья.

Если стихи идут от всего сердца, и неправильное ударение украшает их. Затем Иля поднес коробку и попросил ее тут же раскрыть. В ней оказался набор штемпелей с именем, отчеством и фамилией именинницы. Это были штемпеля для пакетов с обратным адресом, штемпеля разных размеров для писем и неизвестно для чего. Штемпель для поздравлений, круглая домовая печать. Штемпельная подушечка и флакон со штемпельной краской.

Штемпеля произвели огромное впечатление на Маврика, и они тут же были обновлены на листках тетрадей, на кромке скатерти, на обоях и на обложке восьмистраничной книжечки «Житие великомученицы Екатерины». Штемпеля будут поставлены в честь тети Кати на руки всем, кто пожелает из гостей, и обязательно трем тети Лариным девочкам и трем девочкам дяди Леши.

Себя три друга уже проштемпелевали круглыми печатями на груди и

«экслибрисами» на руках. Получилось очень красиво. Как у моряков.

Собаке Мальчику, обросшему с осени длинной зимней шерстью, не представлялось возможным поставить штемпель, поэтому пришлось ограничиться подмалевыванием ему носика штемпельной краской. Однако же собака, не понимая оказанной ей чести, облизала свой нос, и от этого ее розовый язык, к общему ликованию друзей, стал темно-фиолетовым.

Какая прелесть!

Девочки появились засветло, не по трое, а сразу вшестером. В кухне послышался визг, чмокание, поздравления. Затем они, нарядные, разруганные, вошли в комнату и выразили единодушное желание проштемпелеваться.

- Что за вопрос? Какой тут может быть разговор, - заявила старшая дочь тети Лары гимназистка Алевтина. - Разве мы можем остаться непроштемпелеванными?

Она, как самая взрослая, а следовательно, и самая умная, попросила Маврика в честь тети Кати поставить ей круглую печать на коленную чашечку, что было и сделано.

- Там-то уж, под чулком, не сотрется и не смоется, - радовался Иля, поддержанный Санчиком.

Правда, тот и другой не знали, как отнесется к этим штемпелям своих дочерей тетя Лара и как им придется смывать эти штемпеля горькими слезами... А пока все хорошо. Аля затевает очень интересную игру. В этой игре Маврик превращается в «некрута». Его почему-то опоясывают полотенцем. Нахлобучивают треух. Лихо. Набекрень. Аля запекает:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.

И все девочки подхватывают:

А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья, мои сестры,
Заплачет мать и мой отец...

И все начинают плакать и причитать:

- Сыночек ты наш ненаглядный...

- Да куда же тебя угоняют...
- Да как же мы тут без тебя...

Игра разгорается. Громко, с модуляциями рыданий в голосе старшие девочки Клаша и Аля поют:

Еще заплачет дорогая,
С которой шел я под венец...

И плачет, входя в роль, младшая девочка дяди Леши. Плачет настоящими слезами и называет Маврика другим, всем знакомым и близким именем:

- Павлик, мой Павлик, Павлушечка, как же я, как буду жить одна без тебя...

- Успокойся, Женечка Денисова, успокойся, - подыгрывает Аля. - Мало ли женихов в Мильвенском заводе...

- Нет, нет, нет... - кричит Надя, оказавшаяся Женей, Санчиковой сестрой. - Никогда и ни за кого я не пойду замуж. - Она вся в слезах просит: - Обними ты меня, Павлушенька, в этот последний нынешний денечек.

И Павлик-Маврик обнимает Надю. У него блестят глаза. Он сдерживается, чтобы не заплакать. А Санчик не может сдержаться. Слишком близка игра. Она повторяет то, что происходило дома так недавно. Надя, изображающая Женю, виснет на шее Маврика. Голосит. Визжит.

- Поиграйте во что-нибудь другое, - просит бабушка Екатерина Семеновна.

Как бы не так... Ее голоса никто не слышит. Потому что уже «коляска к дому подкатила, колеса о землю стучат», и староста стучит в окошко. «Готовьте сына своего», - говорит строкой песни повелительный голос Али. А хор ей отвечает новыми строками:

Крестьянский сын давно готовый,
Семья вся замертво лежит...

И «замертво» лежат на ковре Таня, Клаша, Маруся и обе Нади. И Санчик, притворяясь рыдающим, рыдает на самом деле, валяясь на ковре.

- Фельдшера! Фельдшера! - кричит Ильюша и, повязавшись салфеткой, становится доктором Комаровым. - Я доктор Комаров! Скажите

«а». А-а! требует он и начинает приводить в чувство «замертво лежащую семью...».

- Теперь «Уж я золото хороню, хороню...», - предлагает бабушка новую игру, видя, что «Последний нынешний денечек» завел слишком далеко детей, живущих единой жизнью со взрослыми даже в своих играх.

Потом «хоронили золото», «сеяли ленок», играли в «Бояре молодые, да мы к вам пришли». Наступил вечер. Стали подходить взрослые гости. Детям остается съесть именинные пироги, выпить сладкие чай с вареньем, печеньем, с конфетами, а затем расходиться по домам.

Взрослые долго еще будут праздновать екатеринин день, обмениваться новостями, рассказывать о новой часовне, вспоминать о старых обидах и наконец тоже разойдутся.

А завтра...

«А завтра рано, чуть светочек» новобранцы с тяжелыми головами побредут жиденькими цепочками по двадцать человек за санями с котомками через родные покосы, деревенские поля узкой дорожкой на далекую станцию, где им скоман্দуют:

- В две шеренги становись!

И начнется действительная служба, которая продолжится войной с Германией, названной впоследствии первой империалистической. Для многих, сложивших свои головы на этой войне, слова: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья» - будут не только лишь песенными строками.

Завтра же утром начнется военная биография одного из полководцев Красной Армии - Павла Гавриловича Кулемина. Но до этого должно пройти много лет и еще больше произойти событий.

А пока плачут гармоники на мильвенских улицах, плачет надушных полатах в маленькой избушке бедная Санчикова сестра - Женечка Денисова, разлученная со своим Павликом.

Штемпельная мастерская «Киришбаум и К°» процветала. Заказов оказалось куда больше, чем предполагал, чем хотел Григорий Савельевич и чем нужно было для его главной работы.

Григорий Киришбаум, имевший дело с подпольной печатью, убедился, что неизбежная громоздкость типографий и при малых размерах оборудования приводит нередко к провалу.

И в самом деле, как доказывал он товарищам в Перми и Екатеринбурге, всякая, даже маленькая типография должна иметь, кроме шрифтовых ящиков-касс, печатную машину. Пусть самую небольшую, но все равно листовок, это тюк бумаги, который нужно внести, а затем вынести, что всегда нелегко.

Подпольную литературу трудно перебрасывать на далекие расстояния. Это связано с риском и жертвами. Другое дело, если вся «типография» может быть спрятана в голенище сапога, в переплете книжки, за подкладкой дамской сумочки и где угодно, вплоть до пирога, в который ее можно запечь.

Киришбаум доказывал, что листовки должны печататься на месте их распространения, и при этом простейшим способом. А для этого нужно централизованно изготавливать каучуковые штемпеля-стереотипы, которые легко пересылать, перевозить, переносить в самые отдаленные уголки страны. И даже маленькая подпольная группа, и даже один человек могут в лесу, в квартире, в купе вагона печатать листовку. Для этого необходимы всего лишь лоскуток сукна, пропитанный штемпельной краской, бумага и доска наподобие пресс-папье, на которую наклеивается штемпель-стереотип. А если применить простейший рычаг или пресс, то можно сравнительно быстро сделать оттиски.



И никто даже отдаленно не мог заподозрить, что богатеющий Киршбаум поставляет сотни стереотипов революционных листовок в города страны. Все жили своими радостями и горестями. У всякого

достаточно собственных забот.

Невеселой была эта зима в зашеинском доме. К елке готовились сдержанно. День ото дня хуже и хуже чувствовала себя бабушка Екатерина Семеновна Зашеина. Маврик подолгу просиживал возле ее постели.

На последней неделе перед рождеством, когда Терентий Николаевич привез и поставил в снег за окном большую пушистую пихту и бабушке стало гораздо лучше, она, усадив Маврика рядом с собой на низенькой кровати, доверительно и спокойно сказала:

- Пора уж, Маврушенька, мне к дедушке собираться.

- Почему же пора, бабушка? - спросил Маврик. - Тебе еще только семьдесят девять лет. И ты обещала пожить с нами еще четыре года, до дедушкиных до восьмидесяти трех годов.

- Так-то оно так, голубок, да не получается. К себе дедушка требует. Сегодня опять во сне приходил. Исхудалый такой, в неглаженной рубахе и ласковехонько так сказал: «Стосковался я, Катенька, без тебя, давай начинай подсобирываться».

- А ты что сказала ему, бабушка?

- А что я? За всю жизнь твоему дедушке поперечного слова не говаривала и тут не сказала. «Только, говорю, до весны-то уж не так долго ждать, Матвей. И Терентию, говорю, на Мертвой горе талую землю легче копать... А меня, говорю, по теплой поре больше народа проводит...»

- А он что, бабушка?

- А что он? Он как и ты... Что в голову войдет - вынь да положь. Не отступится. На хорошем у нас месте старая баня стояла, а ему вступило в голову передвигать ее... Я и пять перечесть не успела, а баня пошла-поехала на новое место. А зачем, спрашивается, ей на новом месте быть? Аршином дальше, аршином ближе - не все ли равно? Характер... Или жду-пожду твоего дедушку чай пить. Самовар на столе, шаньги горячие стынут, а деда нет. Потом является. Весь в глине, в песке. «Где, спрашиваю, ты, Матвей, в каком болоте себя увозил?» А он довольный такой, радостный: «Я Катенька, до свету встал, новый колодец начал рыть». «Зачем, говорю, Матвей, нам новый колодец? Этот-то, говорю, чем плох?» А он мне: «Вкуснее воду ищу». И вся недолга. Что вступит в голову твоему дедушке, - повторяет старушка, - колом не выбьешь.

- Это плохо, бабушка, - сокрушается Маврик.

- Хорошо ли, плохо ли, только ты таким же расти. Пять колодцев вырыл твой дедушка, а хорошую, вкусную воду нашел. И ты ищи ее. Не останавливайся, - наставляет Екатерина Семеновна внука и гладит своей сморщенной, исхудалой рукой.

Маврик не может согласиться с требованиями бабушки, ему хочется внушить бабушке, чтоб она отложила свой уход, искренне веря, что это зависит только от нее. И он убеждает:

- Ну право же, бабушка, ну чего же хорошего сидеть с дедушкой на облачке? Насидишься еще. Разве хуже тебе пить чай с горячими талабанками, рассказывать сказки, ходить к обедне? Тетя Катя купила двух уток, большого гуся и будет к рождеству запекать окорок. Знаешь, какие будут вкусные корочки...

- Да как не знать, Маврушенька... Только отъела уж я их. Три зуба осталось. И главное, рубаха там у него неглаженная...

- Ну неужели же, бабушка, надо умирать ради рубахи? - не соглашается внук. - Неужели там ему некому ее выгладить? Сколько там хороших знакомых, мильвенских покойников...

- Не в одной рубахе дело, Маврушенька. Рубаха что? Зовет он. Зовет меня...

Долго разговаривает Маврик со своей бабушкой, прося ее не покидать их, потому что тогда совсем пусто будет в доме.

Говорят они серьезно, рассудительно, будто речь идет не о конце жизни, не об уходе навсегда, а о поездке в Пермь или в другой город и будто эту поездку можно было отменить или перенести.

Тем не менее бабушка соглашается подождать до весны. Ей значительно лучше.

Довольный своей победой Маврик возвращается к елочным игрушкам, клейке цепей, золочению орехов. Завтра елка будет внесена и установлена посередине большой комнаты. Через час она отойдет после мороза, согреется, и ее можно будет начать украшать. Три друга ждут этого завтра, которое называется сочельником. Но сочельник наступил не таким, как его представляли Маврик, Санчик, Иля. Дедушка Матвей Романович оказался настойчивее своего внука.

В сочельник вечером бабушку соборовали при стечении всей родни. Горели свечи. Соборовал отец Петр, самый уважаемый священник в Мильве.

Бабушка сидела на кровати со свечой в руках, в длинном белом, похожем на саван платье. Она уже была готова отойти.

- У мамочки начали чернеть ноги, - предупредила сестру Екатерина Матвеевна. - Не уходи, Люба.

После соборования остались только свои да Марфенька-дурочка. Все тихо расселись в большой комнате, где у стенки стояла новая крашенная крестовина для елки.

- Ну вот, - сказала Екатерина Семеновна, - посидим перед дорогой. С сухими глазами простимся. Слушайся папочку, - обратилась она к Маврику, слушайся, как родного отца. А вы, Герасим Петрович, - перевела она взгляд на Непрелова, - не отличайте детей. Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас.

Герасим Петрович наклонил голову и тихо пообещал:

- Не дам, Екатерина Семеновна. Обещаю при всех.

- Ну и бог благословит тебя за это, Герасим Петрович. А ты, Катенька, - обратилась Екатерина Семеновна к дочери, - за дом не держись. Зачем он тебе одной? Стены - не память. Бревна, они есть бревна. Дерево. Но и кому нипопадя тоже не продавай. Чтобы мне ли, Матвею ли Романовичу в день своего ангела не совестно было в этом доме побывать.

- Ну зачем ты об этом, мамочка? - остановила старушку Екатерина Матвеевна.

- Обо всем надо не забыть. Вон уже сколько часов, - кивнула в угол, откуда послышался бой часов. - Долю выделишь Мавруше на учение, как было сказано его дедушкой. И зачем только кудри ему состригли, - сказала она, привлекая к себе стриженую голову внука. - Не ссорьтесь, дочери, без меня. А дорогого поминального обеда не надо затевать. А водочки-то купи. Без нее какие поминки. Да ведь и рождество... Люба, глянь в окно, зажглась ли первая сочельничья звезда.

- Много звезд, мамочка, - ответила Любовь Матвеевна. - Яркие звезды.

- Значит, родился уж, - кротко улыбаясь, сказала старушка. Дождалась. Открой, Катя, миску со святой водой. И положи меня на кровать. Не ссорьтесь тут без меня! - еще раз попросила Екатерина Семеновна, обращаясь ко всем, и махнула на прощание слабеющей рукой.

Как никогда, горько Екатерина Матвеевна осознавала свое женское одиночество, и почему-то сейчас она подумала об Иване Макаровиче Бархатове. И ей стало стыдно. Как могла она в такую минуту думать о нем?

Неторопливая смерть кротко смежала покорные старые веки Екатерины Семеновны. Дочери, чтобы не омрачить тихого ухода матери, сдерживали рыдания. Плач начался тотчас, как Марфенька-дурочка сказала, указывая на миску с водой, стоящую на столе:

- Смотрите, смотрите, кунается в воде ее душенька...

Маврик этого не видел и не мог видеть, потому что он был простой, обыкновенный, а не блаженный. Марфенька же видела, как душа Екатерины Семеновны, трижды окунувшись в святой воде миски и этим смыв с себя все земное, подлетела к портрету Матвея Романовича и коснулась его лица, после чего Матвей Романович улыбнулся душе. Этого

Маврик тоже не мог видеть по той же причине. Но что это было именно так, мальчик не сомневался.

VI

В эту зиму не было елки у Маврика. А та, что доставил Терентий Николаевич, пошла на похоронную хвою. Обрубленные сучья были разбросаны вместе с другими привезенными из леса от зашеинского дома до кладбищенских ворот.

Траур по бабушке не позволил Маврику побывать и на других елках. Ему не запрещали этого, но ему было понятно и так, что в этом году неприлично скакать и петь по крайней мере сорок дней после смерти бабушки, которые он проживет у тети Кати.

Тетя Катя очень часто плакала по бабушке, и Маврику приходилось каждый раз утешать ее:

- Неужели ты, тетя Катя, не понимаешь, что ей там будет лучше с дедушкой? О чем же ты?

- Лучше-то лучше, - соглашалась тетя Катя, - но дома тоже неплохо было мамочке.

Это настораживало мальчика. В бога, в загробную жизнь он верил твердо и непреложно. Для него было ясно все, кроме разве одного, о чем он стеснялся спросить. А ему очень хотелось знать, в чем ходит бог-отец, когда он не в раю, а у себя дома. Неужели он, так же как отец Михаил, как отец протоиерей, тоже ходит в этих... в брюках. Это ужасно. Санчик говорит:

- Наверно, да. А в чем же ему ходить у себя дома?

Ильюша сказал:

- Откуда я знаю. Если хочешь, спрошу у папы или у отца Петра. Уж он-то знает.

- Нет, нет, нет, - запротестовал Маврик. - Дай слово, что ни у кого не будешь об этом спрашивать!

Преследуемый неотвязной мыслью, не любивший невыясненных вопросов, Маврик задал тете Кате обходной вопрос:

- Тетечка Катечка, как ты думаешь, что носят под низом архиереи, владыки... И вообще святые?

Екатерина Матвеевна не нашлась, как ответить племяннику. И она сказала, поразмыслив:

- У них под низом кружева, кружева, кружева и такой рюш с тюлевыми оборками.

Маврик больше не задавал тете Кате подобных вопросов. Он понял,

что она этого не знает и сама.

Тягостно тянулись сорок дней большого траура, но не успели они кончиться, как пришло известие о смерти бабушки Толлиной. Начался второй траур, хотя и не такой строгий.

Хоронить ее никто не поехал. Письмо из богадельни пришло после того, как она была похоронена. Да и кто мог поехать? У мамы на руках маленькая Ириша, у тети Кати свое горе. Да и зимой из отрезанной Мильвы не так-то просто, а главное - недешево было поехать в Пермь.

В письме сообщалось, что оставшееся имущество после Пелагеи Ефимовны Толлиной передано монастырю, взявшему на себя расходы по похоронам. А о том, что в бабушкиной подушке были зашиты для Маврика деньги и эти деньги выпорола из подушки старуха Шептаева, кровать у которой была напротив бабушкиной, - об этом никто не знал.

По бабушке Толлиной тоже было заказано сорокадневное моление. Бабушка ведь... Хоть и строгая, но мать Маврикова отца.

Траурная была эта зима. Снег и тот лежал какой-то черный. Говорят, что переменялся ветер и дул из Замильвья, от этого садилось много сажи из заводских труб.

Была этой зимой еще одна смерть. Умер Иван Иванович Дудаков. Маврику тоже пришлось быть на его похоронах, потому что Иван Иванович всегда угощал Маврика конфетами «Снежок». Отчим и мать Маврика также любили Ивана Ивановича и плакали у его гроба. Но в этих слезах, кроме горя, было что-то другое... А что, Маврик не хотел догадываться. Нельзя сказать, что ему было стыдно за мать, но как-то все-таки было неудобно, когда сразу же после похорон пришла телеграмма от хозяина фирмы «Пиво и воды». Болдырев сожалел о смерти честнейшего человека Ивана Ивановича Дудакова и в этой же телеграмме назначил, согласно воле покойного, на его место господина Непрелова.

Жена Ивана Ивановича, как ни просили ее Мавриковы папа и мама, не хотела оставаться в старой квартире и сразу же после похорон начала продавать вещи, которые ей были не нужны. За некоторые вещи, например за буфет, за диван и за столы, она назначила дорого, и Любовь Матвеевна просила убавить цену.

- Зато, Любочка, - убеждала ее овдовевшая Дудакова, - все это в рассрочку на год, а то и на два. Торопить не буду.

Маврику эта торговля тоже не понравилась. Еще вчера она рыдала на кладбище, а сегодня не забывает спросить два рубля за портрет царя в золотой раме.

- Как он тут хорош! - говорит она, любуясь царем. - И ни за что бы не

рассталась с ним. Но куда он, такой большой, в моей маленькой квартирке?

Герасиму Петровичу тоже не нужен портрет, но как он может сказать, что ему не нужен царь.

- Если бы за рубль, - говорит он. - Предстоят такие расходы... У нас ведь нет и посуды.

- Хорошо, - торгуется Дудакова, - пусть будет не по-вашему и не по-моему. Полтора рубля.

Герасим Петрович со вздохом соглашается. Царь остается. Он будет висеть тут целых шесть лет. Полтора рубля - это деньги. Правда, рама хорошая, но как можно в эту раму вставить другой портрет или другую картину взамен царя?

Дудакова через день освободила квартиру. Пришли Васильевна-Кумыниха, Санчикова мать и вымыли комнаты горячей водой с карболовой кислотой, чтобы не пахло покойным Иваном Ивановичем и ладаном. Запах карболовой кислоты убивает все запахи.

Длинная и узкая, как пенал, квартира стала квартирой нового доверенного Герасима Петровича Непрелова. Маврик там тоже получил хороший уголок с письменным столиком и полкой для книг. В квартире тепло и светло, но квартира чужая. Кухня в доме у тети Кати и та ближе, роднее, дороже.

Герасим Петрович, став доверенным, не мог ходить в форменной судейской тужурке, - хотя к ней теперь и были пришиты другие пуговицы, но все равно. Теперь он не конторщик. Он будет получать семьдесят пять рублей в месяц при готовой квартире, при готовых дровах и освещении за счет фирмы, да еще особо по копейке с каждого проданного ведра пива и по три копейки с каждого ведра игристых фруктовых вод. Воды идут плохо. Их пьют только благородные и попы. А остальные предпочитают пиво. Вода - это газ, и ничего больше. А пиво - это и сытость. Оно хлебное.

Герасим Петрович теперь вполне может одеться в кредит у Куропаткина. Будет чем заплатить. И они с мамой идут закупать одежды, а ту, что нет в магазине, например длинный сюртук для визитов и для общественного собрания, можно заказать. Куропаткин шьет даже рясы, подрясники и форменное платье. У него пять швейных мастерских. Заказывай все, что хочешь, если ты кредитоспособный заказчик.

У Непреловых началась хорошая, счастливая пора жизни. Можно было бы объявить «среды» или «четверги», когда будут приходиться гости, но год траурный. Придется повременить, хотя тетя Катя и говорит:

- Пожалуйста, Герасим Петрович, пожалуйста. Вы теперь лицо коммерческое, а мамочка вам не родная мать, и вас никто не осудит.

Но Герасим Петрович человек учтивый и осторожный, ему не хотелось быть в чем-нибудь неприятным Екатерине Матвеевне - безупречной во всех отношениях, разумеется кроме воспитания Маврика, которого она любит непростительно и пагубно - «чересчур»...

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

Скрытая, кропотливая работа петербургских ищеек, неустанное изучение дел сосланных большевиков, проверка и перепроверка круга их знакомств, разведывательная работа среди эмигрантов за границей позволили в уединенной тишине кабинетов политического сыска столицы, куда стекается множество сведений, на первый взгляд и не имеющих никакого отношения к слежке, распознать некоторые новые следы. И один из них вел в Мильвенский завод, на Купеческую улицу, в дом Тихомировых.

«Выяснения» показали, что находящийся под гласным надзором Тихомиров ведет себя безупречно, подозрительных знакомств не заводит, суждения имеет либеральные, но не представляющие опасности.

Донесения мильвенского пристава Вишневецкого подтвердились надежнейшими сообщениями двух тайных агентов, о существовании и работе которых в Мильве не знал пристав, так как они были подчинены непосредственно губернскому жандармскому управлению и проверяли деятельность даже самого господина Вишневецкого.

Оба агента добросовестнейше перечисляли всех знакомых Тихомирова, включая Ильюшу и Маврика, бывавших в тихомировском доме и любимых молодой женой Тихомирова - Еленой Емельяновной, урожденной Матушкиной. О мальчиках упоминалось в донесениях не по глупости агентов, а по прямому указанию следователя из губернии, сказавшего, что «и собака может быть связным коварных подрывников устоев империи». Поэтому, видимо, с тихомировской собаки Пальмы был снят ошейник. И если уж в собачьем ошейнике искалось крамольное, то почему бы не предположить, что смысленый Ильюша Киршбаум и обиженный кладбищенским попом Маврикий Толлин, принятые во многих домах, не могли быть использованы как связные, о чем мальчикам не обязательно знать. Отдай дяде имярек конверт с деньгами, да смотри не потеряй, не показывай, еще вытащат. Вот и тайная связь, когда связной не посвящается в тайну.

Окруженный редкостным вниманием двойного и даже тройного сыска (отец протоиерей тоже косвенно интересовался Валерием

Всеволодовичем), Тихомиров аттестовался с самой хорошей стороны. Но пришел предательский пакет. Мильвенский провизор Аверкий Трофимович Мерцаев, оскорбленный тем, что губернатор не соизволил заметить его трактат о Тихомирове и верящий в свой гений сыщика, пожаловался, как принято было выражаться, на высочайшее.

Образованные и высокопоставленные жандармы Санкт-Петербурга не только прочли со вниманием провизорский трактат, но и все, что можно было добыть из написанного Валерием Всеволодовичем. В частности, был прочитан его студенческий реферат.

Подозрения подтвердились, утверждения не требовали дальнейших доказательств. Литературный почерк, манера письма, авторский стиль выдали с головой Валерия Всеволодовича.

Теперь все ясно. Нетерпеливый следователь торопит арест Тихомирова. С каким блеском будет предъявлено арестованному обвинение! С какой неоспоримостью он докажет, как бессмысленно отрицать лексическую схожесть текстов!.. Затем суд... Каторга... Награждение следователя... Благодарность провинциальному аптекарю...

Все это так бы и было, если бы подобные дела решал только следователь. Борзые и легавые повыше решили, что торопиться с арестом не следует, так как всякому ясно, что Тихомиров не один. Через кого-то и кому-то им пересылались рукописи листовок и брошюр. А через кого? Кто и где его сообщники? В Казани? В Одессе? В Самаре? В Москве? Это же необходимо узнать. Следовательно, нужно усиленно и умно следить.

Однако слежка не дала никаких результатов. И даже напротив осложнила дело. В печати более не появлялась ни одна тихомировская статья. Ни одна листовка. Как отрезало.

Неужели его кто-то предупредил? Кто-то выдал тайну? Такое случилось в жандармских кругах. Все, что сколько-нибудь стоит, может быть продано.

А Тихомирова насторожил тот же Мерцаев.

Мерцаев, получив через губернского чиновника, побывавшего в Мильве, секретную благодарность из Петербурга, поделился этой радостью с женой. Правда, он попросил ее поклясться перед иконой до того, как он сообщил ей, что его наконец-то удостоили чести быть тайным сыщиком империи. Жена Мерцаева не выдала этой тайны жене доктора Комарова просто так. Она заставила Конкордию Павловну тоже поклясться перед иконой и только после этого сообщила, что Тихомиров кандидат на каторгу.

Конкордия Павловна, принадлежа к независимым, передовым, прогрессивным и еще каким-то, не стала заставлять Валерия

Всеволодовича клясться перед иконой. Она рассказала все и посоветовала бежать.

Матушкин и Кулемин сообщили через Бархатова о положении дел. А Бархатов тем временем получил решение о переброске Тихомирова за границу. Оставлять далее его в России - значило потерять талантливого пропагандиста, заметного партийного публициста. При переезде за границу партия сохраняла своего верного трибуна. Теперь оставалось только осуществить побег.

Выполнение решения было поручено Ивану Макаровичу Бархатову, благополучная сапожная мастерская которого доживала последние дни. Туда повадились подозрительные клиенты. Зоркий Иван Макарович, имевший дело с петербургскими мастерами слезки, стал жаловаться шпицам на малые доходы и большие расходы. Готовясь к отъезду в Мильву, он говорил, что Пермь дорогой город и что он отправится искать свое сапожное счастье в тихие места.

Мастерская была закрыта. Явка перенесена. Иван Макарович для отвода глаз ездил в Чусовую, в Пашию, в Кушву, но нигде пока не приглядел для себя места.

Наконец прошел камский лед, и можно было отправляться в Мильву.

II

Еще вчера, перед отъездом в Мильву, казалось, что все обстоит очень хорошо. Филеры оставили Ивана Макаровича, а сегодня, на пристани, он почувствовал на себе чужие глаза.

Иван Макарович не знал, что жандармам известно о готовящемся побеге Тихомирова. Хотя донесения об этом были расплывчаты и в них не указывалось подробностей и фамилии связного, все же было сказано, что некто поедет в Мильвенский завод с первым пароходом.

Спрашивается, можно ли было пренебречь сапожником Бархатовым, числившимся в подозрительных, когда он купил билет до Мильвенской пристани?

На пароходе к нему пристал молодчик, сказавшийся приказчиком из Ирбита, которого якобы прогнал хозяин магазина. Поэтому прогнанному ничего не остается, как искать нового хозяина, а пока он не найдется - выпивать и закусывать.

Спешащий признаться в неблаговидных поступках приказчик не мог не вызвать подозрения Ивана Макаровича, и он, желая проверить, что это за «приказчик», не отказался пообедать с ним на пароходе.

- А вы куда, ваша честь, изволите ехать? - спросил приказчик.

- Не знаю, - ответил Иван Макарович. - Может быть, сойду в Чермозе, а может быть, проеду в Чердынь. А вы?

Приказчик не ждал такого вопроса. И он сказал:

- Я тоже не знаю.

- Значит, нам по пути? Вы ищете магазин, а я ищу, где можно будет открыть мастерскую по мелкому сапожному ремонту. Говорят, что в Пожве на этот счет рай.

- Ну, коли рай, - сказал деланно заплетающимся языком приказчик, поедем вместе. Я приплачу к билету, и вся недолга?

- А докуда у вас взят билет, уважаемый?

Приказчик сделал вид, что не расслышал вопроса. Тогда Иван Макарович повторил его, и приказчик ответил:

- А я спяна и не посмотрел. Сказал - вверх по Каме - и подал деньги. Где захочу, там и сойду. Понравится место, и сойду.

Подозрения оправдывались. Они оправдывались тем более, что приказчик и ночью появлялся на палубе, не пропуская ни одной пристани. Значит, не пропустит и Мильвы. И Бархатов не ошибся. Камская пристань

Мильвы была утром. Приказчик появился на палубе и сделал вид, что не заметил Бархатова. А Бархатов был уверен, что он тоже сойдет вместе с ним. А этого не случилось. В его задачу не входило следовать по пятам за Бархатовым. Вместо него на пристани сошел другой. Вот он-то и пойдет по следу Бархатова. А «приказчику» всего-навсего нужно было проверить, не проспал ли, не проглядел ли агент, приставленный к Бархатову.

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, хотя неуклюже, но небесполезно притворявшийся приказчиком, теперь был окончательно убежден, что Бархатов едет для встречи с Тихомировым и везет ему все необходимое для побега. И он почти не ошибался, если не считать, что Иван Макарович Бархатов, прошедший хорошую школу подполья, не вез при себе ничего. Это было бы слишком опрометчиво для него. Теперь, после встречи с «приказчиком», Бархатов еще раз убедился, как правильно поступили он и его товарищи, отправляя в Мильву двоих. Второй никак не мог быть заподозрен, и его не посмели бы даже обыскать.

Но и следователь не так прост и легкомыслен. Он не оставит на попечение агента преследуемого Бархатова, он застанет его на месте преступления в доме Тихомировых и тотчас допросит с уликами в руках. Поэтому он сойдет с парохода двумя-тремя верстами выше. За поворотом реки. Капитан парохода не сумеет отказать ему, чиновнику особых поручений при губернаторе (у него есть и такие документы), в просьбе остановить пароход и высадить его на лодке, у первой деревни. А там староста деревни предоставит ему лошадь.

Игра стоит свеч. Семь - десять лишних верст не крюк.

III

Несколько часов тому назад, ранним утром, на Камской пристани Мильвы, где живы руины заброшенной доменной печи, сошло человек пятнадцать. Среди них - две барыньки в шляпках с полинявшими коленкоровыми цветами, торговец, рабочий, крестьянин, студент, чиновник, монах с опечатанной красной сургучной печатью кружкой, подвыпивший полицейский, пильщик с продольной пилой, подслеповатенький старичок с перевязанной щекой, кто-то еще и Бархатов.

Теперь у Бархатова - единственный вопрос: следят ли за ним и кто следит?

Приехавших на пристани окружили мужики в лаптях, мильвенские рабочие, промышленяющие между сменами извозом. Все они предлагали свои услуги:

- Домчим-довезем, ястребком порхнем!

- Тише-то едешь, дальше будешь, - убеждал крестьянин с кнутом в синем зипуне. - На простой-то телеге способнее. Полтинник с двоих.

- Ежели позволите? - обратился к Ивану Макаровичу старичок с перевязанной щекой. - В складчину составить компанию. Одному-то дорого.

Бархатов решил идти пешком. Если кто-то следит за ним, то он тоже будет вынужден идти пешком и этим обнаружит себя. Пешему можно свернуть, остановиться, сделать крюк по лесу, по берегу речки и затеряться.

- Да зачем же в такое утро ехать на лошади? Тут же рукой подать.

- Совершенно справедливо, ваше степенство, - поддержал Бархатова подвыпивший пообносившийся полицейский. - И пообдует на горе. А если не пообдует, можно добавить. При мне сороковочка. Р-раз - и с добрым утром. Пошли, - предложил он. - За мной как за каменной стеной.

- Да уж с вами беспокоиться нечего, - отозвался, улыбаясь, Бархатов, - не ограбят.

- Пила окаянная тяжела, - пожаловался пильщик, - а то бы я тоже пешочком.

- А у меня багаж легкий, - опять заговорил старичок с перевязанной щекой. - Пожалуй, и я пешком. А полтинник внучаткам на пряники. Мне ведь еще за Мильву верст двадцать пять.

Теперь Бархатову хотелось знать, кто из них идет впервые в Мильву, и он спросил:

- А кто будет проводником? Кому известна дорога?

- Я, - откликнулся студент. - Знаю кратчайшее направление.

- Вы здешний? - спросил Бархатов студента.

- Почти, - ответил студент. - Я бывал здесь не один раз на каникулах. И теперь возвращаюсь сюда, как в родные Палестины.

- Ясно, - сказал Бархатов. - Тогда ведите короткой тропой.

Багаж давно не брившегося студента состоял из одного заплечного мешка и связки книг.

- Тронулись, господа! - скомандовал он и принялся объяснять, как гид:

- Сейчас нам предстоит одолеть пять или шесть петель чудесной горной дороги, которая вознаградит нас изумительным ландшафтом. С этого крутого берега мы увидим неоглядные камские просторы... Вон видите, - указал студент на черную палочку, торчащую на кромке высокого глинистого берега, - долгоногий монах уже наслаждается зрелищем.

Бархатов шел последним, оценивая каждого из приставших к нему спутников. Всякий преследуемый в каждом встречном и тем более следующем за ним видит преследователя.

Кто же из них следит за ним?

Может быть, словоохотливый студент с полинявшими от времени петлицами тужурки? Таких подсылают. Но студент приехал ночью на другом пароходе, проспав до рассвета на пристани. Его, пожалуй, нужно исключить.

А полицейский? Едва ли. Слишком уж откровенный прием слежки. А впрочем, бывает и так.

Мог им быть и странный пыльщик, отправившийся на поиски работы без напарника. Это ненормально. Однако пыльщику можно бы и не сокрушаться, найдет ли он второго, а сказать мимоходом, что второй его ожидает в Мильве.

И тем не менее пыльщика тоже нельзя исключить из подозреваемых, потому что слежка за последние годы усложняет свои методы. Не следует исключать из поля зрения и старичка, похожего на заштатного архивариуса.

Пока поднимались в гору, все молчали. Поднявшись же, заговорили.

- А я, - объявил пыльщик, - сразу же на базар. Сегодня пятница. К обеду на площади будет черным-черно. Понаедут из дальних деревень. А в субботу еще того гуще. Была бы пила, а к пиле руки найдутся.

- Это уж так точно, - сказал полицейский. - А я к сыну. Не ждет. А внук ждет. Семь лет мальчику. И такой, такой, я вам скажу, отчаянный мальчугашечка... одним словом, арестант-забастовщик, золотая рота... А из себя ангелок. В дочь.

- Любите внука? - спросил Бархатов.

- А кто их не любит, ваше степенство! Агнцы же они. Агнцы господни, сказал полицейский и перекрестился на монаха, стоящего поодаль на кромке берега. - Теперь-то уж я по чистой в отставку вышел. Сколько лет отбарабанил, ваше степенство. Нелегка была моя служба в полиции, ох нелегка. Пристав, бывало, чай-ликеры распивает, а ты мерзни, дежурь, карауль... А разве их укараулишь всех, когда неизвестно, что в голове у родной дочери. Хоть бы и вас, ваше степенство, взять. Как я могу знать, что там делается, - полицейский ткнул пальцем в свою грудь, - когда я сам за себя ручаться не могу?

- И давно вы так? - спросил с сочувственной иронией студент, предлагая всем и полицейскому тоненькие, собственной набивки папиросы.

- Недавно, господин студент, - ответил, закуривая, полицейский. После угона брата.

- А куда его угнали? - снова спросил студент.

- Туда, - ответил полицейский, указывая на солнце, поднявшееся над лесом.

- А кто был ваш брат? - спросил Иван Макарович.

- Хороший человек. В Лысьве литейщиком работал.

- Бывает, - послышался болезненный голос старичка. - Всякое бывает. Нынче никого не милуют.

Наступило неловкое молчание. Бархатову стало жаль полицейского, у которого вдруг навернулась слеза. «Бывает, всякое бывает», - повторилось в голове Ивана Макаровича.

- И вас за это отставили?

- Да нет, - сказал полицейский. - Годы вышли. Кому нужен старый пес? Поживу сколько-то у дочери, а потом, может быть, и... - Он посмотрел снова на монаха и неопределенно сказал: - Махну куда глаза глядят. Может, в тихую обитель, грехи замаливать.

- М-да, худо быть в больших годах, - прошамкал старичок и обратился к студенту: - А вы к кому изволите в Мильву?

- К Тихомирову. Слыхали такую фамилию?

- Это к какому же такому Тихомирову? Из купцов? - спросил старичок.

- Совершенно верно, - сказал, расхохотавшись, студент. - У его отца лабаз со щепными товарами, ворвань, смолой и дегтем, а у сына скупка и продажа носильных вещей. Значит, вы не из Мильвы, если вам неизвестны Тихомировы.

- Я лет двадцать не был там.

- Все равно. А вы тоже впервые? - спросил студент Бархатова.

- Да-а, - сказал он. - Там у меня ни родных, ни знакомых, если не считать одного девятилетнего школьника. К нему-то я и заеду, а потом уже займусь своими делами.

Далее Бархатов подробно развил старую версию о желании открыть мастерскую мелкого ремонта обуви, объяснил, почему он решил оставить Пермь, и не преминул рассказать о своих дальнейших намерениях, так как он теперь был уверен, что один, а то и двое из слушающих его хотят знать подробнее:

- Если в Мильве нашего брата достаточно, поеду попытать счастья в Пожву, в Чердынь, а то и дальше...

IV

Все слушали Бархатова с одинаковым интересом, и ни один ничем не выдал себя, только старичок спросил:

- А что же вы без инструмента?

- Мой инструмент - молоток да шило. Они при мне. Если угодно, подлатаю на ходу.

Солнце стремительно подымалось. Студент предложил трогаться. Все поднялись.

- Ой! - тихо простонал Иван Макарович. - Опять, кажется, правая нога.

- Что такое? - забеспокоился студент.

- Может, водочкой натереть? - предложил полицейский.

- Да нет. Пройдет. Часок посидишь, и проходит. Что-то вроде ревматизма. Идите, - попросил Бархатов. - Не сидеть же вам тут со мной. Случается, и два часа мучит, а потом как рукой снимет.

Бархатов придумал эту новую проверку, чтобы выяснить, кто с ним останется. Студент сказал, что по жаре ему будет трудно идти, затем, попросив извинения, посоветовал Бархатову не экономить полтинник и воспользоваться попутной лошастью.

- А мне беспрерывно надо быть на базаре, - сказал пильщик.

- И я по жаре не ходок, - объяснил свой уход полицейский.

- Что и говорить, что и говорить, у каждого свое дело, - сказал сочувственно старичок. - А мне торопиться некуда. Вы меня на пристани не бросили, - обратился он к Бархатову, - и я вас не брошу.

«Неужели он?» - подумал Бархатов.

Нелюдимый молодой монах с жиденкой бородкой тоже поплелся за ушедшими, постукивая о сухую дорогу посохом.

Иван Макарович, не просидев и полчаса, сказал старичку про ногу:

- Опять как новенькая. Я готов.

И они пошли. Старичок ничем не проявлял своего интереса к Ивану Макаровичу. Они шли молча и только на мосту, нагнав монаха, любующегося резвящейся рыбой, старичок заметил:

- Опять он тут? И что ему нужно от нас?

- А что ему может быть нужно от нас? - насторожился Иван Макарович. Мы сами по себе. Он сам по себе.

- Это безусловно, и тем не менее меня всегда берет сомнение, ежели не отстает незнакомый человек, хоть бы и монах.

Тогда Бархатов попробовал прощупать старичка прямее.

- А меня не берет сомнение, ежели, - повторил он его слова, - от меня не отстает незнакомый человек. Хоть бы вы. Я же не знаю вашего имени, фамилии, ни кто вы.

- А я не таюсь от вас, - ответил, заметно смутившись, старичок. Могу не толи что себя назвать, и паспорт... Вот он, пожалуйста.

- Да что я, проверщик какой? Я же к слову... Вы о монахе, а я о вас. Привык, знаете ли, хорошо думать о людях...

В это время они проходили по мосту. Перегнувшись через перила, монах бросал рыбам сухарики и тихо напевал:

Афон-гора, гора святая...

За мостом начались заводские покосы, медленный подъем на Мертвую гору. Бархатов и старик снова пошли молча. Поднявшись на гору и увидев Мильву, старичок спросил:

- А нельзя у ваших знакомых часок-другой обседеться с дороги?

Бархатов решительно отказал:

- Я и сам не знаю, могу ли воспользоваться их гостеприимством. И к тому же я прежде отправляюсь на базар, а потом уже к Зашеиным...

- К кому-с?

- К Зашеиным, - повторил Бархатов. - Ходовая улица, дом девять...

- Адрес мне ни к чему. Я же так просто спросил.

- И я просто, - сказал Бархатов. - Н-ну... простимся тут... Бывайте...

- Куда же вы?

- Хочу зайти с устатку. - Иван Макарович указал на окраинную пивную с вывеской «Пиво и воды товарищества Болдыревых».

- И я, пожалуй...

- Не советую. Берегите деньги внукам на пряники.

- И то, - согласился старичок, но не отставал от Бархатова. Дождался его у пивной.

По улице прошел монах с кружкой. Он шел, пыля по дороге.

- Опять роковая встреча, - сказал, выходя из пивной, Бархатов. - И вы и он. Пошли тогда на базар.

И старичок поплелся за Бархатовым, а монах, гундося себе под нос все ту же «Афон-гору, гору святую», прошел мимо, никого не видя, не обращая внимания на дома, на встречных, на широкую Купеческую улицу.

На базаре в торговом ряду Бархатов добросовестно стал заходить в

сапожные лавки, приценяться, спрашивать, как идет сапожный товар, много ли мастерских по чинке обуви, принимая все меры, чтобы измотать старичка, затеряться, а потом решить, как себя вести дальше.

Было ясно, что ему не придется воспользоваться ни одним из адресов мильвенских подпольщиков. У него не вылетит пломба, и он не пойдет к зубному врачу Матушкиной. Не будет рисковать он появлением в штемпельной мастерской Киршбаума, где в базарные дни бывает множество разного народа. Нельзя рисковать. За ним следят.

- А к нам кто-то приехал, - сообщила Екатерина Матвеевна вернувшись из школы Маврику. Он вторую неделю жил у тетки.

- Кто?

- Угадай!

Маврик вбежал в большую комнату и увидел сидящего за столом мужчину в темном пиджаке с коротко стриженной русой бородкой и остановился, не узнав своего пермского друга сапожника Ивана Макаровича.

Но когда он улыбнулся, Маврик взвизгнул и бросился к Бархатову.

- Как вы здесь очутились, Иван Макарович?

- Соскучился по тебе. Ты же приглашал...

- Нет, я серьезно...

- И я серьезно. Ты вырос, бараша. Ну, рассказывай, как живешь? спросил Иван Макарович, усадив Маврика к себе на колени. - Кое-что о тебе я уже слышал и даже читал в «Губернских ведомостях». Молодец. И не могло быть иначе. Я же знал, с кем вожу дружбу.



Пока так говорил Бархатов, лаская мальчика, Екатерина Матвеевна думала о Герасиме Петровиче, и опять невольно сравнивала его с этим чужим человеком, которому доставляет неподдельную радость встреча с ее

племянником.

А Маврик думал, как было бы хорошо, если бы Иван Макарович поселился в тети Катином доме. Сначала бы так просто... А потом бы тетя Катя узнала, какой он хороший, как ему скучно жить одному, и, может быть, согласилась стать его женой? А уж он-то захочет. Маврику стоит только попросить его, и он захочет.

А почему бы им не стать мужем и женой? Ведь его второй папа, Герасим Петрович, ничуть не лучше Ивана Макаровича и женился на такой красивой его маме. И дом бы тогда не надо продавать. Зачем же продавать дом, когда в нем есть мужчина? Иван Макарович открыл бы в нижнем этаже хорошую сапожную мастерскую. Вскопал бы заброшенный огород. Купили бы курицу с цыплятами. Цыплятки бы выросли и стали бы большими курицами. Можно бы и лошадь купить. Небольшую такую лошадку. Хотя и не пони, но не такую дурацкую махину, как Воронко у папы. На него и не сядешь. А когда бы Маврик подрос, то сказал бы маме, что он хочет жить с тетей Катей. И мама с папой посопротивлялись бы, посопротивлялись день или два, а потом бы сказали, что, если так лучше для Маврика, они согласны. Тогда бы и у них была своя семья. И у Маврика с тетей Катей и с Иваном Макаровичем была бы своя семья.

Иван Макарович Бархатов думал примерно так же, как и Маврик. Здесь все наводило его на мысли о тихом счастье. И пустующий дом, и глаза Екатерины Матвеевны, теплящиеся кротким зеленоватым светом, излучающие этот свет помимо ее воли, - ведь и цветок расточает аромат, потому что природой дано ему пахнуть и этим заставляя замечать себя.

Это внимание к нему Екатерина Матвеевна объясняет себе как заслуженную плату за добрые чувства к Маврику, а сама разглядывает его тонкий прямой нос, сломанные, как у ее отца, как у Маврика, брови, умеренно светлую, умеренно темную бородку и мягкие пушистые усы. Он не выше, но и не ниже ее ростом. Никакого живота. Грудь сильная, широкая. Курит умеренно. Башмаки чистые. Не блестят, как у заводских щеголей, но и без пыли. Речь плавная. Слов много. Начитан. Мог бы, наверно, занимать место ничуть не худшее, чем Герасим Петрович. И так рано потерял жену! Хочется помочь ему. И если он устроится в Мильве, то она непременно познакомит его с молодой вдовой Фанечкой Красильниковой. И как знать, может быть, она понравится ему. А уж он-то ей - без всякого сомнения. И она с удовольствием станет его женой.

Иван Макарович не спускает со своих коленей Маврика, и он не чувствует себя маленьким, которого гладят как ребенка, а, наоборот, считает, что на коленях сидеть удобнее, чем рядом, хочет ласки сильных

мужских рук, и ему даже приятно молчать. Не все же скажешь. И не все нужно говорить.

Белая скатерть. Румяные пирожки. Чай со сливками. Безукоризненная чистота. Чистота во всем. Чистота стен, протертых стекол окон, блестящего пола. Чистота ее голоса, глаз, слов и мыслей. Главное, мыслей. Разве и не в этом счастье человека? Она же ничего-ничегошеньки не знает. Иван Макарович мог бы явиться в Мильвенский завод и назваться слесарем-лекальщиком-механиком, а затем показать, что может он делать, какое родовое наследство мастера приняли из отцовских рук его руки. И он не посрамил бы эти стены зашеинского дома, и она гордилась бы им. Но зачем думать об этом Ивану Макаровичу, когда в любой день его могут арестовать, а затем отправить по той же дорожке в каторжные края, в кандалные места, где он уже был дважды.

Еще два дня тому назад, перед отъездом в Мильву, все казалось благополучно, а вчера, в Перми, на пристани, Иван Макарович почувствовал за своей спиной чужие глаза.

VI

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, опередив Бархатова и появившись у пристава Вишневецкого, сказал, что теперь он сам будет вести наблюдение за тихомировским домом, а для этой цели просил немедленно поселить его в доме купца Куропаткина, в одной из комнат второго этажа, из окон которой виден тихомировский дом.

Купец Куропаткин не стал спрашивать, «зачем и для чего» в его дом пришел неизвестный, ответил Вишневецкому любезным согласием и предоставил свой кабинет с телефоном.

Агенты тайной службы слонялись возле дома сами по себе.

В соседних дворах тоже были «глаза», которые могли заметить всякого, перелезшего через тихомировский забор.

Напряжение сыщиков достигало высшего накала. Кто-то да придет к Тихомирову сегодня или завтра. И если связным не окажется подозреваемый Бархатов, то попадется другой, может быть еще и не приехавший сегодня в Мильву. Ничего, придет завтра, никуда не денется.

Ждать долго не пришлось. У тихомировского крыльца появился небритый студент с книгами. Он вошел в дом и не вышел из него. У ищеек стучали от радости зубы. Но пристав разочаровал. Студент приехал не к сыну, а к отцу Тихомирову, который пригласил его преподавать историю в предполагаемой прогимназии. Об этом хорошо знал Вишневецкий по переписке генерала Тихомирова и Павлика Кривоногова (так называли студента в тихомировской семье).

Напрасно было бы подозревать и старую Милентьиху, которая ежедневно приносила Тихомировым молоко. Вне подозрения был и почтальон. И уж тем более нельзя было заподозрить пыльного монаха в старой скуфье, заходившего в магазины и в дома, что побогаче, за медяками на построение храма. Он зашел и не мог не зайти в заметный старинный с мезонином дом Тихомировых. И, зайдя, пробыл там не более, чем в других домах, и вышел, неодобрительно махнув рукой, - видимо, пожертвование не оказалось щедрым или вовсе его не было. Монах поплелся, пыля, в магазин колониальных товаров.

Терентия Николаевича Лосева, ходившего к Тихомировым колоть дрова, подметать двор, как он это делал во многих домах, тоже никак нельзя было принять за связного. Тем более этого сделать было нельзя,

потому что Терентий Лосев, не заходя в дом, разговаривал с Валерием Всеволодовичем через открытое окно. И тот попросил Лосева передать Маврику, что завтра состоится обещанная рыбная ловля спиннингом.

Беспечное лицо Тихомирова, появившегося на улице, поражало следователя. Он не мог быть таким, ожидая связного. А вдруг Тихомиров не знает ничего о связном и узнает только после встречи с ним, когда тот привезет ему документы?

Валерий Всеволодович вышел из дома насвистывая и направился в галантерейный магазин, где продавались и рыболовные принадлежности. Один из тайных агентов последовал за ним.

В магазине были куплены два десятка различных блесен и два небольших спиннинговых удилица.

- Начался жор, - сообщил он приказчику. - И завтра от меня и от моих маленьких друзей не уйдут изголодавшиеся за зиму щуки.

Теперь оставалось выяснить, куда пойдет он завтра ловить щук. Может быть, эта ловля всего лишь повод для встречи с тем, кто приехал? Это не исключено.

И пока пристав обсуждал, как будет осуществлено наблюдение, в дом Зашеиных пришел Шитиков - местный агент страхового общества «Саламандра».

Он принялся убеждать Екатерину Матвеевну, что ей гораздо выгоднее перестраховать свой дом от огня в обществе «Саламандра», более надежном, нежели «Россия».

Екатерина Матвеевна, желая как можно скорее выпроводить прилипчивого Шитикова, сказала:

- Ну что это вы, право, в базарный день, и к тому же у Маврика гость из Перми.

А Шитиков и не думал уходить, потому что гость-то и нужен был ему.

- Может быть, вы, почтеннейший гость, убедите Екатерину Матвеевну и подтвердите, как много в вашем губернском городе на уважаемых домах прибито вот этих самых бланочков, - сказал он, предъявляя жестяную красочную вывесочку страхового общества «Саламандра», а затем, как бы кстати, спросил: - Надолго ли, прошу прощения, прибыли в наши края и не интересуетесь, случайно, штучными ружьями фирмы Петрова, в коей я имею честь состоять представителем? Есть такие ружья, что в Перми можно взять за них и втрое, а уж вдвое-то - гарантирую.

- Спасибо, - ответил Иван Макарович, глядя в шустренькие заискивающие глазки. - Я ведь проездом. Уезжаю сегодня с ночным в Чердынь.

- Чердынь? Да что же там делать? Зачем же в Чердынь?

Бархатов ответил:

- Если вы принимаете во мне такое участие, то извольте. В Чердыни есть работа по сапожной части. Я ведь сапожник.

- Сапожник? А не похоже, совсем не похоже. Вы больше на образованного смахиваете.

- Да ведь мало ли кто на кого смахивает, да не бывает им. Имею честь. Мне еще надо позаботиться о лошади на пристань. Часиков в шесть я выведу, чтобы не запоздать.

- Счастливого вам. Желая здравствовать, Екатерина Матвеевна. Надеюсь в дальнейшем уговорить... До свиданья.

Агент «Саламандры» узнал все, что ему нужно было узнать, и с Бархатова было снято подозрение. Если он, не побывав ни в одном из «учетных» домов, едет в Чердынь, значит, он действительно ищет работу и за ним напрасно следили.

Вскоре в доме Зашеиных появился Терентий Николаевич Лосев и передал Маврику приглашение Валерия Всеволодовича на рыбную ловлю.

- Ну вот, бараша, - обрадовался не менее Маврика Бархатов, - теперь дело в шляпе. Готовь большой кошель для улова.

После Лосева пришел Артемий Гаврилович Кулемин и попросил у Екатерины Матвеевны дать ему вместо якорька железную «кошку», на которую «ах как хорошо ставить лодку посреди пруда».

Артемий Гаврилович очень сожалел, что ему не придется порыбачить на Омутихинском прудке, куда завтра отправляется Тихомиров с мальчиками. Кулемин превосходно вел свою роль.

Он, будто только сейчас заметив своего друга Бархатова, смутившись сказал:

- Не сердайте, пожалуйста, на серость, не разглядел. Вы, главное, против солнышка. Будем знакомы. Кулемин. Артемий. Ихний, то есть Екатерины Матвеевны, сосед.

Любуясь товарищем, Иван Макарович назвал по фамилии и спросил о рыбалке, и Кулемин принялся отвечать:

- На Омутихинском прудке прехорошая рыба берет. И главное, недалеко. Выйдешь на Старо-Мощеную улицу и все большаком, большаком до шестой версты. А от столба шестой версты такая красотющая дорожка через ивнячок да тальничок, что и не заметишь, как дойдешь до лесной вышки. Под вышкой, как полагается, перекур, а от нее старая мельница как на ладошке виднеется. Не поверите - вот такие лещи случаются... Жаль, что молодой Тихомиров едет туда, - сказал, вздохнув, Кулемин. - Я с утра

знал, что хорошего ждать нечего. Монаха встретил. В аккурат он из тихомировского дома вышел... Верная неудача. Хоть бы поп, а то монах, да еще с кружкой...

Так Иван Макарович узнал все, что ему было необходимо.

VII

Около шести часов вечера Яков Евсеевич Кумынин подал свою Буланиху, запряженную в ходок с коробком.

Иван Макарович Бархатов трогательно прощался с Мавриком:

- Бараша-кудряша, теперь мы, наверно, увидимся не скоро, но ты знай, что мы с тобой обязательно увидимся.

- Иначе не может быть. И лучше бы, если скорей, - призналась Екатерина Матвеевна. - Он так любит вас.

- Да ведь не любовь управляет людьми. Человек предполагает, а обстоятельства располагают... Мы обязательно увидимся, Екатерина Матвеевна.

Бархатов говорил так, будто он уезжал не в Чердынь, а куда-то очень далеко и надолго.

Екатерина Матвеевна, не сдержав слез, объяснила это тем, что ее всегда трогает любовь к Маврику. И для того, кто его любит, ей ничего не жаль, даже... Даже своего здоровья, которое тоже нужно для Маврика.

Буланиха ленивой рысцой протащила ходок по Купеческой улице, и следователь видел из окна куропаткинского дома уезжающего на пристань Бархатова.

- Значит, не он? Так кто же?

Нелегко, ой как нелегко сидеть в комнате с закрытыми шторами, когда на улице такой розовый вечер, а в Перми? В Перми уже открылся загородный сад, и там столько шляпок...

Ну где же ты, проклятый связной? Когда же можно будет наконец сказать: «Вы арестованы!» Затем обыск. Предварительный допрос. И все. Пропади ты пропадом, Мильва.

Появляйся же ты скорее, безмозглый осел...

Иван Макарович, рассчитавшись с Кумыниным, отправился на пристань. Осмотревшись там, он решил побродить по берегу. А потом, убедившись, что за ним никто не смотрит, зашел в лесок, а затем исчез.

Ивану Макаровичу не нужны дороги. Он не сбивался с пути, убегая с каторги, а тут-то уж никак нельзя заблудиться.

Всю ночь не смыкал глаз следователь. Ночь - наиболее вероятное время для встречи подпольщиков. Но ни одна душа не постучалась в тихомировский дом и не задержалась возле него. И только утром появились два мальчика.

- Мы пришли, Валерий Всеволодович! Вставайте! - крикнул в окно Маврик.

- А я тоже в сапогах! Мне тоже купили сапоги, - сообщил Илья.

- Тише вы... Разбудите бабушку, - предупредил через окно старший племянник Валерия Всеволодовича. - Мы сейчас.

Ждать пришлось недолго. Сначала появился с удилицем в чехле Викторин, а за ним его дядя.

- Это тебе, Маврикий, а это тебе, Илья. - Валерий Всеволодович подал мальчикам удилица в таких же клетчатых чехлах, как и у Викторина. Рассматривать будете потом. Хорошо ли вы одеты? - Он осмотрел их и сказал: - Преотлично. Теперь за мной.

И они пошли. Следователь знал, что Тихомиров никуда не уйдет от тех, кто будет следовать за ним. Хотя ему и казалась в данном случае слежка излишней. В самом деле - зачем следить за ним так открыто? Не пойдет же он вместе с мальчиками на встречу с кем-то и тем более не побежит за границу в этом легоньком брезентовом плаще, в старой фуражке и в охотничьих сапогах. Но все же приставу нужно было позвонить. И он позвонил.

- Не извольте беспокоиться, - ответил Вишневецкий. - Они отправились на мельницу. Мне сообщили. Куда же им еще... Их будут сопровождать двое вооруженных рыбаков. Можете ложиться спать.

- Да что вы?.. Как можно? - сказал Саженцев и повесил телефонную трубку.

Связной мог прийти и в отсутствие Тихомирова. Главное - терпение и спокойствие. Может быть, Тихомиров нарочно придумал рыбалку, чтобы отвлечь внимание от своего дома? Не выйдет, милостивый государь, не выйдет!

Миновав концы Мильвы и выйдя на мощный булыжник большак, Валерий Всеволодович заметил, что за ними идут двое с удилицами. Он скомандовал:

- Спиннингисты, привал!

Мальчики, усевшись на плащ, перебивая один другого, говорили о щуках. Маврик не верил, что на крючок с блесной можно поймать щуку без всякой приманки. А Викторин уже ловил щук на блесну и обстоятельно рассказывал, как хищница щука принимает блестящую блесну за рыбку и хватает ее.

Валерия Всеволодовича занимали другие щуки. Они остановились и тоже решили сделать привал.

Тихомиров и мальчики двинулись дальше. Поднялись и двое идущих

позади.

- А не лучше ли нам, - предложил Валерий Всеволодович, - спрямить путь и пойти через этот луг?

Все согласились. Лугом куда интереснее идти, чем по булыге.

Идущие позади тоже свернули на луг. Это уже было слишком. Валерий Всеволодович предложил новый привал, хотя в этом не было никакой надобности. И ребята снова сели на разостланный плащ. Когда же остановились и те, двое, Тихомиров направился к ним.

- Судари, - обратился он, - нельзя ли хотя бы немного отстать? Это роняет меня в глазах племянника. Он уже все понимает. Ведь я же не арестант.

Один из рыбаков, оказавшийся наиболее наглым, ответил на это:

- Вы сами по себе, мы сами по себе. Для нас нет запрета ходить, где мы желаем.

- Хорошо. Вам никто не может запретить этого. Как никто не может запретить и мне письменно заявить губернатору, что вы слишком грубые... р-рыбаки. Возвращайтесь!

Гонор сразу покинул обоих. Они остались сидеть. Тихомиров с мальчиками вернулся на большак. Их более не преследовали. Но не прошло и получаса, как послышался конский топот. Кто бы это мог?

Это был пристав Вишневецкий.

- Ба-а! Валерий Всеволодович! В такой компании! Куда же?

- В Женеву. В Швейцарию, милейший Ростислав Робертович, - негодуя, ответил Тихомиров.

Вишневецкий расхохотался так раскатисто, что его серый рысак, пугливо оглянувшись, зашевелил ушами.

- В таком случае садитесь... Вам предстоит длинный путь. - И снова, раскатисто смеясь, принялся рассыпаться в комплиментах: - В Мильве нет более остроумного человека, нежели вы...

Вишневецкий хотел еще раз расхохотаться, но не получилось. И он повторил:

- Садитесь же...

- Да нам же осталось двести - триста шагов...

- Все равно. Мне будет приятно доставить на мельницу такую милую компанию.

- Ну что же... Садитесь, ребята...

Мальчики влезли в пролетку. Кто сидя, кто стоя добрались до мельницы.

VIII

Омутихинский пруд был молчалив и угрюм. Приехавшие открыли дом. В него еще не входили после минувшей осени. Пахло мышами и мочальными матрацами.

- Благодарю вас за любезную доставку, - сказал Тихомиров, протягивая руку Вишневецкому.

А он:

- Напрасно вы хотите выпроводить меня так скоро и лишит зрелища ловли щук.

- Как вам будет угодно, Ростислав Робертович... Побудьте здесь, в этой компании, а я пройду по камышам и посмотрю, где посуше, чтобы не утопить моих молодых людей. - Он посмотрел на мальчиков и сказал, уходя, племяннику: - Викторин, не забудь отдать Голиафу кости.

- Я с вами, я с вами... - забеспокоился Вишневецкий. - Что же я буду тут делать, в этом слишком серьезном обществе? Я не отстану от вас.

На это Валерий Всеволодович едва заметно улыбнулся и сказал:

- Вы тоже очень настойчивый рыбак... Извольте, пойдем вместе, если вы не боитесь увязнуть. Не сердитесь. Я предупреждал вас.

И они пошли вдоль камыша к вершине пруда. Мельница осталась далеко позади.

Болотная птица чувствовала здесь себя в безопасности. Мильва рядом, всего верст пять-шесть по прямой, а тут таежная глушь.

- Вон видите, - указал на селеня Тихомиров, - попробуйте его из пистолета.

- Да я же выехал налегке. Промать Серого. При мне ничего, кроме перочинного ножа.

- Как же это вы? А из чего же вы будете стрелять мне в спину, когда я побегу в Женеву?

- Да что это, право, далась вам сегодня эта Женева! Сказали бы хоть уж в Париж.

- Там меня никто не ждет!

- А в Женеве?

- Ждут.

Шутка чем-то походила на правду, но и не походила на нее чрезмерной прямоотой.

Когда Тихомиров и Вишневецкий дошли до тихой заводи, то увидели в

камышях на берегу двух удильщиков. Они, не обращая внимания на подошедших, следили за поплатками.

- Как ловится, господа? Доброе утро.

- Хуже нельзя, - ответил один из них, в котором Тихомиров не сразу узнал монаха, приходившего к нему. - Можно сматывать удочки! Зачем же время терять!

Другой рыбак, которым был Иван Макарович Бархатов, спросил:

- А вы с господином полицмейстером тоже, никак, рыбного счастья решили попытаться?

- Да нет, - ответил Тихомиров, - господин пристав не рыбак. Он просто любит наблюдать за рыбаками. Не правда ли, Ростислав Робертович?

- О чем вы, милейший Валерий Всеволодович?

- Все о том же... Впрочем, хватит об этом. Кажется, уже подали лошадей...

- Д-да! Они ждут давно.

Вишневецкий побледнел:

- То есть как? Каких лошадей? Зачем?

- Я же вам сказал о своем отъезде в Женеву...

К Тихомирову в это время подошел Иван Макарович и его товарищ. Иван Макарович сказал:

- Господин полицмейстер, я надеюсь, что вы будете благоразумны и кинете в воду пистолет, рукоятка которого торчит у вас из правого кармана. Вы один, а нас не трое...

- Мне очень прискорбно, - сказал Тихомиров, - но я же предупреждал. Бросайте ваш пистолет в воду.

Вишневецкий выполнил требование, но пистолет был брошен слишком близко у берега. Иван Макарович достал его из воды и бросил вглубь.

- Теперь второй, - попросил Тихомиров, - тот маленький браунинг, который вы всегда носите при себе.

- Извольте, Валерий Всеволодович. Извольте! - сказал Вишневецкий, на лице которого проступили белые пятна.

Второй пистолет, булькнув, исчез под водой.

- Еще два слова, - предупредил Бархатов. - Папаша Валерия Всеволодовича не знает обо всем этом. И если вы, господин полицмейстер, позволите себе преследовать генерала Тихомирова... Не обессудьте, коли и вас не оставят без внимания. Это - одно. А второе - мальчикам не нужно сообщать о нашем разговоре. И вообще... Ушел и ушел Валерий Всеволодович... Затерялся в лесу, и вся недолга...

А мальчики не нуждались в сообщении пристава. Все происходило на их глазах. Они, посидев в одиночестве несколько минут, решили отправиться лесом к вершине пруда. Туда, где предполагался лов. На опушке леса их остановил незнакомый. В сапогах и с ружьем.

- Туда нельзя, - страшным шепотом сказал он. - Ложитесь и не шевелитесь.

И мальчики пролежали все это время в ельнике. Маврик увидел Ивана Макаровича и узнал его. Не все было понятно, что говорил он приставу, но все же слышно. Мальчики слышали, как Бархатов сказал:

- Теперь садитесь на бережок. Здесь сухо. Вам нужно просидеть тут не менее двух часов, чтобы потом благополучно и невредимо вернуться домой. Не позабудьте, что нас не трое... А место здесь глухое.

Тем временем Валерий Всеволодович уходил со вторым высоким мужчиной в лес вдоль берега Омутихи. Иван Макарович шел последним. Он не шел, а как бы пятился, не сводя глаз с пристава.

Пристав сидел опустив голову. Он думал не о том, что из его рук выскользнул Тихомиров и еще двое. Он думал о том, что теперь будет с ним.

Но кто может узнать, как это все было. Ведь не пойдут же доносить на него те, кто, наверно, сейчас не выпускает его из поля зрения. Он придумает невероятное, которому поверят все и его превосходительство господин губернатор.

Послышался отдаленный голос, затем конский топот. Это была не одна лошадь и не одна телега.

Пристав не подымал головы. За ним зорко следили глаза токаря из Гольянихи, которого не знал ни Маврик, ни Илья, ни тем более Викторин. За ним следили глаза Артемия Кулемина, еще вчера, до полуночи, встретившего на шестой версте Бархатова и «монаха». У Кулемина был хороший полицейский пятизарядный смит-вессон. Он бил не так далеко, зато верно. Киршбаум и старик Емельян Кузьмич Матушкин находились по ту сторону Омутихи с дробовиками. Матушкин был очень доволен, что его предусмотрительная охота не оказалась напрасной предосторожностью.

Ищи теперь ветра в поле.

Доброй вам дороги, дорогие товарищи. Емельян Кузьмич Матушкин сегодня был счастлив дважды. Спасся от неминуемой каторги хороший товарищ, стойкий подпольщик, активный деятель партии. А кроме того - муж его дочери. Отец его внуков. От этого тоже никуда не уйдешь - всегда будут дороги дети и милы внуки.

Наверно, придет время, доживет Матушкин до счастливой поры, когда

тоненький родной голосок будет называть его дедом.

IX

Снова пришла весна, да не столь красна, какой она снилась, какой выделась.

Потрясение за потрясением. Нелегким открытием для Маврика было событие на Омутихинском пруду. Такой хороший, такой близкий, почти родной Иван Макарович, за которого ему так хотелось выдать замуж тетю Катю и жить с ним в дедушкином доме, оказался политическим. И это нужно скрывать ото всех и от тети Кати. Ильюша и Санчик не видали Ивана Макаровича, когда он приходил к Маврику. И они не знают, что Маврик знаком с ним. И об этом знакомстве им ничего не будет сказано. Зачем? Илька может разболтать дома, а Григорий Савельевич в хороших отношениях с приставом. Нужно молчать.

То, что политическим оказался Валерий Всеволодович, - это не так удивительно. Про него и раньше рассказывали всякое. Но все же... Дворянин - и вдруг... Видимо, и среди дворян встречаются разные люди.

А уехавшая будто бы в Казань Елена Емельяновна Матушкина, значит, тоже... Она же теперь его жена. Не мог же политический Валерий Всеволодович жениться на неполитической Елене Емельяновне. Ильюша говорит, что не мог. И Маврик тоже считает, что не мог.

Но кто скажет, кто объяснит, кого можно спросить, почему политическими бывают такие хорошие люди? И не просто хорошие, а самые лучшие их тех, кого знает Маврик. Артемий Гаврилович Кулемин хотя и перестал, но был все же политическим, только никому не говорит этого, как не говорил никому Иван Макарович. И кто скажет и кто докажет теперь, что быть политическим - это позор и ужас?

А позор ли? Ужас ли? Неужели Иван Макарович может желать для людей плохое, а пристав Вишневецкий - хорошее? Ведь он хотел посадить в тюрьму Валерия Всеволодовича и следил за ним, как собака Пальма за утками.

Тесно в голове Маврика. Ему иногда очень трудно дышать, а поговорить не с кем. Разве только с Артемием Гавриловичем, да и то... Можно ли довериться ему во всем?

Дни стоят ясные, а кругом тучи. Вчера к тете Кате приезжал помощник пристава. А сегодня тетя Катя ушла в полицию. Уходя, она сказала:

- Маврушенька, как мы неосторожны с тобой. Иван Макарович оказался вовсе не тем человеком, за которого мы его принимали.

- А каким? - тревожно спросил Маврик.

- Когда узнаю, скажу. Я, наверно, скоро вернусь из полиции. Жаль, что сам пристав уехал в Пермь. Он вежливее. Побудь дома.

И ушла. Но Маврик не стал сидеть дома. Он побежал к Артемию Гавриловичу. И Артемий Гаврилович сказал:

- Поймали одного из тех, с кем скрывался Валерий Всеволодович. Его заставляют сознаться, что он Бархатов.

- Какой Бархатов? - дрожащим голосом спросил Маврик.

- Да тот, что был у тебя в гостях. И твою тетю Катю пригласили в полицию, чтобы она узнала его.

- И она... она, вы думаете, Артемий Гаврилович, узнает его? - спросил Маврик, трепеща всем телом.

- Не знаю, - уклонился от прямого ответа Кулемин. - Но если это он, то как она может не узнать? Не узнает она, заставят узнать тебя.

- А вы думаете, меня тоже...

- Уверен!

Маврик умолк, теребя листки герани, росшей на подоконнике дома Кулеминых.

- Иван Макарович так изменился за этот год, и я не узнал его, когда он приехал к нам, - заговорил снова Маврик. - А теперь он, наверно, еще больше изменился, и я, наверно, совсем-совсем не узнаю его.

Кулемин вдруг схватил Маврика и посадил его к себе на колени. Точно так же, как это делал Иван Макарович.

- Тебе нельзя не узнать его, - наставительно сказал Маврику Кулемин. - Не узнаешь ты, узнает «Саламандра».

- Какая саламандра?

- Страховой агент Шитиков, который заходил к вам, когда у вас был Бархатов. Узнавай... узнавай... Его теперь так и так ты не спасешь.

Тетя Катя вернулась из полиции радостная.

- Ты знаешь - это не он. Это совсем другой человек.

Но Маврик был уверен, что это был он и тетя Катя не захотела его узнать, и Маврик решил спросить ее подробнее, но за окнами послышались голоса:

- Барклай! Ты нам нужен!

Это был Юрка Вишневецкий со своими уланами.

- Зачем? - спросил Маврик через окно.

- Выйди. Ты нужен, - позвали они.

- Иди, иди, Мавруша... Они хотят, чтобы ты узнал его, но ты не узнаешь в нем Ивана Макаровича...

Маврик вышел на улицу. Его потянули за руки. Юрка сразу же объявил:

- Поймали каторжника, а он не хочет говорить, что это он. А ты узнаешь его? Пойдем.

И Маврика привели.

- Вот он, Толлин. Барклай.

- А-а-а! Здравствуйте, мой маленький друг... - сказал помощник пристава и протянул руку. - Одну минуточку. - Он позвонил настольным колокольчиком с костяной ручкой.

В ответ на звонок полицейский ввел мужчину со связанными руками, с синяками на лице. Рукав его пиджака был наполовину оторван.

- Узнаешь? - спросил помощник пристава.

- Нет, - ответил Маврик.

- Как же нет? Ты всмотришься. Разве это не сапожник Иван Макарович Бархатов?

- Нет, - обрадованно повторил Маврик.

- Не может быть, это он.

- Если не верите, можете спросить «Саламандру»...

- Какую саламандру?

- Того, что страхует дома от пожара...

- А-а-а... Шитикова. Непременно, непременно, как только вернется. Он, кажется, был у вас, когда приезжал к тебе твой друг сапожник. Где же он?

- В Чердыни, - твердо ответил Маврик. - Его тогда отвез на пристань Яков Евсеевич Кумынин. Можете спросить, если не верите.

- Нет, зачем же - я верю...

Когда увели арестованного и помощник пристава остался вдвоем с Мавриком, был задан новый вопрос:

- Тебе нравится твой сапожник?

- Очень, - ответил Маврик.

- Он хороший человек?

- Да, - не задумываясь ответил Маврик.

- Я так же думаю, - сказал помощник пристава. - Я очень доволен, что Бархатов хороший человек. Беги, мой друг. Играй.

И Маврик убежал, твердо зная, что теперь он тоже такой же политический, как Иван Макарович, как Валерий Всеволодович.

Неделю спустя пришла открытка из Чердыни от Ивана Макаровича. Он писал: «Дорогой бараша-кудряша, в Чердыни тоже не повезло, и я поехал на Волгу. Найду же где-нибудь городок, где можно будет открыть

сапожную мастерскую...» Далее он передавал поклон Екатерине Матвеевне и сожалел, что она перекармливает отличного песика Мальчика, который может зажиреть и превратиться в ленивую дворняжку.

Как мог Иван Макарович оказаться в Чердыни и зачем - Маврик не мог и представить. Может быть, открытку написал кто-то другой? Это вернее всего.

Посоветовавшись с тетей Катей и с Артемием Гавриловичем, он снес открытку в полицию и передал самому Вишневецкому, вернувшемуся из Перми.

Этот вертлявый враль счастливо вывернулся, рассказав, как на Омутихинском пруду он был избит, связан и обезоружен. Ему поверили. Его благодарили.

- Вот, - сказал Маврик, - про Ивана Макаровича говорят, что он будто бы убежал с Валерием Всеволодовичем за границу. А он вовсе не убежал. Читайте, пожалуйста, Ростислав Робертович.

Вишневецкий прочитал открытку. Поблагодарил Маврика. А потом, оставшись один, он постарался поверить, что человек, бежавший с Тихомировым, не был Бархатовым, а всего лишь походил на него приметам, имевшимися в деле. И очень хорошо, что бежавшие не пойманы. Вишневецкому не хочется, чтобы они попадались... А если попадутся, тогда, пожалуй, ему придется скрываться самому. Ведь он же обманул губернатора.

Между тем Бархатов и Тихомиров благополучно перебрались за границу. Об этом уведомила сестру Елена Емельяновна, прислав ей из Праги каталоги зубоврачебных принадлежностей, читая которые умеючи можно было узнать не так уж мало.

Бархатов не долго проживет за границей. Он вернется в Россию под новой фамилией, как только будет добыт хороший паспорт и отрастет борода, достаточная для того, чтобы выглядеть солидным человеком из коммерческого мира.

А о Валерии Всеволодовиче сообщали газеты. Он дал о себе знать первой же появившейся статьей. Его по статье узнали близкие ему люди, узнали и те, кто называл его «неуязвимый трубадур». Теперь это прозвище охраны получило особое звучание.

Для успокоившегося Маврика весна могла стать хорошей. Иван Макарович во всех случаях на свободе. Тетя Катя сумела объяснить приставу, как произошло знакомство с Бархатовым и почему он привязался к ее племяннику. Она также, ссылаясь на открытку, поколебала пристава в причастности Бархатова к политике.

- Если бы он был таким, - сказала она, - зачем бы ему так открыто писать о себе нам? Ведь мы-то ему никто, как и он для нас чужой человек.

И пристав окончательно поверил, что за Бархатова он тогда в вершине пруда принял другого человека.

Весна могла стать хорошей, а лето еще лучше. Герасим Петрович предложил пасынку пожить в Омутихе у бабушки Ирины. Туда же будут по субботам наезжать отец и мать с маленькой Иришей, которой тоже нужен воздух. И Маврик ждал переезда в деревню. Она его манила и потому, что в одной версте, на мельнице, будут жить Тихомировы, и он может хоть каждый день встречаться с Викториним, Владиком и видеть Леру. Все складывалось очень хорошо, да нескладно сложилось. Новая учительница, заменившая Елену Емельяновну, заявила матери Маврика, Любове Матвеевне:

- У меня, госпожа Непрелова, нет времени возиться с вашим ленивым сыном и тянуть его за уши, лишь бы перевести в третий класс. Он будет оставлен на второй год.

Любовь Матвеевна, вернувшись из школы, накричала на Маврика. Отчим на этот раз во всеуслышание назвал его петрушкой и лодырем. Мать плакала и обещала запереть опозорившего семью Маврика на все лето в квартире и, как арестанту, разрешать ему выходить один раз в день во двор. Любовь Матвеевна напомнила Маврику и об Иване Макаровиче:

- Еще тогда, еще в Перми, я запрещала тебе видеться с этим сапожником... А ты... ты обманул мать... Ты хочешь прямо из школы в «золотые роты». Если тебя в девять лет вызывают в полицию, так в десять ты будешь сидеть против старого кладбища, - намекала она на пермскую тюрьму.

Маврик выплакал все слезы. Он сидел, забившись в угол темной комнаты на сундуке, где спала Васильевна-Кумыниха, когда она жила у Непреловых.

Казалось, что в жизни у Маврика уже не будет ничего хорошего. Он

петрушка, он лодырь. Его дорога в «золотые роты».

Как жить теперь, тетя Катя? Почему ты не приходишь? Или ты тоже сердисься на второгодника, который опозорил и тебя?

Нет, ты торопишься, Маврик. Твоя тетя Катя не сидит сложа руки. Она уже побывала в школе и пообещала, что к осени ее племянник будет знать все необходимое для перехода в третий класс. И в школе сказали, что переход в третий класс Толлина будет решен в первых числах августа.

Но и это еще не все, что произошло и о чем не знал Маврик. У него нашелся друг, куда более сильный и влиятельный. Друг, которому Мавриков папа должен был сказать:

- Здравствуйте, ваше превосходительство... Милости прошу. Проходите, чем обязаны?

Этого друга Маврика папа не мог не назвать вашим превосходительством, потому что жена генерала тоже «превосходительство». И когда Варвара Николаевна Тихомирова пришла к Непреловым, она сказала:

- Ничего особенного, Герасим Петрович и Любовь Матвеевна, не произошло. Маврикий и не мог не остаться на второй год. Такой уж он у вас... фантазер и мечтатель... Моя невестка Елена знала эти особенности мальчика и занималась с ним и с другими после уроков, а новенькая учительница не захотела или не сумела поступать так...

Герасим Петрович не смел сесть при генеральше. Годы солдатчины вбили ему в голову и последующие годы не выбили из нее страх перед «превосходительствами», независимо от того, при лампасах «они» или без них. И он говорил только «так точно» и «как изволите». Маврику жаль было папу, и он стыдился за него.

Варвара Николаевна сказала:

- И незачем ему переходить в третий класс этой школы, немногим лучшей, чем нагорная. Этой осенью открывается прогимназия с подготовительным классом. И если вы, Герасим Петрович, не будете против, то ваш сын, уверяю вас, выдержит экзамен в подготовительный класс на круглые пятерки.

- Как изво... как вам будет угодно, ваше превосходительство, ответил Герасим Петрович.

- Да, - подтвердила Любовь Матвеевна. - Это самое лучшее. Маврик, где ты?

Но Маврик не появлялся.

- Он придет сегодня же ко мне, и я поговорю с ним очень серьезно и очень строго, - сказала, уходя, Варвара Николаевна.

Маврик вскоре отправился к Тихомировым.

Лера встретила его молча, но сочувственно. Ее глаза не оправдывали второгодника, но в них не было презрения к нему.

Она провела его к бабушке.

- Вот что, государь мой Маврикий Толлин, - начала Варвара Николаевна, усадив Маврика в креслице против себя. - Ты уже достаточно взрослый и мужественный человек, и у тебя найдутся силы, чтобы взять себя в руки. Нужна таблица умножения или не нужна, я не буду выяснять, как это делала Лена, твоя учительница Елена Емельяновна. Я тоже не буду убеждать тебя, почему всякий человек... всякий человек, - повторила она, - должен... я говорю, должен и обязан уметь хорошо читать, грамотно писать. Моим детям и моим внукам мне этого никогда не приходилось доказывать. Не буду доказывать и тебе. Ты должен, ты обязан, а когда вырастешь, узнаешь, почему ты должен и обязан. А теперь... Теперь тебе нужно отдохнуть. Две недели. Ни о чем не думать. Переехать в деревню. Бывать у нас на мельнице. Кататься с внуками на Бяшке, которому не нужна никакая таблица умножения, потому что он осел. А через две недели ты каждый вторник и каждый четверг утром будешь приходить ко мне. Я не буду с тобой заниматься. Я буду тебя спрашивать и задавать тебе уроки. А теперь... Танечка, - обратилась она к горничной, - проводите гимназиста Толлина и не расспрашивайте его ни о чем, чтобы он не растерял то, что я ему сейчас положила в голову.

Маврик побежал к тете Кате. Вбежав, он сказал:

- Я поступаю в приготовительный класс, и мне нужно не через две недели, а сейчас... сию же минуту садиться за уроки! Таблица умножения, тетя Катя, это же чепуха... И если я научился бить из рогатки без промаха в копейку, так уж читать-то... писать-то... и считать... - не договорил он, потому что ему не хватало воздуха, сел за свой столик и начал с самого начала: «Осень! Осыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят...»

Ни Санчик, ни Ильюша, ни тетя Катя с этого дня не могли оторвать его от чтения, письма и счета. Он подымался и садился за стол в восемь утра и прекращал свои занятия, когда свисток звал на обед.

Это было трудно. Это было невозможно трудно. Часы издевались над ним. Их маятник качался так же, а стрелки шли медленнее. Иногда они

словно примерзали к циферблату. А он читал.

Доброе солнце не щадило его. Оно заглядывало в окошко, смеялось и манило на улицу. А он закрывал шторой окно и твердил:

- Шестью шесть - тридцать шесть. Шестью семь - сорок два...

Собака Мальчик, к которой так был внимателен он, не платила ему тем же, жалобно подскуливая и тоскуя по своему добром хозяине, мешала писать. А он писал, не пропуская букв, не позволяя им выскакивать за тесные линейки строк.

Санчик, с которым он вырос, которому он помогал учиться в первом классе на круглые пятерки, тоже находил возможным для себя громко вздыхать за окном, и, вместо того чтобы увести Мальчика, он принимался уговаривать его не лаять и этим тоже мешал. И пусть. Маврик все равно выучит и те стихотворения, которые не задавались в школе и которые не нужно было заучивать наизусть.

Уж коли брать, так брать себя в руки...

А тетя Катя? Есть ли на земле кто-то ближе ее?.. Может быть, и будет, но пока нет... Так и она входит в большую комнату и советует сделать маленький перерыв, выйти во двор или пристаёт с выдуманными делами. А он, заткнув уши, решает труднейшие примеры на все четыре действия.

И только один человек из всех, один приходит и спрашивает - не изменил ли он своему слову, не поддался ли он чему-нибудь?.. А потом садится вместе с ним и начинает учить то, что он знает, и то, что ему уже не надо учить. Но ему это надо, потому что нужно для его друга.

- Ах, Иль, как хорошо, что мы с тобой встретились тогда в Перми, в Козьем загоне. Козел теперь я. Загоняй меня, загоняй...

Маврик обнимает товарища, потом просит его побыть злоущей Манефой, а сам остается учеником.

И тот скрипучим голосом Манефы вызывает его и спрашивает сердито, придиричиво... То - сколько будет восемью семь... То велит вычесть в уме из девяноста трех шестьдесят девять, а сам смотрит на маятник часов и проверяет, быстрее ли стал считать Маврик. И снова задает трудное-претрудное и замечает каждую, даже самую маленькую, ошибку, которую бы, наверно, пропустила и Манефа, потому что настоящая дружба не признает поблажек.

Так было до отъезда в Омутиху, но и в Омутихе слышен громкий свисток завода, и никакое журчание речки, никакие пескари, ни крупные налимы, за которыми успешнее охотиться утром, с вилкой, насаженной на палку... ничто не могло заставить взявшего себя в руки, достаточно взрослого и мужественного человека изменить самому себе.

И когда Лера, которая может его заставить сделать все, даже переплыть огромный Мильвенский пруд, пришла в деревню Омутиху и сказала: «Тебя ждут на мельнице, я приехала за тобой на Бяшке» - Маврик ответил:

- Сейчас засвистит, Лера... А до свистка нельзя.

И свисток засвистел.

- Поехали, Лера. Теперь я могу...

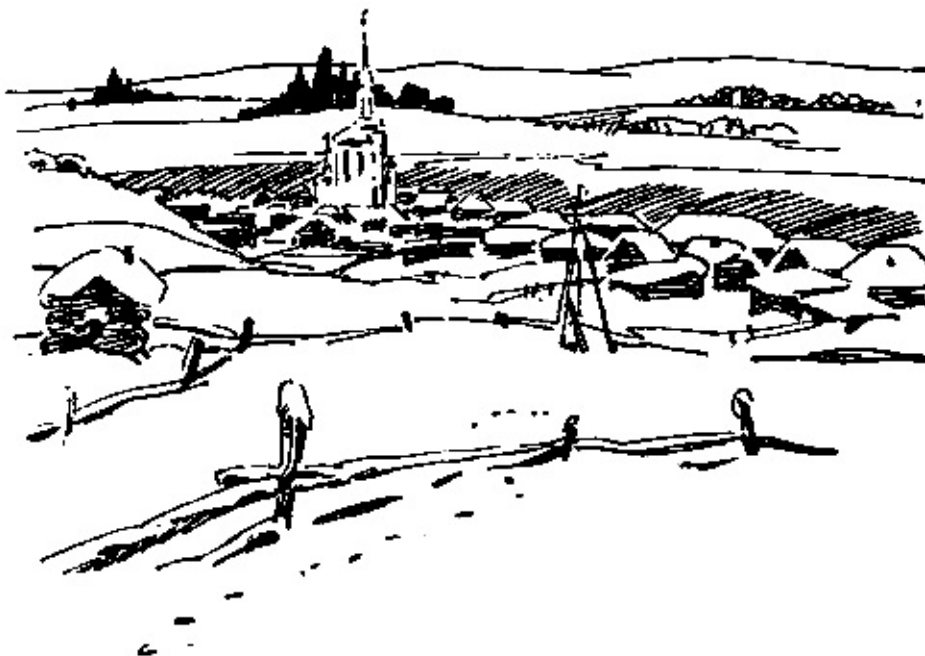
И они ехали в маленькой тележке. Ленивый ослик прытко бежал на мельницу, его, как и Буланиху, возвращающуюся домой, тоже не нужно было понукать.

Как чудесны летом омутихинские поля, как сладко пахнет травами! Как хорошо, что не Викторин и не Владик приехали за ним, а она. Она, сказавшая ему дорогой, как взрослая взрослому:

- Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать...

Ой, как приятно слышать от Леры эти слова! Какой гордостью закипает его сердце! И он готов любоваться собой. Но в это время они проезжают мимо того места, где Иван Макарович разоружал пристава Вишневецкого. И Маврику вдруг становится стыдно за себя. Что сделал он? Какой подвиг им совершен? Что произошло? Ничего особенного - просто-напросто ленивый ученик Толлин нагнал своего успевающего сверстника Киршбаума. Только и всего.

Походить на Ивана Макаровича Бархатова не так-то легко и просто...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

В Мильве открылся и успешно работал кинематограф, названный «Прогресс». Для тех, кто впервые видел на экране движущихся людей, волнующееся море, шевелимые ветром листья деревьев, бегающих животных и все, что стало большой ожившей фотографией, этот электротئاتр оказался волшебным без преувеличений.

Люди, не выезжавшие из Мильвы, а таких было множество, увидели не только другие города, но и другие страны. Семья Шишигиных, открывая «Прогресс», не ошиблась в предпринимательских расчетах. Сеансы, особенно вечерние, давали большие прибыли. Появилось сравнительно доступное зрелище, если не считать спектаклей комаровского общества любителей драматического искусства. Ради этих редких спектаклей нужно было терять весь вечер, получше одеться и тоже платить за билет. А за что? Что там увидишь? Переодетых знакомых людей с наклеенными бородами, с наурмяненными лицами, подчеркнутыми бровями, которые изображают князей, боярынь, купцов, помещиков... А в «Прогрессе» уплатишь пятиалтынный - и за полтора часа насмотришься такого, что и за три дня не перескажешь. Убийства гладиаторов... Съедение крокодилами обнаженной красавицы... Бой живого быка с живым тигром... Глупышкин прыгает из окна третьего этажа на проходящий воз, с воза скачет в другое окно... Это же - умереть, уснуть как здорово!

А знаменитый «Пате-журнал», который «все видит, все знает»! Париж и живые парижане. Натуральный пожар с жертвами. Наводнение в Голландии. Работа слонов в Индии. Охота на китов. Карнавал в Венеции. Живой настоящий царь Николай Второй, маленький щупленький, в настоящем Питере. Фабричный труд в Англии. Страхование рабочих в Германии.

Хозяева «Прогресса» Шишигины, заботясь о наживе, доставая новейшие картины, и не представляли, как они расширяли познание

мельвенцев, добрая половина из которых не читала и не писала. Экран «Прогресса» стал окном, пусть не таким широким, но все же окном в большой мир. И многие, смотревшие в это окно, впервые в жизни спросили себя: «А так ли мы живем?» Шишигины, не поверили бы, если бы кто-то им сказал, что «Прогресс» ускоряет приближение их конца, что они продают не билеты на право входа в кинематограф, а торгуют опасными для них познаниями. И что даже такие безвинные картины, как «Ямщик, не гони лошадей», как «У камина», которые, казалось бы, должны вызывать сочувствие к неразделенной или угасшей любви, будят другие чувства. Чувства ненависти к богатым бездельникам, которым некуда спешить и некого любить, которые сидят одиноко в роскоши и переживают, как печально догорает камин.

Появившийся кинематограф позволил побывать людям в закрытом для них мире богатых людей и увидеть его не сочинительски-книжно, а фотографически-правдиво. И этот мир озлоблял. В нем люди ели, пили, любили, разъезжали по балам, по морским райским берегам, утопали в богатстве, изнывали от безделья, искали наслаждений... И простой народ следил не за одним лишь сюжетом, но и за тем, что сопутствовало сюжету. За теми невиданными подробностями, неслыханными деталями, которые неизбежно проникали на экран. И эти подробности развенчивали устройство жизни, распределение благ и в душах тех, кто не задумывался над этим, твердя, как покойная бабка Толлиниха, что все от бога, что кому что дано, тем будь и доволен. А экран ломал эти представления. На экране показывалось, как один разоряет другого, как торжествует в мире мошенничество и грабеж.

В жизни мельвенской детворы «Прогресс» стал самым заманчивым развлечением, и увиденное там переходило в жизнь, в игры, повторялось в школах, училищах. Появился таинственный Зигомар - сотни «зигомаров» появляются в школах. Показали картину о неуловимой Соньке Золотой Ручке на стенах в женской гимназии возникают отпечатки золотой руки.

Учредитель гимназии Всеволод Владимирович Тихомиров, считающий политехническое образование обязательным, старался дать как можно больше знаний своим питомцам. Хотя и бесспорно, что всего не узнать и не изучить, но стремиться знать и уметь как можно больше необходимо каждому. Это и стало основой созданной им гимназии.

Наиболее любознательным было рассказано о кинематографе все, что знал о нем Всеволод Владимирович. И этого оказалось достаточно, чтобы Маврикий Толлин загорелся желанием создавать свои картины. И если у него нет аппарата, которым снимаются эти картины, если даже обычный

фотографический аппарат является предметом недостижимых мечтаний, то почему бы не вообразить, не представить, какие картины он мог бы снять и показать. Первая картина называлась бы «Приготовительный класс». В ней бы он с удовольствием посмеялся над собой и над другими. Можно бы показать, как он, маленький хвастунишка, выскакивает после каждого экзамена и показывает матери пальцами рук - пять. Как на другой день после экзаменов, когда-еще стояла жара, он поспешил обновить свою первую гимназическую шинель. Как глупо он появился в ней на Ходовой улице, желая, чтобы все знали, что теперь он Гимназист.

Ильюша щеголял тогда в форменной фуражке, которую мог тоже бы не надевать до начала учебного года.

Кажется, все это было давным-давно, а в общем-то совсем недавно.

Если б у Маврика был даже обыкновенный фотографический аппарат, то и им бы можно было наснимать множество снимков и составить из них интересные альбомы, страницы которых навсегда бы сохранили то, что прошло и ушло. Ушло навсегда.

Каким бы волнующим мог стать альбом о старом и новом доме!

И Маврик, вместо того чтобы учить уроки, воспользовавшись тем, что дома никого нет, принимается листать в своем воображении несуществующий фотографический альбом...

II

На первом снимке сидит тетя Катя у печки, на низенькой скамеечке, которую ей подарил Терентий Николаевич. Сидит и думает о старом доме. На снимке хотя и нельзя показать мыслей, но можно дать надпись: «Кому продать дом?»

На другом снимке отчим Маврика уговаривает тетю Катю продать дом фирме «Пиво и воды», потому что дом стоит на ходовом месте и в дни получек рабочие обязательно забегут выпить пива.

Тетя Катя не может решиться. Она помнит, что наказывала бабушка, умирая. Нельзя такой известный в Мильве дом продать под «распивочную и на вынос».

Открывается новая страница альбома. На новой странице появляется Всеволод Владимирович Тихомиров. Он говорит, что, конечно, богач Болдырев может заплатить за дом дороже, чем гимназия... Но ведь, кроме денег, есть еще и добрая слава, добрая память.

Тут отчим Маврика говорит, что фирма «Пиво и воды» согласна набавить за дом еще тысячу рублей... И тетя Катя уже колеблется. Но...

Но страница перевортывается, и на ней гимназист Маврикий Толлин. У него совершенно серьезное лицо и совершенно нахмуренные брови. Он говорит:

- Папа, неужели ты не помнишь, как просила бабушка, умирая, чтобы ей с дедушкой было не стыдно зайти в свой дом, когда тетя Катя продаст его?

На лице Всеволода Владимировича появляется хорошая, как всегда, улыбка. Глаза его блестят еще больше, чем стекла очков. Он хочет обнять Маврика. А Маврик произносит такие слова, которые, как острый топор, разрубает все. Он говорит:

- Неужели дедушка с бабушкой могут войти в свой дом, где находится пивная?

Тетя Катя вздрагивает. Вздрагивает и папа. Не вздрагивает только Маврикий Толлин. Он гордо стоит, как князь Серебряный перед Малютой Скуратовым.

Наверно, все это не так хорошо получилось бы на снимках, но все равно, что-то получилось бы... Во всяком случае, можно бы снять, как тетя Катя решает продать дом под гимназию и в знак этого подает свою руку Всеволоду Владимировичу, а Маврикий Толлин торжественно разнимает

руки. И это крепче купчей крепости, которая составляется нотариусом Шульгиным.

А потом новые страницы. Новые снимки.

Плачет тетя Катя. Крепитя, но тоже не может сдержать себя гимназист Толлин в летней фуражке с белым чехлом, в летней блузе с блестящими форменными пуговицами, подпоясанной ремнем с пряжкой, на которой три буквы - ММГ.

Ломаются крыша старого дома. На чердаке все еще лежат пучки лучины, которые нащепал дедушка. Выдираются гвозди старого пола. Скатываются бревна стен.

И всё... Все соседи. Все мальчики - Коля, Федя, Санчик, Яктынко, Сактынко, Ильюша - и все-все жалеют старый дом.

Грустно стоит на дворе за сараем старый пароход. Ломают и его. Затем на месте парохода роют яму и гасят в ней известь.

Прощай пароход. Прощай дом. Но...

Но приходит Всеволод Владимирович и говорит:

- О чем же вы, Екатерина Матвеевна?.. Разве ломают, а не перестраивают ваш дом? Разве пропадет хоть одна половинка кирпича, разве хорошие, старые сухие бревна не станут досками, рамами нового дома, новой гимназии?

И слезы сохнут на тети Катином лице. И тетя Катя улыбается. И есть чему. Потому что на других снимках видно, как поднимаются стены новой гимназии, как поднялась она, белая, оштукатуренная, трехэтажная, с красивым куполом на углу, с лепными украшениями, с балконом на одном фасаде и с четырьмя колоннами на другом, где главный и самый парадный вход.

Снимок отрывного календаря. На календаре уже 1 августа, и в доме работают маляры. Как жаль, что на снимках нельзя показывать краски. Ничего, и так видно, каким красивым стал старый дом.

Память и воображение Маврика листают страницу за страницей альбома, который мог бы быть... А на страницах новые снимки. Некоторые из них тоже шевелятся, как в «Прогрессе», а иногда и разговаривают.

Множество народа. Пришли почти все родители. Господа и простые. Торжества открытия. А потом, пятнадцатого августа...

Опять листок из календаря.

Маврик и его товарищи входят в новое здание. Светлые классы. Широкие коридоры. Не верится, что здесь когда-то стоял дом, где жил Маврик, где болел корью, где лежала в гробу бабушка... Зачем вспоминать об этом? Теперь стоит здесь дом для всех, для многих. Если б знал об этом

Иван Макарович!

III

Кажется, это было давным-давно, а в общем-то совсем недавно. Эти годы минули, как месяцы летних каникул. Тетя Катя поселилась в маленькой квартирке на тихой улице в Замильеве. Если бы не Киришбаумы, она бы жила у сестры во флигеле.

Жизнь тети Кати теперь совсем одинокая. Маврик не так часто бывает у нее. Он подросток. А когда закончит гимназию и уедет в Томск вместе с Ильюшей Киришбаумом в технологический институт, тетя останется совсем одна-одинешенька.

Родня да и посторонние люди от души советуют ей выйти замуж. Женихи есть. Целых три. Один служит на почте. Второй - лесничий. Тоже вдовец. И третий, самый настырный, Даниил Феоктистович Судьбин. Одна фамилия что стоит. Не зря Екатерине Матвеевне сказали, что от Судьбина, как от судьбы, не уйдешь.

У Даниила Феоктистовича свое дело. Мастерская, и даже две. Товар всегда в спросе. Он гробовщик. Единственный на всю Мильву. Остальные пробовали было зашибать копейку на смертях своих ближних, да Судьбин не дал ходу никому. Сам на смертях жил - покойников обирал.

Екатерина Матвеевна на предложение Судьбина ответила мягко и необходимо:

- Не подхожу я вам, Даниил Феоктистович, а чем - позвольте не объяснять.

И все опять сказали, что, значит, такова судьба. Значит, это все предначертано свыше.

Но кем предначертано? Неужели есть кто-то, который предначертывает судьбы? Как же у него хватает времени предначертать каждому свою судьбу, если только в одной Мильве столько тысяч судеб? Для этого же нужна огромная контора, куда больше, чем заводская!

Может быть, этим занимаются ангелы?

Может быть. Но как они пишут судьбы? Неужели как вздумается, так и пишут? Наверно, так. Если бы это было иначе, то как бы первый ученик Санчик Денисов мог, окончив три класса школы, не попасть хотя бы в городское училище, а пошел рассыльным на завод? Почему? Неужели тому, кто писал его судьбу, захотелось такого способного мальчика лишить образования и заставлять разносить бумажки.

А почему балбесу Игорю Мерцаеву судьба пожелала дать велосипед?

И не один велосипед, но и ружья, настоящие сабли, электрический свет в доме и настоящую охотничью собаку? И это считается справедливым? И за это нужно благодарить судьбу?

Конечно, Игорь должен благодарить судьбу, но Санчику-то за что ее благодарить? За три рубля, которые он получает в месяц, носясь по улицам? Или за то, что еще бабушка Митяиха не слегла и добывает на паперти копеечки и куски?

Маврикию Толлину хотя и грех жаловаться на судьбу, но и благодарить ее не за что. Он сыт, одет, учится, переходит в третий класс гимназии, так это же благодаря деньгам, а не судьбе. Конечно, можно говорить, что и деньги даются судьбой. Значит, вор, который их ворует, вовсе не виноват, что он вор, а виновата судьба, предписавшая ему быть вором? Зачем же его, а не судьбу наказывают тюрьмой?

На это никто и никогда не ответит, как никто не ответил, почему бог, начиная с Адама и Евы, все испытывает и испытывает людей, придумывая им всякие соблазнительные ловушки, а потом без конца наказывает и пугает людей.

Разве нельзя было сразу предначертать им хорошую судьбу и уберечь от греха? Зачем понадобилось ему выращивать яблоки познания добра и зла?

Это и безбожно и бесчеловечно.

Нужно же как-то и когда-то выяснить, есть ли судьба. А если судьбы нет и ее придумывают, чтобы оправдать то, что не может быть оправдано, значит, нет и того, кто пишет судьбы? Впрочем, что об этом рассуждать, когда и без того так много невыясненного. А с кем выяснять? Не все можно спросить у тети Кати. Да и не на все способна она ответить.

Екатерина Матвеевна все свободное время шила. Заказчики были из больших господ. Зашеинская работа, ее ручной шов ценились хорошим рублем.

Ежегодно, раза два, а то и три, Екатерина Матвеевна уезжала. То в Саратовскую пустынь на богомолье, то в Белогорский монастырь под Кунгуром. А то просто так - в города посмотреть новые фасоны платьев. Иногда брала с собой Маврика.

Маврику очень хотелось в поездках встретить Ивана Макаровича, и однажды ему показалось, что он видел его в меблированных комнатах, где они жили в Сарапуле.

Однако тетя Катя сказала, что Маврик ошибается, что виной этому шоколадное мороженое, потому что всякий шоколад, в том числе в мороженом виде, возбуждает воображение. Успокаивая племянника,

Екатерина Матвеевна говорила, что Иван Макарович Бархатов жив, здоров и чувствует себя очень хорошо. А как и откуда она знает об этом - просила не любопытничать.

Это очень странно. У нее от Маврика завелись секреты. Она, кажется, недоговаривает что-то при нем о боге. Но разве можно провести Маврикия? Он стал замечать, что у тети Кати портятся отношения с богом, хотя она и ездит по монастырям.

Скорей бы уж вырасти Маврику и узнать все, а то живешь неизвестно кем. И не маленький и не большой. Кругом идут такие серьезные разговоры! Все рассуждают, размышляют, а ты ничего не можешь понять. Взять того же доктора Комарова... Он при всех говорит, что тишина, мир и покой сохраняются только в таких городках, как Мильва, в большом свете давно уже пахнет порохом. Комаров предсказывает неминуемую войну.

Вот и сейчас, в кругу своих друзей и знакомых, Николай Никодимович Комаров говорит о войне. Все слушают его, и никто не верит в войну.

В войну не верят никогда, во всяком случае до того, пока она не начнется.

IV

Весна благополучного в первой своей половине тысяча девятьсот четырнадцатого года, отблагоухав черемухой, зацвела сиренью. На заводе множество заказов. Берут на простые работы из деревень. Санчик Денисов дождался своего. Отслужил положенный срок Павел Кулемин. Не верилось Женечке Денисовой, что вернулся ее жених.

- Не дай мне сойти с ума! Ты ли это? - При отце, при матери, при чужих людях обнимает своего Павлика верная невеста.

А он, истомившийся, изревновавшийся, ждет не дождется дня свадьбы. И этот день пришел. Людно было в церкви. Самые разные люди сбежались смотреть, как венчается красавица бесприданница, не улыбнувшаяся все эти годы и майскому дню и веселым сватам, шутками да песнями убеждавшим ее сменить серого солдата на удачливого сокола с домком, с коровкой, с лошастью, с телячьим покладистым характером, хоть веревки из него вей, хоть масло пахтай...

Весело гуляли на свадьбе Жени Денисовой и Павла Кулемина два друга, два шафера с белыми лентами, Санчик и Маврик, Звончей всех кричали они «горько, горько».

Счастья желают гости молодой чете, новой рабочей семье.

- А я, - с гордостью сообщает Санчик своим друзьям, - теперь я тоже буду спать на кровати, а не на полу. Павлик берет меня жить к себе. И работать я перейду к нему в цех. Там будь здоров сколько платят!

У всех, кажется, успешно идут дела. И все потому, что завод дымит на полную силу всеми трубами.

Бойко торгуют магазины. Чураков похвально еще не купленным автомобилем. В Мильве ни у кого не было автомобиля. Куропаткин еле успевает считать наличные.

На складе «Пиво и воды» тоже дела идут хорошо. Сбылись сны Любови Матвеевны Непреловой. И дохи и шубы. И дрожки и ружья. И гости и в гости нет свободного вечера. Герасим Петрович на «ты» с самим приставом, и чиновники из казначейства, из управления завода для него никакие не господа, а просто так - для препровождения времени. От них ничего не надо Герасиму Петровичу, а им водить знакомство с таким хлебосольным доверенным фирмы лестно и небесполезно. У кого званые ужины, где можно побаловаться первосортным пивком и сочными пирогами, не затрудняя себя ответными угощениями непьющего хозяина?

Где возможно такое? Только у Герасима Петровича Непрелова.

Слухи ходят, что доверенный фирмы «Пиво и воды» не прочь сам завести свое дело и будто бы уже рубятся бревна для дома и помещений молочной фермы «Бр. Непреловы».

- Нет, нет, - уверяет Герасим Петрович, - разговоров больше, чем бревен. Мне еще служить да копить, копить да служить...

Это верно только отчасти. У Герасима Петровича уже есть кое-что. Хозяин фирмы Болдырев награждает Герасима Петровича особо за его безупречную честность. Хозяева куда лучше полиции умеют проверять пользующихся их доверием.

Дочка Ириночка уже отлично разговаривает и радует Герасима Петровича. Жаль только, что, кроме нее, не родился мальчик, из которого можно было бы воспитать человека с твердым характером и, конечно, с красивым почерком. Из Маврикия никогда и ничего путного не получится. Лодырь, фантазер и петрушка. Хорошо, если он станет хотя бы таким балаганщиком, как Всесвятский. Но для этого нужно иметь хотя бы его рост. А пасынок, ко всему прочему, и недоросток. Кем станет он, что из него получится, невозможно и предположить, но заранее можно сказать - ничего хорошего. И в этом Герасим Петрович не будет чувствовать себя виноватым. Ему не дали приложить рук к пасынку. Но если бы он и приложил их, все равно бы в этом случае изменилось немного. Сказывается кровь. Толлинская кровь. Братья Владимир и Андрей Толлины, еще до рождения Маврика, путались в каких-то цареотступнических кружках. И если бы не их ранняя смерть, то, может быть, Маврик был бы сыном и племянником арестантов.

Что же можно сделать с пасынком, если в нем кровь отца? Как влить в его жилы свою непреловскую спокойную, терпеливую, сильную кровь?

Герасим Петрович по-своему был прав, и можно ли строго судить его за то, что Маврик чужд ему всем своим существом, начиная с внешности, напоминавшей первого мужа его жены. Правда, он обещал ей, себе, умирающей бабушке Маврика и, наконец, богу любить пасынка. И он старался, но не мог.

Раздумывая о Маврике, Герасим Петрович каждый раз приходил к одному и тому же заключению - пусть растет, как растет...

Маврик собирается в Омутиху, чтобы покончить с малокровием, хотя у него и нет никакого малокровия, но так говорит доктор Комаров. Он у всех находит что-нибудь, чтобы заманить в свою пустующую Комаровку, построенную в четырех верстах от Мильвы. Где пьют кумыс и привозные воды.

Тетя Катя нынче решила съездить в Елабугу. Там живет ее знакомая по школе кройки и шитья. Она вышла замуж за немолодого, но обеспеченного человека и теперь каждый год приглашает Екатерину Матвеевну побывать в Елабуге, поговорить о жизни. Екатерина Матвеевна, отказываясь в прежние годы от приглашения поехать к Ложечкиным, нынче собиралась туда с удовольствием. Наверно, наскучалась за зиму. А Елабуга - это люди, пароход, Кама. Маврик тоже поехал бы с теткой, да тянет Омутиха, тихомировская мельница. И...

И многое другое, что, может быть, не следует называть пока и про себя.

Илья с Фаней, может быть, уедут на лето к тетке в Варшаву. С Санчиком приходится встречаться реже. Он весь день на заводе. Новые друзья тоже кто куда. Омутиха - это все-таки не худшее, что можно придумать, хотя там теперь и нет Викторина Тихомирова, а только Владик. Викторин учится в корпусе. Он кадет. Он станет морским офицером.

У Маврика в табеле одна пятерка. Две четверки. Остальные тройки. Что делать! Не может же он всю жизнь держать себя в руках. Хорошо, что нет двоек.

Теперь нужно надеяться только на себя.

Мать не была обрадована табелем, а отец тем более, хотя и ничего не сказал о тройках, и, лишь слегка улыбнувшись, посоветовал Маврику:

- Я думаю, Андреич, нужно ехать завтра же с утра в Омутиху.

Маврик мотнул головой. Ему хотелось уехать как можно скорее. Он мог бы и сегодня.

Утром кучер запряг лошадь. Не Воронка, конечно. А смирного Карька, на котором любила ездить мать. Маврику впервые доверялась лошадь. Хоть как-то все-таки был замечен его переход в третий класс гимназии.

- Не гони, - предупредил Герасим Петрович. - Поезжай не трактом, а лесной дорогой. Не трясет, и лошади мягче бежать.

- Я знаю.

- Не вздумай распрягать лошадь сам, - предупредила Любовь Матвеевна.

- Не беспокойся, Люба, - сказал Герасим Петрович. - Андреичу нужно подрасти, чтобы снять хомут. Распряжет Федор.

Любовь Матвеевна ничего не сказала на это. Она молча страдала за своего сына. Ей так хотелось, чтобы Маврик укреплял ее семью, а Маврик не мог этого делать, хотя и всячески старался. Наоборот, он как бы разрушал семью, вносил в нее разлад даже своим присутствием. И Любовь Матвеевна, любя своего сына, старалась при его отчине быть холоднее и строже.

Надо понять и Любовь Матвеевну. Не может же она винить мужа за то, что Маврик прямая противоположность отчиму и отчим не может за это любить пасынка. Поэтому он, наверно и не желая, роняет усмешечки или хоть чем-нибудь да кольнет пасынка. То невысоким ростом. То называя его «Андреич», подчеркивая этим, что он не Герасимович. В Омутихе его тоже станут называть «Андреич». Ну и пусть. Не всегда же так будет.

- Да не растеряй подарки, - наказывает Герасим Петрович. - Отдашь тючок бабушке. Не задень колесом о ворота, когда будешь выезжать. В субботу пусть ждут.

Маврик не задел колесом о столб ворот и не задел бы. Он не погонит лошадь, если б его и не предупреждали. Он любит и жалеет лошадей. И лошади любят его. Карько наклонит голову, подставит шею, и Маврик, не приподымаясь на цыпочки, легко снимет с него хомут и легко разнуздает его. У Маврика достаточно силы, чтобы затянуть супонь самого тугого хомута. Об этом не знают. И пусть. Маврик ничего не будет делать напоказ. Всеволод Владимирович учил его презирать хвастливость. И если он еще не научился окончательно презирать ее, то все же стремится к этому.

Легко бежит Карько по мягкой пыльной дороге через покосы. Нужно же полюбоваться, посмотреть, не произошло ли что за зиму в этом знакомом лесу. Все-таки нет для Маврика лучше примильвенских хвойных лесов. Они темны, зато молчаливы. Не то что болтливый лиственный лес.

И если на свете где-то водятся лешие и ведьмы, то только в лиственных колдовских лесах. В сосновых, еловых, пихтовых и, уж конечно, в кедровых нечего делать нечисти. Гадюка или жаба и те не найдут приют в хвойном лесу. А ветер и в бурю не ревет здесь на все голоса, а гудит ровным шумом. Ш-ш-ш - шумит милый мильвенский, пахнувший смолой, грибами, сухой здоровьем, а не гнилой мокростью лес.

Если он, Маврикий Толлин, когда-нибудь научится сочинять

стихотворения, то лучшие и самые длинные будут про лес. Он и сейчас пробует:

Мой милый, милый хвойный лес.
Тебя я вижу снова...

Но дальше-то что?.. Нужна же рифма к слову «лес», а он ничего не может придумать, кроме «влез». Это хорошая рифма... Но как ею воспользоваться? Не скажешь же «В тебя я снова влез»... Как только мог Александр Сергеевич Пушкин написать столько стихов и все в рифму?

- Но-но, Карий... Не подслушивай, может быть, в самом деле я «трещотка», «выскочка», «петрушка», «балбес»...

Маврик вспоминает все прозвища, которые ему давались, и наконец кричит:

Мой милый, добрый хвойный лес!
В меня давно, с рожденья влез
Один пристра-престрашный бес,
И я, «петрушка» и «балбес»,
Люблю тебя, мой хвойный лес!

VI

В деревне Омутихе двадцать один дом и одна улица. Дома крыты соломой и только два или три тесом. Все омутихинцы ходят в лаптях. И только те, что посправнее, по праздникам надевают сапоги.

Непреловы, судя по всему, относились к справным. Изба у них под тесовой крышей. Три лошади. Три коровы. Десятка полтора овец. Свиньи. Куры. Две пасеки. На одной держат пчел, а другая - просто лес. И не маленький. Заблудиться нельзя, но не просвечивает с одного края на другой. А ходят в лаптях. Старший брат Герасима Петровича Федор говорит про лапти:

- А в них привычнее и сподручнее.

Может быть, скупы? Да нет. Не более, чем другие.

Пашут деревянной сохой с железным лемехом. Мильва рядом. И Мильва делает хорошие недорогие плуги. Немногим дороже сохи. Суждение то же:

- Сохой-то сподручнее и привычнее.

Жена Федора Петровича тклет холсты, прядет нитки. Это требует много труда. И покупная ткань обходится дешевле. И это знают все. Но снова те же слова:

- Свой-то холст привычнее и сподручнее.

И все ходят в своем сподручном холсте, в домотканой портянине.

Дед, бабка, старший сын с женой, трое взрослых детей живут в одной комнате избы. Она же и кухня, и столовая, и спальня, а иногда и помещение для телят и ягнят.

Почему бы не пристроить еще хотя бы одну комнату? Лес рядом. Летом после сева и до покоса выдается свободное время. Свободного времени достаточно зимой. Что же мешает? У Федора Петровича сильные руки. Наконец, в своей деревне есть свои дешевые плотники.

Н-нет! Деды так жили, и мы проживем.

Может быть, им мешает жить лучше недостаток знаний, как говорит Всеволод Владимирович? Может быть, они не знают, как можно жить лучше? Но ведь Федор Петрович грамотен. Он бывает очень часто в Мильве и знает, что при двойных рамах теплее и меньше идет дров. Он видит, что на отдельных тарелках есть приятнее, чем, мешая друг другу, хлебать из общей чашки. Маврикова мать подарила его жене множество разных тарелок. Но их расставили на длинной полке, тянущейся вдоль

стены, «для погляду». И только Маврику подают особую тарелку, и он, конечно, не ест из нее. Зачем же позволять выделять себя?!

От тараканов есть много средств, но тараканов полно. И если какой-то из них попал в щи, его преспокойно вынимают ложкой и выплескивают, продолжая есть щи с тем же аппетитом. Маврик не брезглив, но все же... Он никогда не будет относиться с уважением к тому, что его отчим называет «простотой деревенской жизни». Какая же это простота? Не мыть руки перед едой - простота? Равнодушно смотреть на ползущую по рубахе вошь простота, и утверждать, что вошь тоже нужна, потому что она из человека дурную кровь пьет... Это простота?

Извините, это не простота, а что-то другое. А что, Маврик не знает и сам. Но знает, что он не может и не будет уважать за это жизнь в непреловской избе.

Однако же в Омутихе много прелестей. Рожь. Лес. Речки. Рыба. Но и тут можно бы многое изменить. Через непреловский огород течет прелестная речонка. Балагурка, приток Омутихи. Кто мешает перегородить ее хотя бы самой простенькой плотиной, выкопать совсем небольшой прудик и пустить икряных карасей, линей? Ведь это же верная даровая рыба. Этого нет и не будет.

Кто мешает по опушкам пасек насадить смородиновых кустов, садовой малины, ежевики?.. Ведь никто же из деревенских ребят не будет рвать ягоды, как не рвут чужого гороха, растущего в поле. Этого тоже нет и не будет.

А вот прошлогоднюю дряблую редьку будут есть, чтобы она не пропадала, как и заплесневевшие грузди, совсем не думая, что попусту преуший навоз может дать ранние овощи. И без стекла. Не устраивая парников, как это делают в Мильве, а просто паровые гряды с глубокими лунками, куда не забираются утренние весенние заморозки, которые не пускает горячо преуший навоз под грядой.

Маврик помогал Краснобаевым делать такую гряду, а у Федора Петровича столько навозного богатства, но огурцы еще и не думали цвести. А как скажешь об этом бабушке Ирине или дяде Федору? Ведь нельзя же быть умнее их в двенадцать лет. А он умнее. Не во всем, а в том, что знает, что видел, что испробовал сам.

VII

Дядя Федор предложил Маврику лошадь и сам затянул подпруги седла. Маврик с плетня влез на смирного коня, оперся носками ног на укороченные стремяна и отправился на мельницу.

Кавалериста встретили не без добродушной иронии:

- Не взмылил ли ты своего Буцефала?

- Да что вы, Варвара Николаевна, я рысью-то еще не умею ездить. Да у него, кажется, и нет рыси.

Как и ожидал Маврик, он встретил Фаню Киришбаум, теперь поражающую своей красотой, и разборчивую Варвару Николаевну. В девушке было прекрасно все. Какой-то необыкновенно мягкий смугловатый цвет лица, длинные косы, завивающиеся в жгут, тонкий нос, ослепительно сверкающие маленькие белые зубы и большие глаза. На нее нельзя смотреть долго, как на яркий свет. На яркий, но холодный. Другое дело Лера. В ней все живет и дышит лесом, полем, речкой, ландышами, утром, сказкой... Наверно, не случайно Варвара Николаевна на самом видном месте в своей комнате повесила картину в тонкой рамке, где красовалась девушка с распущенными волосами, похожая на Леру, а под картиной надпись - «Лесная сказка».

Да, она лесная сказка... А Манечка Камышина и Сима Пряничникова просто так - никто, пряничные гимназистки, посыпанные сахарным песком с ванилью.

Конечно, здесь же Шумилин Геня. Пятиклассник. Удивительный художник. Он даже мелом может так нарисовать, что жаль стирать рисунок с классной доски. Теперь он рисует Фаню. Во весь рост. Картина будет два аршина высотой и шириною чуть не полтора. Наверно, Фаня на картине получится еще прекраснее. Уж он-то постарается пририсовать и то, чего в ней нет да и не будет.

Влюблен. Ну что ж, пора. Ему пятнадцать лет. Еще не полные. Но месяц можно не считать.

Явился и Мерцаев Игорь. Его прозвали в Мильве «строганы голяшки, тесаны носки». Потому что он не как все, а в крагах. Игорь говорит, что краги необходимы для езды на велосипеде. Врет. Он просто хочет выделяться. Скажите, зачем ему часы с подцепком, на котором двадцать три брелока? Хватило бы одного. Пусть двух. Нет, ему нужно, чтобы все разглядывали их, а он рассказывал. Это итальянская монетка. А это

маленький Будда с секретной крышкой. Сюда кладется яд.

И все:

- Зачем? Зачем кладется яд? Ну, Игорь...

А он:

- Ну право, стоит ли мне объяснять, зачем бывает нужен людям яд?

И так минут на двадцать пять, пока не переберутся все брелоки. А если этого не хватит, то у него окажется что-нибудь другое. Кольцо из цепи Фридриха Барбароссы. Платок Шаляпина. Перо из шляпы Виардо, цена которому сто двадцать пять рублей. Игорь ему никто.

Другое дело Воля...

Воля Пламенев... Высокий... Меднолицый. Стройный. Сильный. Он самый старший. Ему шестнадцать лет. Отличный голос. Он поет:

Фонтан любви, фонтан живой,
Принес я в дар тебе две розы.

Лера аккомпанирует ему. Опускает глаза. Щеки ее горят. Она волнуется. Неужели боится ошибиться и перепутать клавиши? Нет, тут что-то другое. А что?

Ее глаза сияют, когда она разговаривает с Пламеневым. Сияют так же, как тогда, на Ходовой улице, под господской рябиной, при встрече с Мавриком. Неужели она его... Нет, этого не может быть.

Лера, заметив, что Маврик пристально смотрит на нее, говорит ему:

- А тебя сегодня ждет сюрприз.

- Скоро?

- Минуты через три. Сюрприз сейчас приводит себя в порядок.

Но не проходит и минуты, вбегает Ильюша.

- Так это ты сюрприз?

- Нет, Мавр, я не сюрприз. Я только лишь гонец сюрприза. Внимание, внимание... Раз, два, три... Откройте, двери!

Двери, выходящие на террасу, открываются. Появляется в морской форме кадет Викторин Тихомиров. Он ослепительно великолепен.

Мгновение - все замерли. Еще мгновение - и крики, шум, объятия. Все оживлены. Какая неожиданная встреча! Какой сюрприз! Маша Камышина на правах самой близкой подруги Леры, зная Викторина совсем маленьким, обнимает его и целует. Маврику удается пожать всего лишь мизинец Викторина. Он в этом доме всегда оказывается в смешном положении.

Освободившись от объятий друзей, Викторин подходит к Фанечке Киршбаум. Кажется, в этом нет ничего особенного. Фаня давняя подруга Леры. Фаня часто бывала у Тихомировых, и ее никто не выделял. Однако же сегодня она и Викторин встречаются будто впервые. Взаимно восхищаясь, робеют один перед другим.

- Здравствуйте, Фаня, - говорит Викторин, а в словах слышится признание...

- Здравствуйте, Викторин, - отвечает Фаня, и в этих словах все слышат: «И вы мне очень нравитесь».

- Все ясно, Мавр, - шепнул Ильюша своему другу. - Все они хотят выглядеть на пять лет вперед. Фанька тоже изображает из себя княжну Мери. А мы пойдем на пруд.

Маврик отказался. Он не собирается опережать время, но и не хочет поступиться тем, что Лера разбудила в нем так рано. Зачем ей это было нужно? Может быть, ей хотелось маленького пажика? Так он не паж и не маленький, хотя и невысокий... Ему почти тринадцать лет. Им прочитан весь Лермонтов. Весь Пушкин. «Евгения Онегина» он перечитывал уже три раза. И кажется, нечто похожее происходит здесь, на мельнице. Он сегодня слышал, как она сказала:

- Воля, вас я ждала все утро...

- Лерочка, а я не спал всю ночь...

Чего же больше? Что же еще он должен узнавать? Остаться здесь? Нет, ни за что на свете. Ах, Лера, как ты несправедлива! И Маврик решил вернуться в Омутиху:

- Мне очень ненадолго дядя Федор разрешил взять лошадь. Потому что он на ней сегодня собирается пахать пары.

- В воскресенье? - спросила, понимая улыбаясь, Лера.

- Мне нужно ехать. Всего хорошего, - раскланялся Маврик и пошел к лошади.

Он ее повел в поводу. Догадливый Воля понял, что Маврик не сможет сесть на лошадь без помощи и стесняется попросить, чтобы его подсадили, подбежал к нему и крикнул:

- Барклай, я тебя подсажу!

Маврик не успел отказаться от этой обидной услуги, как оказался в седле.

Этого оскорбления при Лере он никогда не простит Пламеневу.

И чтобы хоть как-то оправдаться, Маврик спешился будто бы затем, чтобы подтянуть подпругу. А потом, не зная как, он вставил ногу в стремя, не зная почему, его нога вдруг сделалась длинней. Вскарabкавшись в седло,

не оглянувшись, он дернул поводьями. Лошадь побежала рысью, и он усидел в седле.

О, мы еще с тобой поспорим, удачливый соперник!..

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

Деревня, где скучал Маврикий,
Была медвежьим уголком,
По праздникам хмельные крики,
По будням - каша с молоком.

Этими строками начинался роман в стихах, еще не получивший названия. Его автор, уединившись на дальней пасеке, не был уверен, что главный герой романа будет называться Маврикием. Он придумает другое имя, но пока оно не находится. В святцах есть близкое имя Кантидий, но оно слишком неизвестно. Ничего, найдется, когда напишется все, а теперь с черновых листков нужно переписать в тетрадь те строки, которые уже сочинились. И Маврикий переписывал:

Мой дядя самых честных правил:

Своим хозяйством строго правил,
Гречиху сеял, лен и рожь,
Не брал чужого, но - не трожь
Его мочальное богатство...
Он почитал за святотатство
Есть свежий хлеб, коль черствый есть.
За что хвала ему и честь.

Переписав, а затем перечитав эти строки, сочинитель радовался, что у него уже начало получаться не хуже, а местами лучше, чем у Александра Сергеевича, которого он полюбил во втором классе гимназии окончательно и на всю жизнь.

Теперь нужно найти в ворохе бумаг листок о ферме «мон-пер». Вот он:

А брат его, от вас не скрою,
Совсем был на другую статью.

Хотел он ферму здесь построить
И фермером молочным стать.
Но, боже мой, какая скука
Сидеть на ферме день и ночь,
Картошку есть с зеленым луком,
Не быть в «Прогрессе» и не мочь
Ее увидеть хоть глазком,
Убечь отсюда хоть ползком,
Хоть тараканом, хоть ужом.
Ужо тебе «мон-пер». Ужо!

Здорово! И главное, французские слова тоже есть. Без них какой же роман в стихах! Не зря у него нынче четверка по французскому языку. Теперь нужно дописать что-то еще о полях, о лесах, о том, как герой романа, взмылив коня, появляется на мельнице, которая может быть и не мельницей, а старинным замком. А потом сразу переходить к этому листку:

На скакуне он прискакал
И там Огнева увидал.
Он пел романсы, танцевал,
Своим хвалился длинным ростом.
И восхищал легко и просто
Дворянку столбовую Веру,
Которая совсем не в меру
Влюблялась чуть не каждый день,
Забыв о верности, о долге,
И вызывала кривотолки
Среди окрестных деревень.

Маврикий опять перечитывает переписанные строки. Ему не верится, что это он сам мог написать такие стихи, которые заставляют даже его утирать слезы, а уж она-то поймет и оценит, как жестоко было с ее стороны обращать внимание только на рост и на голос. А что рост? Какую роль он играет? Пушкин тоже был маленького роста.

Дальше, дальше... Его, наверно, ждут уже к обеду. Пусть ждут. Ему не до похлебок. В нем горит огонь возмездия. Он ему бросает вызов.

Не торопись рука. Не искривляйтесь строки. Разве ты забыл, что

служенье муз не терпит суеты?

Пишитель же ровнее строки:

Перчаткой новой шерстяною
Был сделан вызов. Трус молчит,
И за плотинной водяною
Бойтся он скрестить мечи...

Но секундант, моряк бывалый,
Стыдит Огнева, Иля тоже,
Такой хороший, славный малый,
Назвал его... какой-то рожей...
Огнев трясется и немеет.
Бойтся схватки, но не смеет
Признаться в трусости при Вере,
И он, в себя совсем не веря,
Кляня злосчастную судьбину,
Поплелся тихо за плотину.

В первом замысле своего романа Маврикий Толлин на поединке за мельницей хотел убить Огнева, но потом передумал. Униженный и обиженный Пламеневым, заплакав из-за него столько горьких слез первой мальчишечьей ревности, он все же не мог так жестоко поступить с ним. Его сердце не могло выработать так много зла, а нравственность - допустить лишение жизни одним человеком другого человека, хотя бы и на бумаге. Да и кроме этого, если дуэль будет со смертельным исходом, то нужно дописывать очень много строк. Должна же появиться полиция. Затем суд. Затем пермская тюрьма.

И героем получится не он, а Огнев. Не лучше ли, показав свое превосходство, сжалиться над ним, затем наказать его изгнанием?

Так и было сделано:

За мельницей мечи скрестились,
Маврикий выбил меч Огнева,
И тот сдался ему на милость:
- Прости! Позволь сказать два слова...
Мне не помог мой длинный рост...
Маврикий страшен был, но прост.

И он сказал: - Несчастный, встаньте!
Я объясню вам откровенно.
От Веры навсегда отстаньте
И уезжайте непременно
Куда угодно, мал ли свет,
А к ней тебе дороги нет.
Бежал Огнев быстрее лани,
Мелькали только его длани.

И далее - прямое объяснение в своих чувствах, заполняющих всю его душу, всего его:

О Вера-Лера, я люблю!
Твой взор невиданный ловлю.

И ночь не в ночь, и день не в день,
Брожу, как сумрачная тень.
Пусть я иссохну, как скелет,
В мои почти тринадцать лет.

Рыдания душат Маврика, слезы заливают последние строки романа в стихах. И пусть. Даже лучше. Все равно он не будет больше переписывать. Завтра его двоюродный брат Тиша Непрелов отнесет ей эти листы, и она, потрясенная, придет и скажет, как тогда:

- Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать.

Только этого и хочет он. Даже, может быть, меньше. А то что же получается? Отец и дядя Федор, да и все Непреловы относятся к нему с усмешечкой. Мать тоже любит его как какого-то неполноценного. Викторин в своей морской форме вообще ко всем сухопутным относится свысока, и Маврик при нем как один из свиты. Санчик хотя и моложе Маврика на год, но завод сделал его старше чуть ли не на два года. Они не поссорились, а отделились. Илья тоже находит, что Маврик ведет себя неправильно, а он правильно.

Родиться бы ему лучше в обыкновенной кулеминской семье, и работать бы на заводе, и не знать бы Викторина, Леры и вообще... И вообще, эта милая, хорошая гимназия ведет его куда-то не туда.

II

Варвара Николаевна Тихомирова пришла в Омутиху, чтобы поговорить с матерью Маврика. И, встретившись, она сказала:

- У впечатлительных и одаренных мальчиков иногда бывает ранняя влюбчивость. Она проходит, как и всякое возрастное заболевание, и проходит тем скорее, чем заботливее и внимательнее лечат ее.

Затем она рассказала очень мягко, с доброй улыбкой о том, как Маврик воспылал нежными чувствами к ее внучке, и умолчала о романе в стихах, боясь навлечь гнев вспыльчивой матери.

- Я и сама замечаю, что мой сын сам не свой. Бродит по лесам, прячется от людей. Бормочет во сне. Исхудал. Провалились щеки. Неужели он... Но ему не исполнилось и тринадцати. Тринадцать будет в октябре.

На это рассудительная Варвара Николаевна сказала наставительно:

- Природа, нередко бывая торопливой, опережает возраст. В этом я не вижу ничего опасного. Мальчику нужно помочь. Хорошо, если б он съездил куда-нибудь. Отвлёкся. Ему нужны новые впечатления. А потом уроки... школьные мастерские, и он вернется в свою колею.

У Любови Матвеевны ум был быстрый. Она, еще не распроставшись с генеральшей, решила, что Маврикий поедет в Елабугу и вернется оттуда с теткой.

Вечером она, приласкав сына, сказала ему:

- А не поехать ли тебе в Елабугу за теткой?

- Одному? - спросил Маврик.

- Ты же перешел в третий класс. Неужели тебе в провозатые нужна какая-нибудь Панфиловна, - вспомнила она старуху, которую нанимали для него в Перми.

- А когда?

- Да хотя бы завтра. Твоя тетка так будет рада!

Любовь Матвеевна иногда ревновала сына к сестре. Она знала, что Маврик свою тетю Катю любит больше матери. Но она также знала, что, выйдя второй раз замуж, она приблизила Маврика к тетке.

Вот и сейчас, видя, как обрадовался он, Любовь Матвеевна, глубоко вздохнув, прижала к своей груди сына и, целуя его кудри, искала слова успокоения. Они нашлись. И она поняла, что бог, или судьба, или еще какая-то сила вознаграждает Маврикия любовью тетки за отнятое у него.

Как хорошо, когда находятся успокаивающие объяснения.

Самостоятельная поездка в Елабугу - очень серьезное путешествие. Елабуга не Омутиха. Как можно не сообщить Тихомировым о своем отъезде? Нужно же проститься и узнать, какое впечатление произвел на Валерию роман в стихах. Жаль, нет Гарольдова плаща, и неизвестно, каков он, этот плащ. Но можно взять мамину клеенчатую накидку от дождя. Небо, кстати, хмурится.

Приятно быть Гарольдом. Накидка развевается, шуршит. В страхе убегают в рожь какие-то зверюги из семейства грызунов. Где-то погромыхивает гром. Гроза опять пройдет, наверно, стороной. Явиться бы при свете молний, при дожде. Мокрый плащ изумительно блестит. Но ничего и так. Его заметили на мельнице. Она идет ему навстречу.



- Ты в дорожном? Здравствуй!
- Здравствуйте. Пришел проститься.
- Как?

- Наскучило в деревне. Решил пуститься в странствия.
- И далеко? - спросила, кажется волнуясь, Варвара Николаевна.
- Пока в Елабугу.
- Ничего себе «пока». Да это же почти на край земли...
- Ну что вы, Варвара Николаевна, - не хотел преувеличивать Маврик. За Елабугой еще Казань, а за Казанью Нижний Новгород, а за Нижним Новгородом Ярославль и Рыбинск...

Дальше Рыбинска, конечной пристани, куда ходили камские пароходы, Маврик не знал, что может быть названо.

Оставшись в саду с Лерой, Маврик ждал, что Лера первая заговорит о переданной ей тетради. Но Лера говорила о том, как хорошо на Каме летом. При чем тут Кама? Что за невежество. Как можно говорить о чем-то постороннем, когда он ждет ее признания, ее восторгов.

И он спросил ее:

- Валерия, вы разве не читали?..
- Ах, да... Ну как же не читала? Читали вместе с бабушкой.
- И вам понравился роман?
- Конечно. И бабушке и мне.
- Уйма остроумия, - присоединилась к внучке вернувшаяся Варвара Николаевна. - Бездна каламбуров! Я восторгалась некоторыми строчками до слез. Особенно прелестны те, где бежал Огнев быстрее лани, мелькали только его длани. Милейшие курьезы. Прелестная пародия. Я заучила наизусть.

Но секундانت, моряк бывалый,
Стыдит Огнева, Иля тоже.
Такой хороший, славный малый,
Назвал его какой-то... рожей,

продекламировала Варвара Николаевна. - Это же просто великолепно. Смешить в таком высоком штиле могут лишь очень серьезные люди. Блестящий, тонкий юмор!

- Да, бабушка, да, - сказала Лера. - Это просто очаровательно. Особенно хорошо написано о том, как Вера влюблялась чуть ли не каждый день, вызывая кривотолки среди окрестных деревень.

- О, несомненно, несомненно, - принялась опять расточать свои похвалы Варвара Николаевна. - По-настоящему может смешить лишь тот, кто это делает с серьезным лицом, будто не желая рассмешить. Это дано не

многим людям.

Маврик не показал своего негодования на то, что написанное всерьез принималось ими как шуточное произведение. Ему показалось ненужным да и невозможным спорить с ними. Они отрезали все пути для возражений. Поэтому он, снимая дождевую безрукавку матери, сказал, сдерживая волнение:

- Я очень рад, что насмешил вас. Я так люблю смешить. Поэтому, наверное, мой папа Герасим Петрович Непрелов называет меня петрушкой. Любя, конечно. Он очень любит меня...

Затем Маврик, простившись с Тихомировыми, ушел, не забыв взяв свою тетрадь с романом. Он не накинул на себя плащ, хотя и накрапывал дождь. Варвара Николаевна и Лера провожали Маврика глазами. Его голова виднелась в ржаном поле, через которое шел он по меже.

- Не кажется ли тебе, Лера, - спросила бабушка внучку, - что Воля Пламенев слишком часто бывает у нас на мельнице и неумеренно расширяет круг песен и романсов, которые он исполняет?

- А почему ты спросила об этом, бабушка?

- Я спросила об этом потому, что его романсы производят очень большое и, как мне кажется, преждевременное впечатление на Викторина и на Фанечку Кишбаум...

Варвара Николаевна умела говорить, а Лера умела слушать и понимать сказанное.

III

Чем ближе к Перми, тем шире Кама. На пароходе тесно, как никогда. В эти июльские, предъярмарочные дни всегда бывает множество пассажиров и грузов. От больших купцов до малых торгашей - все стремятся в Нижний Новгород. Одни - продать, другие - купить. На знаменитую Макарьевскую ярмарку стекаются тысячи всяких и разных людей со всех концов света. Переполненным и шумным становится Нижний Новгород в эти ярмарочные недели неописуемой пестроты и азартного торга всем, что продается и покупается.

И не придумаешь лучшего места для тайных встреч, нежели нижегородская ярмарка. Попробуй уследи в этом беспрестанном движении тысяч людей, кто и с какой целью приехал сюда. Сумей проверить, кто и зачем встречается здесь в неслыханном множестве ресторанов, трактиров, кабаков, в пригородных селах, где также сдаются приехавшим комнаты, избы, углы, сараюшки. Узнай, о чем говорят уединившиеся там и сям люди. Свершают ли они деловые сделки или сговариваются о недозволенном.

Анна Семеновна третий раз едет на ярмарку, где у нее и в этом году будут встречи с такими же, как и она, прилично и нарядно одетыми господами. Встреча с каждым из них будет похожа на свидание, и никому не придет в голову помешать все еще цветущей женщине очаровывать молодого франта или коммерсанта почтенных лет.

Нынче Анна Семеновна едет с детьми. В Мильве она объяснила это тем, что закупки в Нижнем у нее не столь велики, потому сын и дочь, которым нужно доставить удовольствие, не свяжут ее. В действительности же Фаню следовало остудить на палубе парохода. Она слишком часто виделась наяву и во сне с красавцем в морской форме Викториним Тихомировым. Помня себя в пятнадцать лет, Анна Семеновна понимала, что эти годы куда опаснее для девушки, нежели последующие. Не кто-то, а она поцеловала впервые Гришу Киришбаума на шестнадцатом году и пообещала стать его женой. Но то был Гриша, стоящий на своих ногах. Наборщик из Петербурга. Старше ее тремя годами. А этот бабушкин любимец - пока еще школяр, стяжающий внимание своих сверстниц. Одним словом, Фаню не следовало оставлять в Мильве. А взяв ее, как можно было не взять сына. Тогда стало бы слишком ясно, почему она увозит дочь.

Маврик, мечтавший о самостоятельной поездке в Елабугу, не мог не

задержаться на несколько дней, чтобы отправиться вместе со своим другом. И вот они стоят на палубе и ждут поворота реки, за которым будет видна Пермь. Там они проведут весь день. У Анны Семеновны в Перми дела. Ей нужно побывать у портнихи, что-то купить в магазинах... И очень хорошо. У Маврика с Ильей в городе еще больше дел. Нужно поздороваться с улицами, домами, побывать в музее, пройти мимо здания окружного суда, заглянуть на знакомый двор старой квартиры, сходить на кладбище к отцу, посмотреть в бинокль на окна тюрьмы, - а вдруг там окажется знакомое лицо? От Ивана Макаровича с тех пор никакой весточки. Если останется время, то можно забежать в Богородскую церковь, - может быть, жив старик сторож. У Александры Ивановны Ломовой школа теперь на замке, но не пройти мимо нее нельзя.

И вот она, Пермь. Все та же белизна домов. Все те же пристанские запахи. Все тот же гул набережной. Знакомая пристань, а на пристани, что совсем невероятно, Терентий Николаевич Лосев.

Как он очутился здесь? Зачем он встречает их?

Ильюша и Маврик довольны встречей со своим старым другом. Такой приятный случай. Они не знают, что этот случай готовился с весны. Анне Семеновне трудно да и невозможно везти при себе тяжелый груз. А нанимать носильщиков рискованно для груза и для нее. Терентий Николаевич, выехав неделей раньше, побывал уже в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. В коробках, залитых халвой, в дуплянках с медом привез он штемпельные подпольные подарки. Вхожий всюду, легко сходящийся с людьми, прирожденный весельчак, не теряющийся в трудные минуты, Терентий Николаевич стал незаменимым экспедитором рискованного багажа.

Здесь им предстоит пересадка на большой, так называемый низовой пароход. Во второй, сравнительно недорогой класс билетов не оказалось. Это не огорчило Ильюшу и Маврика. Они еще не ездили в первом классе, да и Анне Сергеевне спокойнее здесь за свой багаж, доставленный Терентием Николаевичем в хороших кожаных чемоданах.

Анна Семеновна входит в роль пассажирки первого класса, чтобы не выглядеть здесь белой вороной.

Не наглядится Фаня на свою нарядную мать. Нежно приникает к ней. Дочери так хочется рассказать, как робок был с нею отважный, не знающий страха Викторин. Как послушен он ей. Как он был счастлив, когда она разрешила ему взять себя под руку. Разве можно сказать об этом маме, разве она сумеет понять и поверить, что Викторин и Фаня обручены, не сказав об этом друг другу ни одного слова. Да и зачем им говорить о том,

что может быть огрублено словами? Для этого есть сердце, глаза, поступки...

- Ты, кажется, повеселела, моя девочка? - спрашивает мать. - Я так рада, что поездка на пароходе хорошо действует на тебя.

У Ильюши с Мавриком свои дела. Им хочется рассуждать. Они имеют право входить в салон первого класса. Там так все первоклассно, что даже теряешься. А потом, оглядевшись и привыкнув, хочется делать замечания.

Медленно проходят камские берега, слева низменный луговой, справа крутой глинистый. Кургом такое умиротворение, такая благодать и тишина.

Рыбе и той лень возмущать сонливую солнечную гладь.

Хорошо дремлет пассажирам после сытного обеда. Ничто не тревожит их. Никому даже и не снится, что к западным границам России подползает страшная, кровавая война, которая откроет новую страницу истории. И это будет началом конца той жизни, которая многим и очень многим казалась устойчивой и непоколебимой.

А пока тишина... добрая, успокаивающая тишина...

IV

Солнце еще не село за берег Камы, когда протяжный свисток «Анны Степановны Любимовой» известил Елабугу о намерении пристать. Маврик уже разглядел в бинокль свою тетю Катю. Она стояла рядом с какой-то женщиной. Наверно, это и была та самая Валентина Ивановна, которая училась когда-то с тетей Катей кройке и шитью, а теперь она жена старика, который стоит позади нее.

Пароход сделал круг, чтобы, причаливая к пристани, стать носом против течения. Опять все толпятся. Кто-то кому-то кричит: «Здравствуй, Сережа!» Маврику ни до кого нет дела, он видит только свою тетю Катю в нежно-кремовой плетеной косынке, в новых очках с нарядной золотой оправой. Как они ей идут! И вообще лицо тети Кати становится все лучше и просветленнее. Другого слова и не подберешь. Потому что слов не так много, как раньше казалось Маврику.

Терентий Николаевич, Анна Семеновна, Ильюша передают Екатерине Матвеевне пассажира первого класса, знакомятся с Валентиной Ивановной и ее мужем Иваном Прохоровичем Ложечкиным. Глядя на него, Маврик думает: а могло бы случиться и так, что не Валентина Ивановна, ровесница тети Кати, а тетя Катя могла оказаться замужем за этим Ложечкиным. Как это было бы печально! Лучше не думать об этом и не пускать в голову таких дурацких мыслей.

- Такая приятная встреча, - говорит Екатерина Матвеевна. - Очень жаль, что недолго стоит пароход, а то бы...

Все понимают, что ей не до гостей. Она хочет как можно скорее выбраться из пристанской сутолоки, чтобы остаться с племянником, с которого она не сводит глаз.

- Извините, Екатерина Матвеевна, - стала прощаться Анна Семеновна. Фанечка у меня одна в каюте. А во время стоянок случается всякое.

Ильюша и Терентий Николаевич простились на берегу, где Ложечкиных ожидала удивительно красивая черная лошадь, запряженная в сверкающий экипаж.

Возвращаясь, Терентий Николаевич, молчавший до этого, сказал, указывая на Каму:

- Жизнь, Ильюшка, схожа с рекой не только лишь тем, что она тоже течет, но и тем, что виляет, поворачивает куда надо и куда не надо.

Говоря так, он имел в виду красавицу Валю Токареву, дочь коренного

рабочего, за которую сватались хорошие парни. Но девушка мечтала о богатстве и вышла замуж за Ложечкина.

Старик Ложечкин произвел на Маврика в общем-то неплохое впечатление. Сам старей, а глаза молодые, совсем как у Санчика Денисова. Но больше, чем Ложечкин, Маврику понравился Чародей. Этого коня и нельзя было назвать другим именем. Он, чаруя, останавливает каждого. Черный, блестящий. Стройный, тонконогий. Шелковистая грива. Пугливые темные, с синеватыми белками глаза. За этого коня, как узнал Маврик, посыльный от знаменитых елабужских богачей Стахеевых предлагал столько, сколько и во сне не приснится. Но Иван Прохорович ни за что не продаст своего Чародея, особенно Стахеевым, которые разорили множество купцов, таких, как Ложечкин.

Елабуга - город веселый. Но такой он, видимо, только летом. В Елабуге есть что-то от Перми и что-то от Мильвы. Наверно, деревянные дома. Но у Елабуги свое лицо. Это уездный город-купец. Во всяком случае, таков его центр.

Главная фамилия в городе - Стахеевы. И это не просто фамилия, а второе слово после слова Елабуга. Стахеевы здесь имеют ко всему отношение. Они сильнее губернатора. Они почти царствующий дом. Стахеевы могут сделать все. Поднять человека, осыпать его милостями. А могут и разорить, уничтожить, стереть с лица земли.

- У них столько капиталов, - сказал за ужином Иван Прохорович, сколько их нет во всей Елабуге. И если продать Елабугу со всеми ее домами, церквями, лавками, то все равно денег выручишь меньше, чем у Стахеевых.

Оказывается купцы тоже не одинаковы, как и крестьяне. Однако же у всех у них самое главное - мое. Мои мочальные гужи. Моя пасека. Моя салотопня. Мой Чародей. Моя выгода.

Утром на другой день приезда Маврика, когда у Ивана Прохоровича был его приказчик, было сказано:

- Свечи попридержи, а все годное на сало скупай сколько возможно. Не бойся переплатить копейку. Из Казани идет слух, что начинается мобилизация, и все будет в спросе.

Подробности о войне Маврик узнал вечером. На улицах Елабуги было особенно много народу. Говорили, что сыр-бор загорелся от гимназиста по фамилии Принцип, который убил наследника австрийского престола Франца-Фердинанда в городе Сараево.

Как это неожиданно для Маврика! Во-первых, гимназист, во-вторых, город Сараево, почти что пристань Сарайск на старом зашеинском дворе.

Наверно, в Мильве тоже знают о войне.

Маврик не ошибался. В Мильве уже бегал по улицам босой Тишенька Дударин и пророчествовал: «Мы их шапками закидаем, а ихнего кайзера валенком пришибем».

Так же примерно говорили и в Елабуге. И говорили не юродивые, а солидные люди. Какой-то и чего-то попечитель специально приходил к Ивану Прохоровичу, чтобы рассказать о войне.

- Наша доблестная армия управится с ними до желтых листьев. Насквозь их пройдут.

Солдаты, проходя строем по улице, пели переиначенную песню. Вместо турецкого царя запевала, выкрикивая, называл царя германского:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
Побежду я всю Европу,
Сам в Расею жить пойду.

В конце песни нахальный царь, имя которого было теперь у всех на устах, получал по заслугам. И это очень радовало мальчишек. Радовало и Маврика.

Спустя еще день из Казани пришли самые свежие газеты. От Елабуги до Казани триста тридцать верст речного пути. Елабуга живет вчерашними новостями. Новости подтверждали, что война будет короткой, что неприятель будет отомщен. Воинственные мужские кличи раздавались и ночью, но вскоре вплелись плачущие, причитающие женские голоса.

Началась всеобщая мобилизация.

- Не забрали бы на войну Герасима Петровича, - сказала за обедом тетя Катя и тут же успокоила себя: - Наверно, таких, как он, не будут брать.

И Маврик думал так же. Какой же может быть солдат из его второго отца, когда он ходит в накидке с бронзовой цепочкой и бронзовыми головами львов? Артемия Гавриловича Кулемина тоже не могут мобилизовать. Он же в оружейном цехе, а ружья будут нужны.



На пристанях стоял рев. Плакали и гармошки, делая вид, что они играют веселое. Наступил какой-то сплошной екатеринин день летом. Мобилизованных отправляли на баржах. Это дешевле и удобнее, чем на

пароходах. Гнали в Казань и пешим строем. Особенно из деревень.

Война с первых же дней коснулась всех. По-разному, но всех. И если в первые дни она была как гром среди ясного неба, то уже на вторую неделю с ней примирились, как с чем-то неотвратимым и не зависящим от того, кто бы и как бы в Елабуге к ней ни относился. Изменить ничего было нельзя. И даже сам царь не мог бы сейчас заставить замолчать пушки, начавшие смертельную огневую перебранку. В войну вступили Франция и Англия.

- Ложечкиным не до нас, - сказала Екатерина Матвеевна Маврику, как только они остались одни. - Да и время теперь не для гощений.

Екатерины Матвеевны не было почти весь день. Маврик слонялся по надоевшим ему улицам чужого города, думал о Мильве, об Ильке, о Санчике. Одному даже хорошее мороженое кажется не таким вкусным.

На другой день племянник и его тетка возвращались в Мильву. Екатерина Матвеевна подолгу просиживала в каюте, не показываясь на палубе. Тягостной была эта поездка. Пароход против течения шел медленнее. Все говорили только о войне и победе. Опять встретила баржа с мобилизованными. Ее тянул дымивший черным дымом буксирный пароход.

Опять на палубе появились пассажиры с платками для приветствия мобилизованных. У одного был даже трехцветный флаг. Они будут махать барже и выкрикивать воинственные напутствия. Пароход опять даст, поравнявшись с баржей, короткие вдохновляющие свистки. Помощник капитана обязательно скажет в рупор: «Возвращайтесь с победой».

Пожилая женщина, похожая на сельскую учительницу, стоявшая на палубе неподалеку от Маврика, тихо сказала:

- Все ли вернутся они к своим семьям? А если и вернутся, то, может быть, без руки или без ноги. Война только на картинках да в песнях удала...

Маврик решил рассмотреть мобилизованных. Он приложил к глазам бинокль и стал разглядывать едущих на барже. Это были люди в лаптях, в сапогах, с котомками, с дорожными сундучками, в плохой одежде. Все равно бросать. Дадут казенную. В бинокль было отлично видно и выражение лиц. Баржа быстро пробежала в поле зрения бинокля, и Маврик вел его за баржей. И когда он разглядывал сидевших на корме, он увидел так отчетливо два таких близких и знакомых лица, что бинокль выпал из его рук и он закричал:

- Папа! Папочка...

Пронзительный крик услышали находившиеся на палубе и в каютах, окна которых были открыты.

- Папа... Папа... Это я... Это Маврик... Григорий Савельевич!.. Это я...

Но разве из-за шума колес и воды Герасим Петрович и Григорий Савельевич Киришбаум могли слышать крики Маврика?

Около Маврика столпились женщины. Они спрашивали, что случилось, что произошло. Появилась и Екатерина Матвеевна.

- Маврушенька, что с тобой?

- Мама опять одна! - выкрикнул он. - Ильюшиного папу тоже забрали на войну.

Он мог бы добавить, что на этой же барже везли Павлика Кулемина, снова отнятого у Жени, так долго ждавшей свое вероломное счастье. Но Павлик сидел за канатами, и его не было видно. Патриотически настроенные пассажиры первого и второго класса бежали по палубе к корме и махали платками, столовыми салфетками и требовали у баржи с мобилизованными скорейшей победы.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

Не только елабужским стратегам и мильвенским вершителям судеб из комаровского кружка, но и многим, очень многим, может быть подавляющему большинству населяющих Российскую империю, казалось, что война будет короткой. И уж во всяком случае до белых мух должны были вернуться героями под родные крыши угнанные в армию на отмщение оскорбленной державы.

Искусственно вспененная волна патриотизма пошумела недолго. Народ скоро почувствовал, что дело обстоит сложнее и проще. Не все и не всё могли понять, когда эту войну называли новым разделом мира. Но находились люди в той же Мильве, как из своих, руководимых глубоким подпольем, так и из приезжих, растолковывавшие, что идет борьба за прибыли, за сбыт товаров Германией, Англией и Францией. Русские капиталисты тоже мечтали урвать в этой войне кусок пирога, желая проникнуть в Турцию, а через Турцию на Ближний Восток.

И без того сложный узел нарочито запутывался правящими кругами. Нелегко было мильвенским подпольщикам разъяснять, казалось бы такой ясный теперь, лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, то есть в революцию, свержающую классы, начавшие и поддерживающие войну. Трудно было объяснить даже таким, как мастер Игнатий Краснобаев, людям не из темных, что большевики не против своего отечества, а против обмана народа. Чтобы понять и принять эти неоспоримые азы, для некоторых требовались не дни, не недели и не месяцы, а годы. А пропаганда затруднялась день ото дня. Большевики лишались своих изданий, разгонялись даже культурно-просветительные общества, большевиков арестовывали при первом подозрении.

Мильвенских большевиков пока еще не коснулась ни одна репрессия. Новые строгие предосторожности конспирации, введенные Матушкиным, все же не позволяли успокаиваться. Всякое могло случиться. Особенно нужно было теперь оберегать подпольное производство штемпелей.

Анна Семеновна, Кулемин и Терентий Николаевич Лосев хотя и с трудом, но справлялись с делами. В Казань по-прежнему отправлялись стереотипы листовок. Нередко Казань заказывала листки, похожие по

внешности и обрамлению на патриотические обращения обществ, благотворительных комитетов, объявлений воинских начальников или торговых фирм. Такие листки, начинаясь крупными буквами: «За веру, царя и отечество...», или: «Всем женам нижних чинов...», или: «Дешевая распродажа!», продолжались обычным шрифтом, рассказывая правду о войне. Эти листки не сразу бросались в глаза полиции, зато, попав в хорошие руки, береглись, передавались и оценивались по заслугам.

А обыватели, далекие от политики, жили своей жизнью, своими чаяниями, но и они не хотели войны. Не хотела ее, конечно, и Любовь Матвеевна Непрелова. Она все еще верила, что, проснувшись однажды, услышит, что война кончилась. А она и не думала заканчиваться. Минула осень, пришла зима, наступал новый, 1915 год.

II

- Тебе, Маврикий, как мужчине, первому произносить тост, - сказала мать тринадцатилетнему сыну.

Тост был кратким:

- Пусть кончится война в этом году.

- Пусть кончится она к весне, - поправила, вздыхая, мать, не очень веря, что это возможно.

Ильюша тоже оказался единственным мужчиной в семье, и это понимала даже Фаня. Григорий Савельевич был контужен. Его перевели с передовой в военную прифронтовую типографию. Анна Семеновна с трудом содержала семью. Ильюша частенько приходил обедать к Екатерине Матвеевне. Якобы за компанию с Мавриком. На самом же деле Иль, как он говорил сам, обладал аппетитом значительно большим, чем бывало на столе еды. Фаня тоже, под благовидным предлогом, что Лерочка невыносимо одинока, по нескольку дней подряд жила у Тихомировых. Фаню любили там, хотя и не хотели, чтобы она, так рано, так ослепительно расцветающая красавица, помешала Викторину закончить образование. Он в каждом письме спрашивал бабушку о Фане, и по его письмам было видно, что Фаня не просто его знакомая. Хотя Викторин теперь выглядел рядом с Фаней юнцом, однако же...

- Если суждено, - говорила внучке Лере Варвара Николаевна, - то я никогда не стану на их пути.

Главенствовали в Мильве, и были на виду, и жили в достатке люди, подобные тем пассажирам верхней палубы парохода, которые махали мобилизованным платками и салфетками, требуя победы. Махали салфетками, чокались рюмками, поражали противника словесными канонадами и мильвенские патриоты. Комаровы. Шульгины. Мерцаевы. Чураковы. Не говоря уже о высшем круге, собиравшемся в доме Турчанино-Турчаковского.

Деятельные и бездельничающие дамы устраивали кружечные сборы в пользу раненых с прикалыванием жетонов - гербов союзных держав, организовывали лотереи, довольно веселые вечера, балы-маскарады с теми же целями облегчения участи пострадавших от войны солдат.

В корону на спине горбатого медведя, как в корзину, были воткнуты союзные флаги с центральным из них трехцветным флагом Российской империи. Это было весьма многозначительно. И доктор Комаров сказал по

этому поводу спич:

- Господа! Медведь - это не только фабричная марка завода и герб Пермской губернии, в нем хочется мне видеть гораздо большее... Это русская сила. Пусть темная... Пусть в некотором роде дикая, лесная и даже, позволю себе, звериная сила... И в этом ее преимущество. Она идет напролом... Она, сокрушая все на своем пути, не думая о ранах и не замечая потери крови, пронесит победные знамена.

Медведь шел и нес победные флаги, а война шла сама по себе... Одни складывали свои головы, вторые боролись с нуждой и лишениями, принесенными войной, а третьи наживались на войне. И этих третьих было не так-то уж мало. Ими были не только капиталисты-магнаты высочайшего, стахеевского ранга.

Война обогащала всякого хищника, от перекупщика дорожающих спичек, папирос, сальных свечей до прижимистого Федора Петровича Непрелова, откупившегося от мобилизации малой пасекой и наживающегося теперь на каждой малости, без которой не сядешь за стол. И те, для кого моление являлось не одним только служением всевышнему, но и хлебом насущным, тоже умножали свои доходы умножением молящихся за убиенных и тем более за сохранение жизней дорогих сынов, отцов, братьев, мужей.

Любовь Матвеевна никогда не была богомольной, а теперь она каждое воскресенье, каждый праздник подает особый листок о здравии раба божьего Герасима, хотя он и не находится на фронте. Герасим Петрович, назначенный старшим писарем в артиллерийскую батарею, жил в Воронеже. Почерк, оказывается, всюду великая сила. Писарь, особенно старший, - это не солдат. Он очень хорошо выглядел на фотографическом снимке. Ему шла военная форма. Он не терял надежды побывать в Мильве, аккуратно писал Маврику наставительные письма.

Маврик старался не получать троек. Не ладилось только с латинским языком, который преподавал «Аппендикс», или, попросту говоря, «Слепая кишка» - так был назван протоиерей Калужников за то, что его, а не учредителя гимназии Всеволода Владимировича Тихомирова утвердили директором гимназии, ставшей казенной. Причиной этому был не только его сын, живший за границей и выступавший там против войны, но и он сам.

Всеволод Владимирович мечтал создать новую универсальную политехническую гимназию, из которой бы выходили не просто хорошо образованные люди, но и умеющие что-то делать, способные к труду. Поэтому подвальный этаж нового здания был приспособлен под

мастерские. С переменным успехом работали столярная, токарная по дереву, сапожная и переплетная мастерские.

III

Зная, что рано или поздно Тихомиров купит под кузницу и слесарные мастерские старый полукаменный краснобаевский дом, Игнатий откупился от многосемейного брата Африкана Тимофеевича, и тот переехал на дальнюю улицу, где дома куда дешевле. Теперь Игнатий мог заломить бесстыдную цену.

Игнатий Краснобаев не ошибся. Всеволод Владимирович Тихомиров не терял все это время надежды купить под учебные мастерские краснобаевский дом. Краснобаев в свою очередь приглядел большой дом с огородом и ягодниками на углу Песчаной улицы и пруда. Из окон хороший вид, под окнами своя моторка, а уж про весельную лодку нечего и говорить. Дом продавали солдатки, ставшие теперь вдовами.

Но война войной, смерти смертями, а живые должны жить. Памятуя эту истину, братья Непреловы - Герасим Петрович приехал на побывку - пришли к Всеволоду Владимировичу относительно мельницы.

Федор Петрович хотя и был в сапогах, а не в лаптях, все же не посмел сесть при «енерале» и, стоя, сбивал цену:

- Восподин енерал, восподин барин, мельница только одно звание, а по сути она дрова, да и те прелые.

С этим согласился Всеволод Владимирович и сбавил еще.

Герасим Петрович, молчавший покорнейше и почтеннейше, так как мельница покупалась не им, а братом, все же нашел возможным напомнить о зашеинском доме:

- Когда моя свояченица Екатерина Матвеевна продавала для гимназии наследственный дом, она не попросила за него настоящей цены, которую ей давали...

Всеволод Владимирович сбросил еще. И наконец было решено - половину наличными и половину векселями с погашением на три года.

Тихомиров был доволен, что на той же неделе начнется переоборудование под мастерские купленного краснобаевского дома.

Когда у нотариуса было завершено все, Федор Петрович сказал брату:

- Герасим, пожалуй, мне уж негоже из сапогов в лапти переобуваться...

Федор Петрович, числившийся в «справных», теперь вышел в «богатеющие мужики». И так было всюду. Война разоряла одних и обогащала других. Федор Петрович сразу же навел порядки на мельнице, начав с того, что ее жернова завертелись через неделю после покупки. И то,

что было названо им «прелыми дровами», стало давать братьям Непреловым первые доходы.

У Герасима Петровича не хватило бы денег на покупку Омутихинской мельницы, но ему теперь был открыт широкий кредит. После запрета продажи спиртных напитков спрос и цены на пиво необыкновенно возросли. Пивные склады в Мильве были опечатаны полицией. Складами заведовала теперь Любовь Матвеевна. Ее заведование заключалось в поддержании порядка и охранении печатей. По приезде в Мильву на побывку Герасима Петровича пристав Вишневецкий посоветовал проверить, не прокисло ли пиво, а затем сказал прямее:

- Зачем погибать тому, что может жить, веселить и приносить радости...

Ростислав Робертович не предлагал красть пиво. На это не пошел бы честнейший Герасим Петрович. Нужно было взять из склада несколько бочек, развезти их по надежнейшим и уважаемейшим адресам, затем опечатать снова склад и, в случае надобности, повторить эту простейшую операцию.

Герасим Петрович добросовестнейше перевел за пиво главе фирмы Болдыреву все до копейки с надбавкой на общий рост цен и падение рубля. Тщательнейше были подсчитаны проценты с оборота приставу, а остатки, составлявшие семь-восемь рублей из каждых десяти, пошли на покупку тихомировской мельницы.

Невольный свидетель происходящего, Маврик молча носит в себе стыд за отчима и за Федора Петровича. В спешной покупке и торопливом обживании тихомировской мельницы было что-то неприличное. И особенно неприглядна была суетливость захватывания дядей Федором не купленных им вещей, не принадлежащего ему имущества, вроде брошенных Всеволодом Владимировичем хомутов, дуг, кадочек, старой мебели, чугунов, ржавого шомпольного ружья, бельевой корзины, рваной сети, охотничьих лыж, стожка прошлогоднего сена, куля с овсом, шарабана со сломанными рессорами, линиялого байкового одеяла и прочего из разряда негодных вещей. Все они рассматривались, оценивались и прятались. «Вдруг да енерал спохватится и спросит: а где мои старинные енеральские сапоги?..» И это так походило на мышиную возню, на бессмысленное растаскивание по норам и того, что никому не могло пригодиться.

Старый осел Бяшка тоже пошел в придачу вместе с даровым имуществом. Федор Петрович долго думал, как поступить с ослом. Держать просто так, как он жил у Тихомировых, было невозможно. Это противоречило всему строю мыслей Федора Петровича. Все должно давать

прибыток. И он продал осла мулле на мясо.

Прощай, Бяша! До тебя ли теперь...

Отчим Маврикия беспокоился о скорейшем пуске мельницы, чтобы она давала гарнцы зерна за помол. Его волновал и луг, который никогда не косили Тихомировы, оставляя траву для любования ею, для сохранения полевых цветов и полевой клубники. Какие могут быть тут цветы, когда луг должен дать два добрых стога сена. И если продать это сено поближе к весне, то можно взять за него и вдвое.

Мельница и луг - это еще что... Герасима Петровича беспокоили дикие утки, гнездившиеся в камышах тихомировского пруда. Он внушал непонятливому пасынку:

- И утята теперь тоже наши. Они хотя и дикие, а вывелись на моем... на нашем, - поправился он, - пруду. И так жаль, что из-за распроклятой войны осенью я их не сумею подстрелить и они улетят... А то и хуже. Забредет сюда кто-то чужой и перестреляет наших уток...

Маврик молчит и думает, что на свете нет силы, которая может расколдовать людей, которые стали мышами.

В этом возрасте Маврик предпочитал делиться своими мыслями с товарищами. Но не все можно было сказать и самым близким друзьям. И только тетя Катя, единственная тетя Катя может понять его. Он снова стал часто бывать у тетки в Замильеве. Она просила не обращать внимания на странности отчима и обещала поехать с ним в Верхотурье.

Это неизвестное Верхотурье, куда они поедут неизвестно зачем - не то на богомолье в монастырь, не то полюбоваться красотами старого города и Урала, - занимало воображение Маврика.

В самом деле, скорей бы уж уехать в это Верхотурье, за Уральский хребет, в Азию, чтобы не видеть, что делается здесь, и не осуждать...

IV

Пермь - узел речных и железнодорожных путей. Здесь перевал грузов, прибывших из горнозаводского Урала, Сибири, Монголии, Кореи, Китая. Здесь перегруз товаров, прибывших с Волги, Нижней и Верхней Камы, отправляемых в Азию.

Прежде Маврику казалось, что Азия где-то там, далеко, а она, оказывается, совсем рядом. Несколько часов езды на поезде, и ты в Азии. Пермская губерния - европейско-азиатская. Об этом он знает из учебника географии. Но учебник - одно. Это карта. А увидеть своими глазами, ступить на землю Азии своими ногами - это совсем другое.

По приезде в Пермь Екатерина Матвеевна хотела побывать с племянником в памятных местах. Но поезд отходит через два часа, а следующий пойдет только завтра. Посоветовавшись, они решили побывать в городе на обратном пути.

Билеты куплены. На станции Гороблагодатская у них будет пересадка на Верхотурье. А теперь остается более часа, и можно сходить хотя бы в Козий загон, купить по старой памяти маленький пятикопеечный фунтик жареного миндаля, вафлю трубочкой, хотя это теперь и не так интересно. Куда интереснее, где давным-давно и совсем недавно два маленьких мальчика Ильюша и Маврик - играли в козла и загонщика. Жива ли та скамейка, где сидела и любовалась ими тетя Катя?

Знакомые и родные места во все годы жизни зовут к себе человека. Какая-то мелочь, деталь, скамья, калитка, камень или что-то самое неожиданное вдруг возвращает в прошлое, и оно, переживаясь, воскресает хотя бы на минуту.

Подымаясь в гору от вокзала Пермь-1, Маврикий Толлин на исходе своих тринадцати лет шел довольно солидно под руку со своей теткой, разглядывая встречных, среди которых так много попадалось прапорщиков. Этот первый офицерский чин военного времени давался всякому, кто был способен окончить краткосрочную школу прапорщиков, и теперь их, щеголявших золотыми погонами с одной звездочкой, встречалось чуть ли не более, чем безруких, безногих калек в солдатских шинелях.

По булыжной мостовой громыхали ломовые телеги, проносились извозчицы лошади, развозя все тех же прапорщиков, катили за собой и перед собой легкие двуколки доставщики мелкой клади, гарцевали конные полицейские, тащились с поклажей на спине прирабатывающие

пристанские грузчики... И в этом пестром, разномастном потоке, стекавшем с горы и медленно втекавшем в гору набережной, Маврик увидел маленького серенького конька, запряженного в синюю тележку, нагруженную бочонками. Сердце Маврика сжалось. Крохотная лошадка так походила на того самого пони Арлекина, снившегося так часто, запомнившегося до каждого пятнышка, и особенно памятными были одна над другой две звездочки на его лбу. Маврик хотел и боялся поверить встрече с Арлекином. Не помня себя, он бросился наперерез мостовой, лавируя между ломовиками и телегами.

- Куда ты? Что с тобой? - послышался позади него теткин голос.

А он уже у конька. На его лбу те же самые звездочки. Тот же цвет грустных глаз и те же длинные белые ресницы.

- Арлекин! Неужели это ты, Арлекин? Как ты исхудал! Какие печальные у тебя глаза.

Удивляя прохожих, возниц и старика в белом фартуке, который шел рядом с синей тележкой и в руках которого были вожжи, опрятный гимназист в белой фуражке и в белой рубашке обнимает посреди мостовой маленькую лошадку, а лошадка, будто узнав его, тоненько, радостно ржет, помахивает хвостом и обмазывает слюной хорошую чистую рубашку с форменными пуговицами.

- Что случилось, Мавруша? - спрашивает Екатерина Матвеевна, с трудом перейдя дорогу.

Маврик мог сказать всего лишь:

- Это Арлекин... На нем я катался в детстве... Почему же ты такой несчастный, заброшенный конь? - спросил он коня, задавая тем самым этот вопрос старику в белом фартуке.

- Так ведь уж старый он, господин молодой человек, - тихо ответил старик. - Когда я купил его, ему уже было порядочно годков.

Хотелось выяснить все, узнать больше, и старика попросили съехать с проезжей части ближе к тротуару.

- Пожалуйста, пожалуйста, - попросила Екатерина Матвеевна старика, расскажите все о вашей лошадке.

Рассказ был недолог. В год отъезда Маврика из Перми старик, продающий вразвоз пареные груши, устал катать свою тележку и купил Арлекина, которого он теперь называет «Сермяжкой» и развозит по улицам Перми садовые парены дули, груши и грушевый квас.

- И ежели угодно испробовать, милости прошу, для знакомства.

Старик нацедил из бочонка, заткнутого деревянной затычкой, в кружечку грушевого кваса. Маврик выпил и поблагодарил. А серенький

Арлекин, ставший теперь Сермяжкой, стоял понуря голову, не замечая, как с его отвисшей нижней губы стекала тоненькая струечка слюны.

Разговаривать со стариком далее было трудно. Маврик подал ему рубль и попросил купить Арлекину сахару.

- Он очень тогда любил сахар...

- Так кто не любит его, - сказал старик, пряча рубль за пазуху в холщовый кисет, висевший на том же засаленном гайтане, что и медный старообрядческий нательный крест. - Но-но! - дернув вожжами, понукнул Арлекина старик.

Конь понуро тронулся.

Маврик отвернулся. Ему было тягостно смотреть на уходившего маленького конька, который вызывал множество сравнений, и каждое из них оказывалось печальным.

На вокзале все покупают в дорогу газеты и журналы. Маврикий купил для солидности «Ниву», «Синий журнал» и «Биржевые ведомости».

Рассматривая в вагоне «Ниву», Маврик увидел вложенный между страницами розовый листок. Заголовок листка довольно крупными буквами спрашивал: «НУЖНА ЛИ РАБОЧИМ ВОЙНА?» - а ниже помельче отвечалось: «Нет, эта война не нужна ни рабочим, ни солдатам, ни крестьянам и никому из тех, кто живет своим честным трудом, не наживаясь за счет труда других людей...»

В это время вошел кондуктор. Маврик перевернул лист журнала и закрыл им листовку. А то, что эта была листовка, Маврик не сомневался. Листовок он хотя и никогда не видел, но знал их по описаниям.

Оттиск на этой листовке походил на штемпельный, и Маврик невольно вспомнил Ильюшу и штемпельную мастерскую Киршбаума. Он вспомнил об этом не потому, что знал или догадывался о происхождении этой листовки. Всякий штемпель напоминал ему Ильюшу.

Как был бы удивлен Маврик, узнав, кем сделан большой штемпель, оттиснутый на этом рыхлом, легко впитывающем краску розовом листке. Да и не менее удивился бы Ильюша, узнав, что это дело рук Артемия Гавриловича Кулемина.

Об этом Маврикий узнает значительно позднее. А теперь он хотел как можно скорее прочитать розовую листовку. В листовке очень ясно говорилось, почему эта война нужна богачам, в скобках называвшимся незнакомым словом «буржуазия», и какие прибыли она им приносит. Некто, подписавший ее инициалами, подписал не двумя, как обычно, буквами и не тремя, как тоже иногда подписывают, а пятью - РСДРП, призывал разъяснять всем труженикам, что такое война и почему она ненавистна народу.

Маврик хотел сохранить листовку, но, вспомнив, что за это арестовали токаря Шамшурина из механического цеха, модельщика Пермякова, решил избавиться от нее. Это было просто. Но Маврику было жаль расставаться с листком, в котором говорилось то, что никто не смел сказать, и он снова решил перечитать напечатанное, а затем бросить в окно, чтобы она была прочитана еще кем-то. Листовку подхватил и умчал ветер, а он принялся смотреть в окно. Чем дальше от Перми, тем интереснее и красивее становилась дорога.

Старая горнозаводская дорога, полудугой соединяющая Пермь с Екатеринбургом, может быть без преувеличения названа стальной нитью богатейшего ожерелья, нанизавшей на себя многие десятки больших и малых заводов. Начиная с прославленного Мотовилихинского завода, Чусовского, Лысьвенского, затем Бисертского, Кушвинского, Баранчинских заводов и далее, где дорога круто поворачивает к югу, заводы встречаются чаще, дымы гуще. Лайские, Тагильские, Невьянский, и нет им числа до самого Екатеринбурга. И все они, стоящие близ горнозаводской железной дороги, плавят железные и медные руды, варят сталь, прокатывают железо, производят тысячи различных металлических изделий от болта до машин, от проволоки до мостов и котлов, составляющих гордость края.

И в каждом из заводов, что бы он ни производил - прокатывал рельсы или клепал фермы мостов, отливал колеса или отковывал валы, - Маврикий видит свою Мильву. Что из того, что у одних вместо железных кирпичные трубы или у цехов иные крыши, - в каждом из них найдешь Мильву. И Маврику кажется, что они, все эти заводы, отдали Мильве кто фасон труб, кто голос свистка, кто фасад цеха, кто рисунок ограды - и из всего этого составилась Мильвенский завод, похожий сам на себя и на все заводы Урала.

Хорошо думается, когда идет поезд и открывается все новое и новое за окном. Недалеко уже до станции Европейская. За станцией Европейская стоит столб, и на столбе написано с одной стороны «Европа», а с другой - «Азия». Горы уже круче. Поезд идет медленнее. Паровоз часто, шумно дышит, выбрасывая из трубы дым и пар.

Скорей бы уж. Самое трудное в жизни - ждать. А ждать приходится все и всегда. Прихода поезда, парохода, звонка на перемену. Рыбу, когда она изволит проглотить крючок. Войну, когда она кончится. Четырнадцать лет, до которых еще столько дней и ночей.

Поезд останавливается. За окном станция Европейская. Поезд стоит здесь недолго. На этом краю Европы, так же как и в Мильве, пахнет полем и лесом. Растет иван-чай и, конечно, кислица. Не прозевать бы столб. Не прозевать бы границу двух частей света. Приходится то и дело высовываться в окно и смотреть вперед, чтобы увидеть столб. И вот, кажется, он. Да, это он. И уже различима надпись - «Европа».

Поезд оказывается таким предупредительным, таким вежливым, замедляя ход до самого тихого. И вот паровоз уже идет по Азии, а вагон, в котором стоят у окна Маврик и его тетка, все еще находится на Европе.

- Ну почему же ты так волнуешься. Мавруша, ведь там же за столбом все равно та же наша русская земля...

- Нет, нет, - заикается Маврик, - там Азия...

Маврик не замечает, что за ним наблюдают, им любуются два добрых глаза незнакомого пассажира в сером пыльнике, с русой бородой. Этот человек сел на станции Пашия. Но Маврику не до пассажиров. Ему нужно найти хоть какое-то отличие азиатской земли от европейской, чтобы на уроке географии, по которой у него почти всегда пятерки и которую преподает удивительная Тамара Афанасьевна, рассказать, как он путешествовал в Азию.

И так обидно, что в Азии те же ели и сосны, та же трава, такие же увалы и горы и такой же иван-чай.

И зачем только и кому понадобилось ставить этот столб и разделять единую землю на Европу и Азию?

VI

Поезд прибыл на станцию Гороблагодатская. Здесь сошло немало пассажиров. Потому что многим предстоит пересадка на ветку, которая идет через Верхотурье в Надежинский завод, название которого написано почти на всех рельсах уральских железных дорог.

Сошел с поезда и пассажир с бородой, в светлом пыльнике. Он прошел в буфет. Екатерина Матвеевна тоже предложила подкрепиться. Багаж сдали в камеру хранения. До поезда в Верхотурье часа четыре, нужно куда-то убить время. Не сходить ли после обеда на знаменитую гору Благодать? На ее вершине памятник человеку, который открыл эту гору и которого за это сожгли его сородичи-язычники, потому что гора была священной. Она притягивала все железное. И на ней молились идолопоклонники. И это не сказка, а историческая быль, рассказанная той же Тамарой Афанасьевной. И ей будет приятно, если ее ученик Толлин пополнит коллекцию минералов. А здесь их должно быть много.

Сказав тетке о своих намерениях, Маврикий отправился к горе. К ней ведет ветка дороги. С первых же шагов на насыпи дороги попадаются редкие камни. Из них состоит то, что железнодорожники называют балластом материалом для подсыпки верхней части насыпей. Гранит нельзя спутать с известняком, а уж с малахитом-то или яшмой - тем более. Маврик знал по той коллекции, какая есть в гимназии, до двадцати различных пород камней. А тут попадаются и неизвестные. Он их берет и кладет в узелок, завязанный из носового платка. Трудно поверить, но тут попадаются и обломки горного хрусталя. И никто не запрещает брать это. А в Мильве каждый такой камешек с радостью возьмут в коллекции товарищи. Среди них тоже есть мышата. Им мало общей школьной коллекции - они хотят свои.

Разговаривая с самим собой, он и не заметил, что идущий за ним бородатый пассажир в пыльнике тоже собирает камешки.

- Вот это находка, - услышал Маврик позади себя приятный голос. Кварц с крупными золотыми вкраплениями. Полюбуйтесь, молодой человек.

- Вот бы мне найти такой, - сказал со всей непосредственностью Маврик.

- Зачем же находить, коли я уже нашел! - Сказав так, незнакомец преподнес камень.

- Нет, я не могу взять у вас. В нем же золотые крупинки.

- Да полно, полно. Их тут на два гроша с полушкой. Берите.
Прежде чем взять, Маврик сказал:

- Вы знаете, я ведь не для себя собираю камни, а для мильвенской гимназии. Для коллекции Тамары Афанасьевны.

- Тем более нужно взять. Особенно мне приятно, что моя находка и это все пойдет для такой хорошей гимназии.

- А откуда вы знаете о ней?

- Из газет. Я много читаю. Эту гимназию, кажется, создал некто Тихомиров?

- Не некто, - поправил Маврик, - а очень передовой и благородный человек, хотя и... Но директором сделали другого.

- Наверно, еще более хорошего и еще более передового человека?

- Нет... директором назначили Аппендикса. Что в переводе с латинского означает - слепая кишка. Он протоиерей.

- Значит, неважный человек, коли его прозвали Слепой кишкой, хоть и протоиерей.

- Ерундовый, - подтвердил Маврик. - Может быть, я этим оскорбляю ваши религиозные чувства? - вдруг спохватился Маврик. - Может быть, вы едете на богомолье в Верхотурье?

- Да нет, - с легкой усмешечкой ответил незнакомый. - Я отмолился лет в четырнадцать... А вы?

- А я? - задумался Маврик. - Я, кажется, еще нет... А почему вы любопытничаете?.. Об этом же нельзя разговаривать с первым встреч... ну, в общем с незнакомым человеком. За безбожие могут исключить... Или еще хуже. Причислить к политическим.

- Да-а... это ужасно.

- Хотя... хотя я не из трусливых. Я уже всякое повидал на своем веку.

Маврик вдруг сделался солидным. На лице его изобразилась таинственность. Ему даже почему-то захотелось сказать: «Какая жалость, забыл в шинели папиросы». Но это было бы уже чересчур. И он ограничился тем, что почти шепотом сообщил незнакомцу:

- Вы не думайте, в Мильве тоже случаются разные происшествия, ничуть не менее страшные, чем на этой горе. Хотите со мной на эту гору, и я расскажу про нее одну страшную историю.

- С превеликим удовольствием... - согласился человек с приятным лицом. - Я безумно люблю всякие истории.

Они не торопясь подымались на гору Благодать по деревянной лестнице, которая зигзагами вела от площадки к площадке. Когда же они поднялись к чугунному памятнику, который представлял из себя чугунную

вазу с пылающим в ней тоже чугунным огнем, то Маврик сказал:

- Этот памятник хотя и попроще нашего горбатого медведя с короной на спине, но лучше...

- Чем?

- Тем, что этот памятник прославляет что-то хорошее и возвышает, а не придавливает и не устрашает... В нем хотя и не настоящее пламя, но оно все равно как бы горит и не затухает...

- Ты прав, бараша-кудряша, горит и не затухает...

Маврик вздрогнул:

- Как вы назвали меня сейчас?.. Как вы назвали, повторите...

- Как всегда, - тихо ответил Иван Макарович Бархатов, Бараша-кудряша.

VII

Как много нужно было Маврикию сказать Ивану Макаровичу и еще больше услышать от него. Только Иван Макарович мог прямо ответить на те вопросы, которые все остальные обходили молчанием или ограничивались туманными полуответами.

За час-полтора, проведенные на горе, Маврикию открылось куда больше, чем за все эти годы недомолвок, намеков и догадок. Бархатов понимал, что сейчас он сеет зерна в хорошую почву. И пусть не все из этих зерен дадут скорые всходы, но не пропадут в его душе, не засоренной никакими мельницами, салотопнями, ни особым его положением гимназиста по сравнению с другими юнцами, выросшими в рабочих семьях, где нужда, нехватки, недоедания оказывались хорошими учителями суровой школы жизни.



Маврик, ничего не утаивая, ничего не боясь, говорил с Иваном Макаровичем еще более откровенно, чем с Ильей, Санчиком и, уж конечно, с такими, как Коля Сперанский, как Митя Байкалов.

Правда, и Артемий Гаврилович Кулемин говорил, что жизнь будет не всегда такой, а какой именно - умалчивал.

И столяр школьной мастерской Ян-чех на примере доски показывал, что люди делятся по слоям, а не по тому, как их хотят расчертить и распилить. И наконец, Емельян Кузьмич Матушкин, учивший ребят в ближнем лесу ставить петли на зайцев, обещал какую-то большую «весну-красну». Не ту, что приходит каждый год... А какую, он тоже не договаривал. А теперь Иваном Макаровичем все недосказанное было собрано воедино и разъяснено. Будто он взял и дорисовал недорисованное, в котором было много непонятного, которое нужно было соединить какими-то линиями, чтобы все остальное ожило разумной и понятной картиной.

Было ясно, кто и почему начал войну и во что она превратится. Стало бесспорным, что судьбы создают сами себе люди, как и своих богов. Стало понятно, почему богаты одни и бедны другие. Выяснилось, наконец, почему несправедлив и жесток царь и почему он не может быть иным, даже если бы и хотел. Было сказано, почему друзей называют врагами, и наоборот - почему поработителей, хищников, кровопийц, узаконенных грабителей стараются показать хорошими, добрыми и чуть ли не посланными самим богом.

Как много оставит Маврикий здесь, на вершине горы! Еще больше отшелушится потом, когда он, раздумывая, примется настойчиво открывать крепко запертое царем, церковью, богатеями.

Связку волшебных ключей подарил Бархатов своему любимцу. Теперь скоро. Теперь очень скоро жестокая война обернется против тех, кто хотел нажиться на ней.

С горы открывается вид на котлован рудника. Работает множество рудокопов и возчиков. Они в синих, красных, желтых, белых рубахах. Лошади вороные, карие, пегие, гнедые, рыжие, сивые, запряженные в тележки, спускаются и поднимаются по уступам котлована, доставляя добытую железную руду. Бархатов, указывая на эту кишашую пестроту, говорит медленно, терпеливо, убежденно:

- И всё руки да лошадь. Ни одной машины. Дело не только в том, что народ возьмет это себе... Народ должен переустроить все от основания. Создать машины, которые добывают руду, которые дробят ее, сортируют и отвозят на, доменные печи. Должно быть много машин. Всяких машин. Машины будут пахать и копать. Рубить и ковать. Строгать и пилить. Машины должны будут делать все, что делают сейчас руки. Строить, изобретать, конструировать машины - будет всенародным делом. И будет

очень хорошо, если ты, - сказал совсем ласково Иван Макарович, - придумаешь хоть одну из них.

Потом он посмотрел на часы. Потом кивнул на Кушву.

Кушва - большой заводской поселок Гороблагодатского рудника и металлургического завода. Деревянные дома и серые тесовые крыши.

- Тоже как в Мильве, - сказал Бархатов, - живут своими дворами. И в каждом дворе свои заботы и свои задачи. Ничего, ничего. Ни один двор не уйдет от решения общей задачи. И ты это скоро тоже поймешь, Кудрикий. А теперь тебе время на станцию. - Он протянул руку. - Ты, пожалуй, не сообщай, что встретил меня. Екатерине Матвеевне лучше, я думаю, меньше знать. И для меня спокойнее. Ну, а на тебя-то я, товарищ Толлин, надеюсь, как на себя. Если, как ты говоришь, в те годы умел язык за зубами держать и никому не сказал, что узнал меня на Омутихинском пруду, то теперь-то уж и колом слова из тебя не вышибешь. Так, что ли?

- Так, Иван Макарович. Только вы все равно обнимите меня, как прежде... И я обниму вас на прощание...

И они обнялись там же, у чаши - памятника Степану Чумпину. У чаши, в которой горел хотя и чугунный, но огонь.

- Мне туда, - указал Иван Макарович на синеющую за рудником гору. Адреса постоянного пока еще нет. Так что писать мне, Маврикий свет Андреевич, некуда. А твой адрес я знаю. Пока...

Бархатов направился по склону горы. Маврикий стал спускаться по лестнице. Вскоре Бархатов скрылся в кустах. Как жаль, что встреча была короткой, но нужно быть благодарным и за это. Они могли и не встретиться.

Не спешит торопливый Маврикий, шагая по шпалам ветки на станцию. Боится растерять услышанное...

VIII

Где-то в этих местах начинаются красоты Северного Урала. Было на что посмотреть Маврику. В Мильве отроги, увалы, а здесь встречаются большие скальные образования. Лес тут строже, выше и деревья крепче стоят на своих разлапистых ногах. Очень много кедров и много белок. Их можно увидеть из окна вагона.

Верхотурье предстало не таким, как представлялось. Это очень маленький деревянный городок. Куда ни посмотри, виден конец улицы. Главное здесь - монастырь. В монастыре всё из камня. Храмы, службы, дома для приезжих, ворота и стены.

- При монастыре половина города живет, монастырем и кормится, рассказывал Екатерине Матвеевне Петр Тихонович Мальвин.

Петр Тихонович тоже кормится монастырем. Возит богомольцев с вокзала в монастырь. Некоторые по рекомендации останавливаются у него. Маврик с теткой приехали по рекомендации, поэтому Мальвин и подал им лошадь, а тетя Катя до этого посылала ему телеграмму. Мальвин, как и Яков Евсеевич Кумынин, прирабатывает конем. Извозом. А вообще-то он мастер - гнет сани, делает коромысла, обода для тележных колес.

Дом у Петра Тихоновича - комната и кухня. Можно сказать - изба, но, конечно, с городской начинкой. Кровать с никелированными шишками. На окнах тюль. За тюлем герань и столетники. Посреди горницы комод с зеркалом. На комодe свинка-копилка, соломенная шкатулочка и каслинского литья конь. Хозяйка была рада гостям.

- Одни мы живем, - сказала она. - Был сын, да угнали на позиции. Теперь-то его, слава богу, ранили. Живым приедет наш Сереженька, хоть и без ноги... Без ноги не без головы, - рассудительно добавила она.

Судя по всему, Петра Тихоновича нельзя было отнести к людям верующим. К монастырю и к монахам относился он явно плохо. О Симеоне Праведном, на поклонение мощам которого в Верхотурье съезжается множество богомольцев, Петр Тихонович говорил так:

- У нас на Урале два святых - Стефан Великопермский и Симеон Праведный. Стефан из высокого роду-племени, в больших церковных чинах, а наш Симеон из простых. Стефан в церкви знаменит, а этого нашего и в народе знают. За своего считают. Он вроде как бы портным был. По домам ходил шил. А денег не брал. Шьет, шьет - нашьет ворох всякого-разного, какую-то малость не доделает, и нет его. Исчезал. Святой очень

любил рыбку ловить. Поэтому на иконе его рисуют на берегу речки с ведерком и удилищем... Ну, а потом... потом нетленные мощи обнаружили, - сообщает Петр Тихонович. Насколько они тленны, насколько нетленны - сказать не могу. Не видел. А те, кто поближе это всё знают, по-разному говорят.

Екатерина Матвеевна отворачивается к окну. Ей не хочется слушать о мощах. Маврик замечает это. Она не верит в святость мощей. Это ясно. Но зачем же она ехала сюда, зачем она идет на моления в монастырь? Неужели для того, чтобы ближе увидеть, лучше понять и разувериться во всем этом? Невероятно! Не может быть. Нет, это так и есть.

- У монастыря какой-то торговый, ярмарочный дух, - делилась она своими впечатлениями за обедом. - Торгуют всем и берут за все. Церковные службы неприлично торопливы... Монахи слишком толсты. Видимо, они очень мало постятся.

К наблюдениям Екатерины Матвеевны Петр Тихонович добавлял свое: - Наш монастырь - это фирма. Притом жадная и безжалостная торговая фирма. Возьмите вы, к примеру, Екатерина Матвеевна, целительное масло из лампы Симеона Праведного. Сколько продается этого масла? Многие тысячи флаконов. Бочками привозят его. Работает целый маслоразливочный цех. При чем тут лампада?

И перед глазами Екатерины Матвеевны предстали вчера виденные полки, уставленные флаконами с целительным маслом. Невольно ей вспомнились флаконы с зингеровским швейным маслом. На тех и на других этикетки. На одной рекламируется русская красавица, шьющая на машине «Зингер». На другой - Симеон Праведный. Он, молитвенно сложив руки на груди, стоит на берегу реки, подле него ведерко и удилище. В данном случае это не икона, а именно этикетка на флаконе с целительным маслом, которое до разлива называлось обычным деревянным маслом. Теперь оно возросло раз в десять пятнадцать в цене, оказавшись в фирменной монастырской посуде.

Екатерина Матвеевна не боится впасть в ересь, называя подлость подлостью. А это подлость, как и торговля землей, и опять же целительной, из могилы Симеона Праведного. По логике, за многие годы богомольцы превратили бы эту могилу в огромный котлован, если бы каждый из них уносил только по горсточке земли. Некоторые норовят захватить по пять и по десять горстей. У каждого из них дома родня, соседи. Говорят, земелька помогает от золотухи, от ревматизма и опухолей. И торгующим землей из могилы ничего не остается, как ночью, когда богомольцы засыпают, доставлять землю в телегах-гребарках.

- Привозят хороший желтенький песочек, - рассказывает Петр Тихонович. - Примерно пятак за горсть. Теперь, в войну, само собой надбавка. Вот и посчитайте, какие рубли берутся за воз самого обыкновенного песка.

Не оставляется в покое и промышленное производство икон. Сюжет тот же. Старик. Удилище. Ведерко. Берег реки. Но сколько бы иконописцев понадобилось, чтобы снабдить иконой каждого богомольца! Где их взять? Поэтому в Верхотурье возник едва ли не первый в мире конвейер производства икон. Столярный цех заготавливает дощечки и грунтует их. Дощечки поступают в мастерскую, которую тоже лучше назвать цехом или хотя бы производственной линией. Один через трафарет наносит абрис иконы. Другой наносит механически заученные первые штрихи. Затем появляются также затверженные облака, блики на реке, на ведерке. Далее окрашивается одежда Симеона Праведного и все, что подлежит окраске данным цветом. И так, переходя из рук в руки, дощечка становится иконой, поступающей к мастерам-отдельщикам, дополняющим недостающее, пропущенное теми, кто, не имея никакого отношения к живописи, научен делать три мазка, два штришка с тем, чтобы передать поделку дальше своему соседу.

IX

Прежде Маврик ничего не скрывал от своей тетки, а теперь оказалось, что не все можно спрашивать у нее и не все рассказывать ей. Ну как, например, расскажешь ей про то, что он слышал от своего нового знакомого на берегу Туры?

Быстрая холодная Тура текла в каменистых берегах. Дно ее было тоже каменным. На купание нечего и рассчитывать. Однажды на одном из прибрежных камней Маврик встретил удильщика, которого почему-то сразу же назвал для себя «монашенком». Он был в каком-то маленьком подрясничке и в скуфейке. Ему, видимо, очень хотелось познакомиться с Мавриком, и он первым начал разговор:

- А я в монахи не пойду. Я как подрасту, в живописцы убегу. У меня страсть как ловко краски играют. А ты из мира?..

- Из мира, - ответил Маврик.

- Мамынька у меня тоже мирская была. А тятка, говорят, из чернецов. Хочешь, удь! На! А я потом наужусь.

«Монашенок» подал Маврику немудрое удилишко, насадил червя, посоветовал не давать ершам «загланывать» крючок до хвоста. И Маврик принялся таскать ершей, а разговорчивый «монашенок» - рассказывать о себе. Видимо, ему было нужно поделиться с кем-то.

Как оказалось, мальчик был одинок и жил в «куфне» при иконописне. Его взяли туда учеником, как сироту. «Мирские» ребята с ним не водятся и «прозывают» его «скуфейкиной милостью» и «Адамкой Матреновичем». И это ему очень обидно. А в монастыре ребят нет, потому что все чернецы холостые начисто.

- И ежели есть у которых зазнобы, то тайные, - сообщил по секрету «монашенок», - и ребят они топят в Туре или душат подушками, а потом закапывают в лесу. А у меня мамынька хорошая была. Не утопила, не задушила и не закопала меня. Сама только недолговекая оказалась...

Как обо всем этом расскажешь тетке? Для чего? Зачем? Чтобы огорчить ее и признаться ей, что вот уже три дня, как он перестал верить в бога?

«Монашенок», не думая, не желая, очищал душу Маврика от последних сомнений и от последних страхов быть наказанным за безбожие.

Однако же от бога нельзя было отойти втихомолку, как от кладбищенского отца Михаила. Не стал кланяться - и все. Нужны были

какие-то действия, поступки или хотя бы заявление о своем отрицании бога. Но нелепо же заявлять об отрицании тому, в существование которого ты не веришь. Это значит утверждать отрицаемое, признавать его существующим, объявляя ему о его несуществовании.

Как все не просто. Но все равно нужно смело и прямо заявить не кому-то, а самому себе, что все кончено. И Маврикий отправился в главный храм. Он пустовал в часы трапезы. Тихо, пусто и прохладно под сводами. Только послушник обирает с подсвечников огарки.

Кому и что нужно сказать? Всем! Всем этим ликам святых, составивших иконостас. Маврик направился к амвону и, не дойдя несколько шагов до его ступеней, объявил почти вслух:

- Я не верю в вас, потому что вы только иконы, и больше ничего...

Остаться далее в храме было незачем. Сказано все. Да и как-то мрачнее стало вокруг. Может быть, послушник, обирая огарки, погасил последние? А может быть, нахмурились святые?

- Нет, нет! Хватит тебе напридумывать, трус, - сказал, тоже почти вслух, сам себе Маврик и пошел, топая гулко по плитам пола, к выходу.

Уходя, он все же немного, совсем немного, буквально чуть-чуть, побаивался, не бросит ли кто ему вдогонку камнем. Нет. Обошлось благополучно.

Выйдя к Туре через монастырские ворота, Маврик стыдил себя. Если он мог подумать о камне, брошенном ему в спину богом, значит, он еще не окончательно расстался с ним. Значит, бог не ушел из него.

Думая об этом, он не заметил, как оказался за городом, там, где Тура делает излучину и где скальные образования берега причудливо красивы. В этой излучине за скальными образованиями Маврик увидел двоих, идущих под руку. В мужчине он сразу и безошибочно узнал Ивана Макаровича Бархатова. А тетю Катю ему не нужно было узнавать. Ее никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя было принять за другую.

Маврик присел от неожиданности. Потом спрятался за камень. Потом, когда сердце стало биться как всегда, он понял, что не имеет права знать о тети Катиной тайне. И он никогда не подаст виду, что ему известно и чему он несказанно рад. Однако же эту радость он должен носить в себе, как счастливый, но нелегкий и чем-то обидный камень.

Как все не просто...

X

Кроме «монашенка», нашлись и другие верхотурские ребята. Начались лесные походы, ловля большой рыбы, охота на диких уток петлями из конского волоса... Мало ли увлекательного в окрестностях Верхотурья! Маврик всячески старался освободить от себя тетю Катю. И она то уезжала в Меркушино, где спасался, постился и укрощал свою плоть Симеон Праведный, то ездила в другие места, где Маврику тоже могло быть скучно и неинтересно. А Маврик радовался, что к тете Кате пришла хотя и поздняя, но чистая и очень возвышенная любовь. Ему давно уже наскучило в Верхотурье и хотелось в Мильву. Но нетерпеливый племянник даже не напоминал об этом тете - наоборот, удерживал ее здесь, находя воздух полезным и продукты дешевыми.

Иногда он читал в глазах тети Кати: «Извини меня, Маврушечка, но я не могу, я не имею права тебе сказать всего, потому что это не только моя тайна». Маврик тогда старался не глядеть на нее, чтобы она не прочитала в его глазах того, что не нужно ей знать.

Но пришло время, когда Екатерина Матвеевна, вздохнув, сказала:
- Пора уж...

Этого только и ждал Маврик, хотя и сказал для приличия, что можно бы денечек пожить еще.

Думая, как всегда, о Мильвенском заводе, радуясь встрече с ним после разлуки, возвращающиеся домой не знали, что там произошло большое несчастье.

Как ни далека Казань от Мильвенского завода, а все же след привел на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую. Началась слезка, грубая и нетерпеливая. В мастерскую повадился Шитиков, делая заказы на явно ненужные штемпеля. В один из приходов Шитиков заказал крупноформатный рекламный штемпель страхового общества «Саламандра».

Анна Семеновна сразу поняла, что ему нужно, и объяснила ему невозможность выполнения такого заказа.

- Во-первых, Никандр Анисимович, - сказала она, - у меня нет такого количества шрифтов, чтобы набрать такой большой текст. Во-вторых, если бы шрифт и был - допустим, я бы позаимствовала его в типографии Халдеева, то и в этом случае штемпель не мог бы пригодиться, так как нужна огромная сила, чтобы сделать мало-мальски отчетливый оттиск. Это

исключено технически.

Шитиков сделал вид, что поверил этому, не стал спорить, боясь насторожить свою жертву. Он не понимал, что им была выболтана цель его появления. Теперь оставалось ждать обыска. Найти в мастерской уже было нечего. Шрифты из подвала флигеля давным-давно были переправлены на лесной кордон, близ села Завозня.

Но и там теперь ничего не нашла бы полиция. Артемий Гаврилович Кулемин после первых подозрительных визитов Шитикова перепрятал шрифты и вулканизационные прессы. Подготовилось к обыску и подполье. Матушкины сожгли все не представляющее ценности, закопав остальное на берегу речки Медвежки.

Следователь из губернии, потеряв терпение и надежду на успех слежки, решил арестовать Анну Семеновну, убежденный, что на допросе будут выяснены все подробности. И вскоре Анна Семеновна была арестована. В штемпельной мастерской был произведен тщательнейший обыск. Простукивались стены. Вскрывались полы. Обороняясь, Анна Семеновна заявила протест. Но кто мог ей внять? Кто мог заступиться за нее, названную немецкой шпионкой? Это было страшное, отпугивающее клеймо, которым пользовались, когда подозреваемому нельзя было предъявить обвинение при отсутствии улик. Но следователь верил, что улики будут. Он не пренебрегал ничем, даже допросом детей. Пригласив Фаню, затем Ильюшу, он рекомендовал им рассказать правду. Но ни тот, ни другой ничего не знали. Да если бы и знали, то разве бы кто-то из них предал мать?

Анну Семеновну вскоре отправили в Пермь. Кулемин был уверен, что следующая очередь его или Терентия Николаевича Лосева. Однако вместо них арестовали наборщика из типографии Халдеева. Наборщик некогда работал штемпельщиком и числился в подозрительных. Это дало возможность подпольщикам сделать заключение, что жандармы не имеют точных сведений о производстве подпольных штемпелей.

Терентия Николаевича Лосева никто не считал революционером. Поэтому он, не настораживая шпииков, мог появляться в квартире Киршбаумов и как-то помогать Ильюше и Фане.

Нестерпимо тяжелое положение детей, разлученных с матерью, становилось все хуже и хуже. Удар обрушивался за ударом. Оказавшись без средств к существованию, если не считать скудных сбережений, оставленных матерью, Ильюша и Фаня не могли содержать, оплачивать квартиру, где они жили. На первое время можно было продать кое-что из имущества для самых необходимых расходов, а что потом?

- Ты должен поступить на завод, Иль, - очень серьезно и решительно сказал Санчик Денисов. - В снаряжном цехе есть очень простая и денежная работа. А Фаня пусть доучивается.

Санчик не подумал, что учиться в гимназии - это значит платить за обучение. И платить не так мало. Но не в одной плате было дело.

Возникла новая трудность. После ареста Анны Семеновны всплыло то, что до этого спало в бумагах. Немногие, в том числе пристав Вишневецкий, знали, что Григорий Савельевич Киришбаум и Анна Семеновна Петухова не состоят в церковном браке. И никто не упрекал их за это. Наоборот, было что-то высокое, стоящее над предрассудками, когда не обряд, а любовь венчала эту на редкость дружную пару. А теперь?

А теперь все обернулось против арестованной. Если она пренебрегала религией отцов, если она поступилась таинством брака, то что ей стоило стать немецкой шпионкой? Этой «логики» придерживался не один провизор Мерцаев, но и нотариус Шульгин, и купец первой гильдии Чураков, и, конечно, протоиерей Калужников.

Когда это все стало известно в женской гимназии, то там нашлись девочки, которые назвали Фаню внебрачной, незаконнорожденной и еще более худшим словом. Ходить в гимназию теперь стало трудно. В глазах каждой девочки она сможет читать и то, что в них не написано. Это страшно.

Но у Фани оказались друзья, о которых она не знала. Подпольщики не могли открыто вмешаться в ее судьбу, но у них была возможность действовать скрытно. И это сделали Матушкины. Они, состоявшие в родстве с Тихомировыми, обратились к Варваре Николаевне.

И вскоре во флигеле на Песчаной улице появились бабушка и внучка Тихомировы.

- Фанюша, - сказала Варвара Николаевна, - ты поживешь у нас, пока не оправдают твою маму.

Лера назвала Фаню милой сестричкой, что нужно было правильно понять и не пытаться объяснить.

Покровительство Варвары Николаевны много значило в женской гимназии. Обидеть Фаню теперь - значило обидеть уважаемую и почтенную женщину. Как-никак генеральша.

Для слухов и пересудов нашлось достаточно домыслов. Имя тихомировского внука Викторина теперь прочно стояло рядом с именем, красавицы Фани. Подтверждением этому была телеграмма из Кронштадта, в которой Викторин благодарил свою бабушку за благородное великодушие.

Варвара Николаевна ничего не отрицала, равно как ничего и не утверждала. Кому как хочется, тот так пусть и судит.

Позаботились и об Ильюше. Для него нашелся хороший опекун Самовольников. Тот самый Ефим Петрович Самовольников, у которого шесть лет тому назад по приезде из Перми жили Киршбаумы. Кулеминым в разговоре с Ефимом Петровичем было сказано:

- Ты, Ефим, не бойся. Мальчишка тебе не будет в тягость. На свете есть люди, которые не дадут пропасть Ильюшке.

С устройством на завод теперь было просто. Брали всех. Лишь бы руки. Ильюшу приняли в снарядный цех. Там тоже нашлись опекуны. Кулемин делал все, что мог, не разглашая и ничем не показывая своей заботы о сыне арестованной Анны Семеновны.

Конечно, Кулемину очень хотелось определить Илью в семью Маврика. Но этого сделать было нельзя. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не согласилась бы пустить к себе мальчика из опасной семьи.

Ждать, когда вернется Екатерина Матвеевна, и насыпать ей заботу об Илье, Артемий Гаврилович тоже не находил удобным, хотя и знал, что по приезде она сделает все возможное. Так и случилось. Она, как перед богом, мысленно поклялась перед Иваном Макаровичем заботиться об Ильюше.

Маврик вернулся из Верхотурья, когда квартира Киршбаума была пустой. Ильюша уже работал на заводе. Маврик встретил своего друга вечером у проходной. Они обнялись, стараясь изо всех сил сдержать слезы.

- А как же теперь гимназия? - спросил Маврик. - Ты ушел из гимназии?

- Нет, - ответил Ильюша. - Я хотел уйти, но мне этого не дал сделать Аппендикс. Он сказал, что я отчислен им из гимназии как неблагонадежный... Словом, меня выгнали.

Маврик сжал кулаки.

- Илья, ты можешь мне не верить! Но мне сказал один человек, которому нельзя не верить. Верь не мне, а ему. Скоро все это кончится! Верь!

Ильюша верил вместе с Мавриком. Ждал. Надеялся. А время шло, и ничего пока не изменялось. Пришла осень. Осень сменилась зимой, и все оставалось по-прежнему.

Но все равно они ждали, они верили, они знали, что конец близок. Надежда сбывалась.

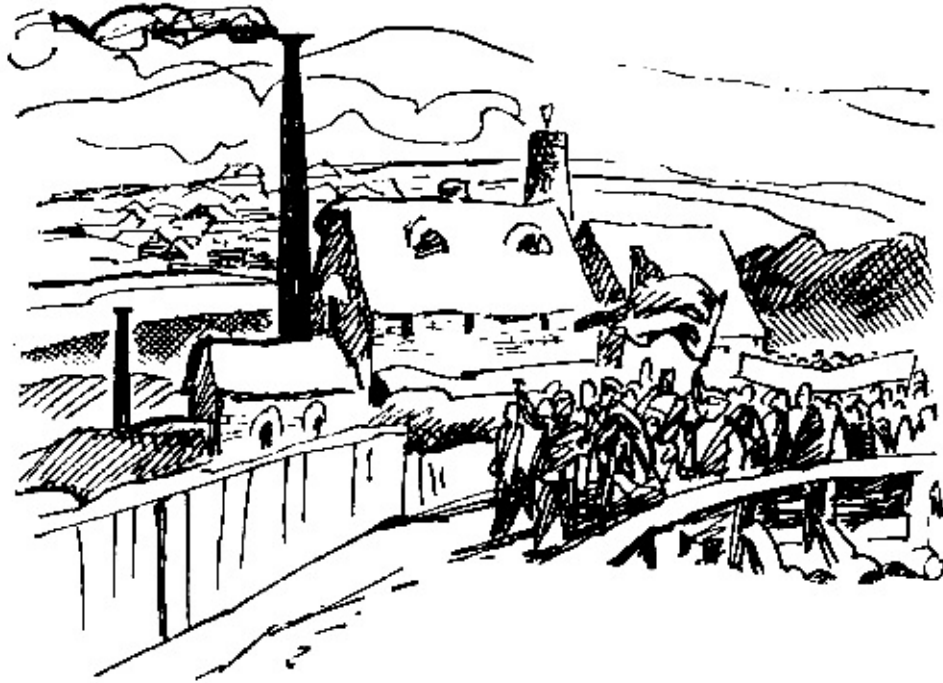
Наступало то, что не могло не наступить. Сбывалось предсказанное Лениным, сказывались результаты большой разъяснительной работы

большевиков в армии. Солдат прозревал. Война лишалась важнейшего и обязательного условия, без которого она не могла продолжаться. Война лишалась подчинения солдат, покорности армий.

У правительства не было идей, не было целей, которые хотя бы ложно могли воодушевить, а затем подчинить солдата, чувствующего себя так подло и так бесстыдно обманутым.

А у таких, как Григорий Киршбаум, Павлик Кулемин, у тысяч большевиков, мобилизованных в армию и отправленных в окопы, были ясные, бесспорные взгляды на войну. Истина, сказанная двум-трем солдатам, становилась достоянием роты, батальона, полка...

Малочисленная, но уже великая ленинская партия сделала все, чтобы империалистическая война могла превратиться в гражданскую.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

Февраль, будто ошалев, пуржил круглые сутки, подымая на мильвенских улицах легкий снег, подсыпал новый так обильно, что вся земля выглядела подобием дна белого снежного бушующего океана.

- Злится коротышка февраль на то, что ему мало дней дадено, - говорил про бунтующий месяц Емельян Кузьмич Матушкин. - Не хочет кончаться и в марте криводорожное путало-шатало, а приходится уходить.

У Емельяна Кузьмича сегодня счастливый день. Серым солдатом на костылях принес ему радостные вести большевик из Петрограда. Если вести верны, так лучшего и желать нечего...

За ночь вероломный февраль наметал такие сугробы, что в них утопали по самую крышу невысокие дома, в каких жило большинство рабочих. Приходилось разгребать траншеи не к одним лишь воротам, но и к окнам, чтобы не сидеть в темноте.

Никогда еще в Мильве не было таких снежных дней, и многие считали, что дикие метели и обильные снегопады приходят неспроста.

- К чему бы это, Любонька? - спросила Васильевна-Кумыниха, ночевавшая у Непреловых. - Не к концу ли войны?

Люди давно, с незапамятных времен ищут в явлениях природы таинственные предзнаменования, и они обычно оправдываются, потому что в большой жизни, как и в малой Мильве, всегда что-нибудь случается. Поражение на фронте. Увечье на заводе. Пожар дома. Нехватка муки. И даже новое подорожание сахара можно будет объяснить тем, что «не зря, бабоньки, так пуржило-кружило».

На этот раз суеверная молва в снежной буре увидит куда более серьезное «предсказание», и все старые и пожилые люди будут твердить, о чем «упреждали» несусветные бураны.

И, в частности, о том, что во многих рабочих домах курицы запели петухами, а самовары тревожно выли, как в пятом году, а коровы телились

сплошь одними бычками.

Любовь Матвеевна Непрелова тоже с тревогой смотрела на ошалевший снег. Она не предполагала, не догадывалась, что значит это все, а точно знала о происшедшем, хотя и не полностью верила услышанному. Когда же она увидела, что казавшийся неистощимым снегопад вдруг оборвался, будто какая-то сила, какой-то нож отрезали его, и над Замильевым как-то особенно оранжево-красно запылало рано всходившее теперь солнце, - в этом она, не лишенная предрассудков, нашла подтверждение услышанному от почтового чиновника. Он сообщил ей первой потрясающее телеграфное известие, перехваченное им.

- Значит, правда, - сказала она, расчесывая волосы перед окном и разглядывая красное солнце. Решила предупредить сына.

Маврикий проснулся, разбуженный ярким светом, и хотел порадоваться вслух концу метелей, но мать подала ему знак:

- погоди, не вставай. Я должна сказать тебе очень важное и предупредить тебя под большим секретом не говорить об этом никому.

- Что такое, мама? Что случилось? - приподнялся Маврик.

- Я это говорю тебе потому, чтобы ты, услышав от других, не вздумал сожалеть или радоваться, потому что еще неизвестно, что нужно делать и как себя нам вести, - наказывала она сыну, закалывая последние шпильки в прическу.

- Ну говори же, мама... Я обещаю...

Любовь Матвеевна помедлила несколько секунд, ища интонацию и самые слова, чтобы по ним сын не определил его отношения к сказанному.

- Ты знаешь, Маврикий, нашего царя, то есть нашего бывшего царя, Николая Александровича Романова, не стало.

- Его убили?

- Ну что ты, право! Откуда у тебя такие предположения? Царь отрекся от престола и добровольно передал его своему брату Михаилу. Но и Михаил Александрович тоже не захотел быть царем. Пристав об этом еще не знает. Он только что, расфуфыренный и веселый, промчался мимо в своих новых санках с медвежьей полостью.

- При чем тут, мама, медвежья полость и пристав? Царя арестовали и посадили в тюрьму.

- В тюрьму? Царя? - Любовь Матвеевна даже изменилась в лице. - За что?

- За войну! За убитых и раненых! За каторжную работу на заводе. За Анну Семеновну... За ее детей... За это мало тюрьмы. За это нужно заковывать...

Маврик не мог себя сдерживать. Зерна, брошенные в его душу Иваном Макаровичем, стремительно пошли в рост.

Бледная мать, с дрожащими губами, силилась и не могла прикрикнуть на сына. А он, выпрыгнув из-под одеяла, не думая одеваться, подбежал к царскому портрету, купленному вместе с другими вещами у Дудаковой, спросил:

- Отрекся, вампир? Струсил?

- Маврикий! - остановила его мать и стащила со стула, когда он хотел снять портрет царя. - Василий Васильевич, может быть, еще ошибается. Может быть, он неправильно прочитал телеграмму, и нас причислят к политическим, арестуют и посадят в тюрьму. Ты что?

Маврик отошел от портрета не потому, что усомнился в свержении царя, ему было жаль испуганную мать, со слезами на глазах умолявшую не губить себя и ее.

- Ради меня, ради твоей маленькой сестры, которая, как дочь Анны Семеновны, может быть выброшенной на произвол судьбы, ты ни с кем не будешь говорить в гимназии о царе... Ты ничем не покажешь, как ты относишься к этому, если кто-то будет заводить с тобой разговор, особенно Юрка Вишневецкий, который все передает своему отцу. Поклянись перед иконами, - потребовала мать.

Маврик, быстро одеваясь, заявил:

- Клясться не буду. Мое честное слово сильнее клятв. Я не буду ни о чем говорить. А тебе бы уж лучше молчать, мама...

- Но как же я могла не предупредить своего сына? Ведь ты со своим длинным языком обязательно попал бы в беду. Обещаешь?

- Да-а...

За окном белым-бело и солнечно. По улице бредут с мочальными сумками женщины. Проходит в камчатских бобрах Чураков. Он идет в свой магазин. Появились мальчишки с подвязанными к валенкам дощечками от старых селечных бочек вместо лыж. Неторопливо передвигает ноги старый соборный священник отец Самуил. С ним раскланивается тоже никуда не спешащий урядник Ериков.

Может быть, в самом деле ничего не произошло? Неужели они ничего не знают? Наверно, следует пока попридержать язык.

За столом, когда пили чай с дорогим белым хлебом и с очень подорожавшим сливочным маслом, Любовь Матвеевна сказала:

- А может быть, тебе в такой смутный день не стоит ходить в гимназию?

- Не стоит, - слышался из-за перегородки голос Васильевны-

Кумынихи. - Сегодня с обеда начнет бастовать завод. Якова нашего пристращали забастовщики-комитетчики: если, дескать, в обед не бросишь работу, пеняй на себя. А в Питере-то, Любонька, в Питере-то черным-черно забастовщиков, и не одной прибавки да восьми часов требуют, продолжала Кумыниха, - но и царя грозятся согнать.

- Потом, Васильевна, расскажешь, - предупредила Любовь Матвеевна, указывая глазами на сына. - Лучше подумай, что сварить на обед.

Забастовки давно уже не бывало в Мильве. Бастовали отдельные цеха. И если сегодня забастует весь завод, то Маврик увидит Илью до вечера. Уж они-то с Санчиком первыми бросят работу.

- Да, мама... Я, пожалуй, пропущу сегодня день. Диктовок нет. География, закон божий, русский и пение... По ним я не отстаю. Схожу к тете Кате, а потом в земскую библиотеку.

- И очень хорошо...

На улице стояла тишина. Ничто не подтверждало свержения царя. Проходя через плотину, Маврик невольно задержал свой взгляд на медведе. Он по-прежнему шел по гранитной глыбе, попирая крамольное чудище, держа в своем горбу позолоченную корону, которая блестела больше, чем всегда, в лучах солнца.

Возле медведя, у полосатой полицейской будки, как всегда, стоял важничавший постовой.

Неужели все останется по-прежнему?

Нет, этого не может быть.

II

В обед послышался заводской свисток. И не такой, как всегда. Тревожный. Зазывный. С отсвистками. На башне завода ударили в набат.

Маврик, успев рассказать тете Кате то, что было сказано матерью, опрометью бросился к проходной. Когда он прибежал туда, то рабочие уже покидали свой завод. Широкой темной рекой они текли по белой, заснеженной плотине. Впереди двое несли красное полотнище, и на нем наскоро было написано белилами: «Долой самодержавие!» А на других полотнищах требовали восьмичасовой рабочий день и прибавку оплаты за работу.

Пели незнакомые песни. Многие не знали слов. Но слова песен раздавались на листках, отпечатанных фиолетовыми чернилами. Маврику не удалось получить такого листка с песней. Но слова одной из них он запомнил:

Вставай, подымайся, рабочий народ.
Иди на врага, люд голодный.

Только пока ему не до песни. Нужно найти Ильюшу и Санчика.

- Толлин! - вдруг послышался голос Ильи. - Давай к нам!

Маврик побежал на голос и увидел среди молодых рабочих Илью и Санчика.

- Становись, становись в наши ряды, зашеинский внук, - громко приглашал Маврика незнакомый голос.

А другой рабочий спросил:

- Разве ты зашеинский внук, а не гимназист?

Маврик не знал, что ответить на это, как будто зашеинский внук не мог быть гимназистом. Он стал в ряд подростков между Ильюшей и Санчиком. В ряду оказался и Кега с братом. Маврик не сразу узнал Яктынку и Сактынку с Ходовой улицы. Они поздоровались как старые друзья.

Кассирша из земского склада громко спросила Маврика:

- А ты зачем тут, Маврик?

Ответил Санчик:

- Отойдите, а то затопчем...

Освоившись, Маврикий уже подпевал. И ему так приятно было считать себя забастовщиком. Он здесь не просто так, а вместо дедушки. Дедушка хотя теперь и не смотрит на него с облачка, потому что Верхотурье рассеяло все небеса, но все равно, если бы он был жив, ему было бы очень приятно увидеть внука в рядах рабочих родного завода.



Забастовка кончилась, не успев начаться. Еще не все цеха подошли на соборную площадь, как на ступенях дома управления завода появился сам господин Турчанино-Турчаковский. Он сказал:

- Господа!.. Господа рабочие, мастера, техники... господа члены стачечного комитета и председатели цеховых комитетов!.. Слышите ли вы меня?..

- Слышим, слышим, - ответили передние...

- Говори громче, - послышалось в задних рядах.

Турчаковский стал выкрикивать, срываясь с голоса:

- Я только вчера... только вчера вернулся в Мильву... И ночью... Сегодня ночью... прочитал ваши требования... Ваши требования, господа... Они приемлемы, господа... Я их принимаю, господа...

В ответ послышалось шумное одобрение. Кто-то закричал «ура». Турчаковский поднял руку, он просил тишины.

- Прошу пожаловать ко мне сегодня выборных от стачечников. Выборных от стачечников... Вы слышите?..

- Слышим, - ответили голоса.

- И мы вместе, господа... - выкрикивал он, повторяя фразы. - Мы вместе, господа, сделаем все возможное... Все возможное, чтобы дать вам еще больше... Еще больше, чем вы требуете... и не дать остановиться цехам, работающим для победы... для победы над врагом.

Бастовать больше было не за что. А что касалось требования «долой самодержавие», то этого вопроса управляющий да и никто в Мильве не решал.

Часть забастовщиков вернулась на завод, часть отправилась ходить с флагами по улицам, а остальные пошли домой. А три верных друга решили уединиться на кладбище. Там-то уж никто не услышит. Но все было выяснено по дороге.

- Говорят, что в Петрограде, - сообщал Санчик, - прогоняют царя.

- А по-моему, его уже нет, - очень солидно и очень уверенно сказал заметно выросший и раздавшийся в плечах Ильюша.

- А почему ты так думаешь? - осторожно спросил Маврик, боясь не сдержать слово, данное матери.

- Разве вы не заметили, - стал отвечать Ильюша, - как разговаривал сегодня с балкона Турчак? Сколько раз он сказал слово «господа»? И кому? Господами же всегда были они, а не мы - рабочий класс. И я думаю, что Турчаковский-хитряковский знает, что царя нет.

Маврик не мог далее молчать. К тому же он обещал матери не говорить о свержении царя в гимназии, а это же не гимназия, а завод. Это же «мы, рабочий класс». Как можно скрывать правду? И он твердо и определенно заявил:

- Царя нет, Иль. Он отрекся... - Далее Мавриком было рассказано все,

что знала Любовь Матвеевна от телеграфиста.

- Так сказал телеграфист? - переспросил Ильюша. - Он читал телеграмму?

- Да, - твердо ответил Маврик.

- Значит, правда. Значит, все будет по-другому. Мама вернется.

Для молодого представителя рабочего класса Ильи Киршбаума, который хотя и жил теперь революционными идеями и мечтал о гибели старого мира, свержение царя было прежде всего возвращением из тюрьмы матери, которая ему была нужна, как никогда. Ильюше было гораздо меньше лет, чем хотелось бы ему, так рано испытавшему первые горести, остающемуся все еще мальчиком, которому так трудно без матери. Может быть, даже труднее, чем Фане.

III

Монарх больше не правит страной. Самодержавие свергнуто. В Петрограде и в Москве уже созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. На зданиях красные флаги, а здесь, в царстве горбатого медведя, сегодня арестовали семерых рабочих за то, что они возмущали спокойствие и призывали к свержению царя.

Мильвенским властям от губернатора пришла телеграмма, требующая не проявлять робости, не обращать внимания на слухи, которые идут из столицы. И все следовали этому указанию, кроме Турчанино-Турчаковского, который лучше других понимал, какие события произошли в стране и как нелегко будет даже ему, искуснейшему мастеру лавирования. Не забежать ли вперед? Не предупредить ли кое-кого, например старика Тихомирова, что царь свергнут? Что ни говори, Тихомиров - отец известнейшего революционера, скрывающегося за границей. Да и сам «женераль» достаточно красен... Не худо позвонить и доктору Комарову. Этот разблаговестит сотням болтунов. И все скажут, что не кто-то, а Турчанино-Турчаковский первым сообщил по телефону радостную весть.

Он так и делает. Подходит к телефону. Крутит рукоятку и говорит:

- Центральная... Хеллоу... Прошу соединить и отойти потом от коммутатора... Квартиру Тихомирова...

От коммутатора, конечно, телефонистка не отходит и подслушивает то, чего не хочет Турчаковский оставлять в секрете.

Утро в гимназии, как всегда, началось с молитвы в большом, но теперь тесном зале. Дежурные классов, после введения военного обучения, командовали: «Взво-од, становись!» и «За мной, шагом марш!».

В зал входили сначала младшие классы, становясь впереди, начиная с первого, затем старшекласники.

Маврик, как и обещал матери, о царе в гимназии не говорил ни с кем. И кажется, никто не начинал этого разговора. Наверное, со многими из них был предупредительный родительский разговор.

На молитве, как всегда, перед образами, висевшими в правом переднем углу, появился маленький гимназистик, от которого пахло несвежим бельем, и ему, сухонькому, маленькому, как нельзя более подходила фамилия Сухариков. Он, сын сельского торговца из дальней волости, знающий хорошо молитвенные распевы, был назначен кем-то вроде регента.

Ударив, как всегда, о косточку левой руки камертоном, затем для «близиру» послушав его, Сухариков приподнял руки, а затем, взмахнув ими, начал первым, и все подхватили тягучую молитву. «Царю небесный». Когда она была пропета, маленький дирижер снова ударил камертоном о косточку руки, и снова зазвучала вторая молитва. И когда были пропеты все пять молитв, надлежало сделать полуоборот направо и повернуться к портрету Николая Второго.

- Полуоборот направо! - пискливым дискантом скомандовал Сухариков. И все повернулись.

Но вдруг послышался звонкий голос вбегающего в зал Всеволода Владимировича:

- Отставить! - А затем: - Полуоборот налево! - И совсем тихо: Стоять вольно, господа...

Его глаза блестели. Блестели, как тогда, на открытии гимназии. Всеволод Владимирович волновался.

- Внимание, господа, внимание, - начал он. - Царь, ныне бывший царь, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Но отрекся и Михаил. Монархия в России низложена...

- Позвольте, позвольте, досточтимейший Всеволод Владимирович, послышался голос стремительно появившегося протоиерея Калужникова. - Меня, как исполняющего обязанности директора гимназии, об этом не уведомляли... И я запрещаю в стенах вверенной мне гимназии...

- Слушаюсь! - совсем по-солдатски сказал Всеволод Владимирович и, не выслушав Калужникова, вышел из актового зала, не закрыв за собою дверь.

- Петь «Боже царя храни»? - спросил Сухариков.

- Петь! - приказал Калужников. - Петь!

Сухарикову из задних рядов строили рожи, угрожали, но этот мальчик из торгового звания, видимо, готов был, а может быть, и рад был пострадать за царя.

- Полуоборот направо! - уже не пискливо, а визгливо, как-то по-синичьи скомандовал он.

Повернулись не все, но большинство. И вдруг совершенно несвойственно для священнослужителя была подана повторная команда протоиереем:

- Полуоборот направо!

Кто-то еще сделал поворот. Но многие не подчинились команде. Калужников почему-то обратил внимание не на кого-то, а на Толлина. Может быть, потому, что тот стоял ближе к протоиерею.

- Толлин, почему ты не повернулся?

Маврик хотел было сказать «не я один», но в этом была какая-то трусость, какое-то прятание за других.

К тому же вдруг вспомнился кладбищенский поп Михаил и толстовские дни. Протоиерей в эту минуту чем-то напоминал кладбищенского попа. Маврик не мог более сдерживаться. И он сказал:

- Отец Михаил... извините, отец протоиерей, я не могу прославлять царя, которого... которого низложили.

По рядам пробежал шепот. Потом наступило молчание. Протоиерей, собрав бороду в кулак, сказал:

- Кто не желает петь гимн, тот может покинуть этот зал.

Воля Пламенев, Коля Сперанский, Геня Шумилин, Митя Байкалов вышли из рядов первыми. Затем еще пять-шесть человек. Затем большая группа из тех, кто колебался и стоял, повернувшись к портрету царя. Остальные запели «Боже царя храни», но запели глухо, боязливо, а некоторые только открывали рот.

Все ждали, что начнется исключение из гимназии. Сегодня же. Сейчас же. Но этого не случилось. Протоиерей уехал. В шестом классе не было урока латинского языка. Зато в актовом зале было происшествие, которое заставило протоиерея возвратиться в гимназию.

Кто-то запустил чернильницей-«непроливашкой» в портрет царя. Чернильница, угодив выше головы царя, разбила стекло, и темно-фиолетовые чернила растеклись по портрету. Актальный зал было приказано закрыть, а портрет снять.

Никого не боявшийся семиклассник Бржицкий, выгнанный из трех гимназий и еле принятый в мильвенскую гимназию, сделав невиннейшее лицо, беспокойно спросил Калужникова:

- Отец протоиерей, а кому же мы теперь будем петь «Боже царя храни»?

Калужников ничего не ответил, потому что управляющий заводским округом Турчанино-Турчаковский сообщил ему по телефону:

- Государь император изволил временно сойти с престола, поэтому формируется Временное правительство из достойных, мудрых и благонадежных, - подчеркнул он, - государственных мужей.

IV

А спустя день, один лишь день, Мильву нельзя было узнать. На домах, над воротами домов рабочих красные флаги. Флаги у проходных завода и у входа в гимназию. Большой флаг на здании управления завода и поменьше - на доме управляющего заводом Турчаковского.

Люди, встречаясь, обнимаются, а иногда целуются, как на пасхе, и поздравляют друг друга с великим праздником.

Доктор Комаров одним из первых появился с красным бантом на шубе. И в гриву его лошади тоже были вплетены две красные ленты.

В окне магазина «Готовое платье» Куропаткина большое объявление о приеме заказов на знамена любых партий, организаций и обществ без ограничения, с вышивкой различных эмблем, знаков и девизов. Ниже сообщалось, что в продаже имеются готовые красные флаги, а также красная материя различного качества и со скидкой.

Маврик ходит по улицам и удивляется, как все и всё очень скоро поняли. Еще несколько дней тому назад его мать запретила касаться царского портрета, а потом сама сожгла его вместе с рамой в русской печке, приговаривая:

- Ты разлучил меня с мужем... Ты принес дороговизну... Вот и гори за это, рыжий...

Еще позавчера протоиерей готов был исключить всех, кто не захотел петь «Боже царя храни», а сегодня просвирненское полудурье Тишенька Дударин бегаёт босой, в красной опояске и глумится над Николаем Вторым, выкрикивая:

Колька-Миколка,
В холке иголка,
Шьет, смердит,
Колесом вертит.

Типография Халдеева, такого рьяного цареобожателя, ходившего каждый царский день в собор и вывешивавшего не один, а целых три царских флага на своей типографии, теперь тоже с красным флагом. Теперь тоже печатает со скидкой объявления и афиши политического содержания. И на улицах Мильвы пестреет множество больших объявлений о выборе в

рабочий Совет депутатов, в солдатский Совет депутатов. И они, не успев повисеть, заклеиваются решениями объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов.

Еще вчера «политических» почти не было в Мильве, и только некоторые подозревались в «политиканстве», а теперь их оказалось так много, что даже трудно представить, сколько их. И все они носят разные названия. Большевики. Меньшевики. Максималисты. Анархисты. Трудовики. Кадеты. Левые эсеры. Правые эсеры. И особо союзы. Союз металлистов. Союз фронтовиков. Союз потребительских обществ. Союз приказчиков... Возник даже союз нищих. Им-то зачем особый союз? Оказывается, нужен. В среде нищих тоже произошел переворот. Была свергнута верхушка привилегированных нищих, в которую до последнего времени входила бабка Санчика - Митяиха. Это сделали солдаты-калеки, вернувшиеся с фронта и пополнившие ряды нищих.

Если у всех союзы, то, может быть, нужен союз учащихся? Всех учащихся гимназий, городского училища и технического.

В голове такая карусель, что Маврикий пока даже приблизительно не может разобраться в случившемся. И Артемию Гавриловичу не до него. Он и Матушкин весь день в Совете депутатов. Кулемин в один из вечеров едва выбрал час, чтобы поговорить с Ильюшей Киршбаумом о матери.

Ее ждали со дня на день. Уже вернулись трое мильвенских заключенных. Илья надеялся, мать придет вместе с отцом, который, по его глубокому убеждению, не пропал без вести, а скрывался все это время.

В гимназии кто в лес, кто по дрова.

Коля Сперанский называет себя социал-демократом. Его брат объявил себя левым эсером. Димка Булочкин, сын колбасника, и Генька Турчаковский, внук управляющего, создают лигу юных кадетов. Юрка Вишневецкий уже создал «союз альпийских стрелков». Волька Пламенев объявил себя большевиком. А Митька Байкалов ищет программу анархистов-синдикалистов, произнося вместо «синдикалисты» - «скандалисты». Наверно, это и привлекает его. А Казька Бржицкий уже заявил всем, что он убежденный анархист, и в доказательство этого ходит без ремня, с расстегнутым воротом. Он обещает явиться в гимназию, как только станет потеплее, без рубахи. Наверно, явится. И это очень глупо. Кроме того, что он дубина, ничего не будет доказано.

Правильно, что на стене в раздевалке под словом «долгой» нарисован отросток слепой кишки. Но зачем пририсована рука с ножом, срезающая этот отросток? Это же не горнозаводская больница, а гимназия. Разве нельзя прийти и сказать: «Господин протоиерей...» - или лучше

официальнее: «Господин Калужников, мы надеемся, что вы, чувствуя себя ненужным отрочком, отречетесь от должности и передадите ее Всеволоду Владимировичу Тихомирову, не дожидаясь Учредительного собрания».

Вообще, не применяя никаких ножей, правильнее всего заставлять отрекаться, как это сделали с Николаем Вторым.

Сейчас даже в первых классах гимназии и в простых школах все играют в свержение царя. Уговорят мальчишку стать царем. Посадят его в кресло. Наденут на него корону. Начнут ему кланяться. А он сидит на троне, в короне и кричит, кого расстрелять, кого повесить, кому голову отрубить... А его упрасивают. Не казни. Не руби. Не вешай. Поют ему «Боже царя храни». А он ни в какую. Потом вдруг лопаются терпение у ребят. Запевают: «Отречемся от старого мира...» И начинают требовать у царя: «Отрекайся... отрекайся...» А он упирается. Тогда раздаются клич: «Вставай, подымайся, рабочий народ...» - и начинается свержение.

Второклассника, сына смотрителя завода, свергали до синяков. Его в буквальном смысле сбрасывали с престола, а престол стоял на довольно высокой кафедре. Будь бы Маврик в их возрасте, наверно бы, и он играл так же. Но ему пятнадцатый год. В эти годы нужны настоящие свержения. Пусть мало значит гимназия в большой жизни, но и она требует изменения. Для чего же тогда революция, если все останется так, как было при царе, вплоть до утренних молитв, на которые по-прежнему звонок призывал в актовый зал?

Как нужна встреча с Иваном Макаровичем! Хотя бы на час. Даже на пятнадцать минут, чтобы спросить - что ломать, а что оставить. И не один он хочет знать об этом. Все в какой-то неопределенности. И сама революция похожа на большую руку, на громадную ручищу, которая замахнулась и остановилась в замахе. Замерла. Как будто ее какая-то сила заговорила, заколдовала... Обессилила.

Не посоветоваться ли с Ильей? У него на заводе как-то все яснее. И Маврик мог бы работать там вместе с Илем и Санчиком. Маврик не очень уверен, нужна ли ему гимназия, где нет технических предметов. Мастерские не в счет. Стоит ли терять столько времени на изучение того, что никогда не пригодится? Например - закон божий. А его все еще преподают. А нужна ли ему история, которая не история, а рассказы о доблестях царей и королей, а не народов. Об этом говорят и сами учителя. И вообще - по дедушке и всему своему древнему зашеинскому роду он принадлежит к рабочему классу...

Маврик пугается своих мыслей. Ему не дадут бросить гимназию и не пустят работать на завод. Пусть пока все идет, как шло, а потом будет видно. А сегодня он пропустит учебный день и сходит поговорить с Ильюшей.

В проходной Маврик сказал волшебное слово:

- Я внук Матвея Романовича Зашеина, мне нужно в цехе посоветоваться о забастовке.

Его пропустили. И вообще теперь в завод пропускали легче, нежели раньше. Маврик решил прежде пройтись по цехам, а потом отправиться к Ильюше.

Совсем недавно Мильвенский завод восхищал его и все было новым и удивительным. А теперь он, повидавший хотя и не так близко другие заводы, зная по картинкам иностранных журналов и рекламным изданиям, как там, как у них, слышав не раз суждения приезжих инженеров, знакомых рабочих и мастеров о том, что Мильвенский завод стар и отстал, мог судить о недостатках своего завода. Пусть незрело, поверхностно, а иногда и наивно, все же верно по целеустремленности.

На шихтном дворе человек пятнадцать чернорабочих били чугунной бабой железный лом для мартеновских печей. Они хрипло пели: «А ну, тянем-потянем...» Чугунная баба медленно ползла кверху по направляющим бороздам копра, потом срывалась и производила ничтожную работу.

Пятнадцать чернорабочих. Пятнадцать поденщин. Во что же обходится только одна разбивка железного лома? И без подсчетов видно, как безжалостно расходуется сила человеческих рук.

А судовой цех, где некогда работал его дед Матвей Романович, по-

прежнему крыт небом. Это площадка, на которой все делают только руки. Тяжелыми большими ножницами руки подрезают железные листы корпуса судна. Руки сверлят по краям листов отверстия для заклепок. Руки молотом расклепывают заклепки, соединяя лист с листом. Руки срубают зубилом заусеницы.

Так строили суда и в прошлом столетии.

В листопрокатном цехе железную болванку в лист превращает прокатный стан.

Но и тут главную работу производят руки, сующие длинными клещами в промежутки валов раскаленное железо, прокатывая его взад и вперед до тех пор, пока оно не станет листом.

Жара. Пот льется не градом, а ручьем. Взмокли просолонелые рубахи. На ногах рабочих лапти, потому что в них устойчивее стоять, да и не напасешься сапогов. Огромных усилий стоит прокат листа, но и при этом лист не всегда идет в дело. То он слоист. То губит его окалина. То середина листа оказывается толще краев, так как прокатные валы, на глазок остужаемые, не всегда сохраняя свою цилиндричность, губят и лист и труд рабочего.

Маврик не замечает бега стрелок часов. Он внимательно смотрит, как рука движет суппорт токарного станка, как вьется синяя стружка и как потом, сопровождаемый бранью, корпус трехдюймового снаряда летит в брак.

- Откуда же быть на фронте снарядам, - говорит никому и всем токарь, - если ось бьет и все хлябает, все ходит ходуном, и летят резцы.

Токарный станок очень стар. Его станина в зазубринах и вмятинах. Наверно, этот станок не был молодым и в те годы, когда дед этого токаря стал к нему учеником.

- Какое же наследство нам оставил царь? - спрашивает всех и никого молодой токарь. - Наверно, сидит он у себя в Царском Селе и пьет романею, а ты тут и ловчись, и страдай за то, что он прожег, прогулял наши новые станки.

Заправляется новая заготовка для нового стакана снаряда, Маврик идет дальше, в конец снарядного цеха, где Ильюша точит медные пояски-кольца для трехдюймовых, самых требуемых фронтом, орудийных снарядов. Маврикий хорошо подгадал. К обеду. До свистка пять минут. Он смотрит издали на своего друга. У него тоже старый станок, но работа проста, и дело спорится.

Свисток. Ремни станков переводятся на холостые шкивы. Затихает гул.

- Здравствуй, товарищ Киршбаум.

- Здорово, товарищ Толлин...

Как взрослые, так и они.

- Ну как?

- Жду маму. Артемий Гаврилович говорит, что она все еще в Перми.

- Наверняка уже скоро приедет Анна Семеновна, - уверенно говорит

Маврик.

Ильюша верит его взволнованному голосу.

- Хорошо бы, Мавр. Спасибо тебе. А ты зачем здесь?

- Посоветоваться насчет забастовки. Нужно бастовать.

- Кому?

- Нам. Гимназистам.

- А за что?

- Согласились бы только бастовать, а за что - найдется.

Илья уселся возле станка на ящик. Подставил такой же своему товарищу. Постлал на него газету, чтобы тот не испачкал шинель. Затем достал бутылку с молоком и два ломтя ржаного хлеба.

- А хозяйка у меня очень хорошая, - сказал он. - Я, конечно, плачу за все и помогаю ей как могу. А бастовать, не зная за что, лишь бы бастовать, - это езда на пароходе за старым сараем по зеленому лугу.

- Как ты можешь сравнивать забастовку с игрой?

- Могу. Я ведь работаю на заводе. И мне отсюда виднее гимназия.

- Кирш! - послышался голос на весь цех. - Иль! Где же ты? Мы собрались.

- Сейчас, сейчас, - отозвался Ильюша. - Вечером я зайду, а теперь у нас разговор. Хотим создавать союз рабочей молодежи... Извини.

И Ильюша, которого теперь называют Кирш, ушел в своем замасленном гимназическом кительке с обтянутыми серой материей светлыми пуговицами, будто их нужно стыдиться и прятать. Что-то разделяет их теперь. И вообще здесь, за оградой завода, другая жизнь, чем там. А бастовать все равно нужно. Илька Киршбаум неправ, что не за что бастовать. Разве нельзя бастовать за то, чтобы он, Илья Киршбаум, был восстановлен в гимназии, чтобы Аппендикс принес ему свои извинения?

VI

Вся Мильва, все слои ее населения признали свержение самодержавия правильным и бесспорным. Оно было ненавистно всем, за исключением разве горстки беспросветно и безнадежно темных людей, верящих в возвращение царя.

Даже такие невежественные господа, как купец Чураков, и те видели в падении монархии расчистку путей к процветанию.

В комаровском кружке досужие и сытые люди по-прежнему между сменой блюд или пятой и шестой рюмками решали судьбы отечества и его правительства.

- А я скажу вам, милостивые государи, - говорил, повязавшись салфеткой по-господски, Чураков, - у нас будет «президент» на манер французского, который станет как бы выборным царем на три или там четыре года. И в случае неподходящести этого правителя, - продолжал купчина, размахивая вилкой, - его не надо свергать. Переизбрал, как волостного старшину, - и никакой амбиции.

Другому мильвенскому тузишке, Куропаткину, президент представлялся человеком с деньгами.

- И не сомневаюсь, господа, - присоединился Куропаткин к предыдущему стратегу, - у президента капиталу будет никак не меньше двух-трех десятков миллионов в устойчивых деньгах. Иначе как можно ему доверить империю? Такой воровать не будет, потому что своих денег невпроворот...

Доктору Комарову президент виделся человеком образованным. И он на ужине, посвященном заре революции, в том же зале, где он предсказывал войну, просвещал своих гостей:

- Да не оставит нас мудрость... Да не покинет благоразумие в нашем предвидении. Лицо, как бы оно ни называлось, которое станет во главе нового правительства, во-первых, будет человеком просвещеннейшим, не только лишь читающим, но и сочиняющим книги по экономике и политике. Я вижу его многосторонне эрудированным и осведомленным, вобравшим в себя самое главное и передовое...

Говоря так, доктор Николай Никодимович Комаров не исключал себя на посту главы правительства.

- Да, да, да, - еле слышно подтверждал Турчанино-Турчаковский, спустившийся теперь до комаровских ужинов. - Демократия. Ничего не

поделаешь. Приходится.

Еле слышно соглашаясь с Комаровым, про себя Турчаковский знал, что президентом изберут подставное лицо, которое провозгласит императора. Не обязательно из дома Романовых. Мало ли хороших родов в России? А может быть, императора предложат немцы. Тоже неплохо. Матильда Ивановна - немка. Это примется во внимание. И еще как.

Пока рассуждали одни, прикидывали другие и молчали третьи, Временное правительство требовало подчинения, соблюдения порядка, чтобы кайзер Вильгельм не воспользовался суетой и разногласиями и не нанес урон державе.

К всеобщему единению всех призывали в проповедях и священники, молившиеся за Временное правительство и о даровании ему победы.

Так много произошло и так мало свершилось. Во главе завода стоял избранный деловой совет, в который вошел и Турчанино-Турчаковский, носивший теперь, как и многие, красный бантик. Турчаковский по-прежнему управлял заводом, хотя и в строгой согласованности с деловым советом, избранным рабочими.

Трехцветный царский флаг был перебит на древках белой полосой вниз и красной полосой сверху, что, по разъяснению знатоков, обозначало громадную победу народа и революции, олицетворяемых главенствующей красной полосой, и низвержение монархии, униженно представленное на флаге белой полосой. Что же касалось средней синей полосы, то ее толковали по-разному. Она, видимо, олицетворяла нечто среднее: торговцев, ремесленников, священников, всяких бывших и тому подобное «ни то и ни се».

Видимо принадлежа теперь к этой средней полосе, пристав Вишневецкий поэтому и ходил в синей бекеше, отороченной серой мерлушкой, и в сером треухе. Трогать его тоже не следовало по той же причине коварства кайзера Вильгельма, который жаждал беспорядков. И если уж не тронули губернатора, то зачем же сводить счеты с мелкой сошкой, тем более что уже есть выборная народная милиция. Пусть себе ходит в своей синей бекеше и охотится на зайцев.

Придет время, и Учредительное собрание решит, как поступить с Вишневецким.

На бесчисленных митингах говорили о неслыханных переворотах, о величайших нововведениях, но это были только слова или внешние изменения. А по сути дела «оставалось то же в новой коже», как говорил Терентий Николаевич Лосев. И сказанное им трудно было опровергнуть.

Правда, ввели восьмичасовой рабочий день, но продукты и товары

подорожали так немало, что большинство рабочих оставались на сверхурочные «вечеровки», а некоторые работали и по две смены.

Избрали Совет рабочих и солдатских депутатов, но управляли комиссары, наделенные губернаторской властью, назначаемые Временным правительством. Действовали в старом составе городские думы, губернские и уездные земства. У власти опять оказались люди, объединяемые теперь уже всем понятным словом - буржуазия.

Наивным, непосредственным и чистым глазам человека, если он даже очень юн, чаще видится жизнь такой, как она есть.

Толлин и его товарищи находились еще в том возрасте, когда глаза невозможно уговорить видеть не то, что есть, а то, что нужно, необходимо или хотя бы желательно благополучия ради.

Гимназия им была ближе всего. А в ней ничего-ничего не изменилось, если не считать замены некоторых слов в молитвах, замены гимна «Боже царя храни» гимном «Коль славен наш господь в Сионе» и замены портрета царя картиной лихой битвы казака Кузьмы Крючкова, посадившего на пику сразу чуть ли не семнадцать солдат вражеской армии.

- Разве только для этого свергли монархию? - резонно спрашивал Коля Сперанский у своих единомышленников, собравшихся в раздевалке нижнего этажа. - Нужно не ждать Учредительного собрания, а добиваться того, чего можно добиться.

Коля Сперанский едва ли сам по себе говорил это все. Он часто бывал у Аркадия Викентьевича Грачева, одинокого учителя рисования, который никогда не выступал и, ни с кем не пререкаясь, имел свои суждения.

- Нужно ли ждать Учредительного собрания, чтобы заставить уйти из гимназии Слепую кишку, чтобы вернуть в гимназию сына подпольщиков Киришбаумов, чтобы сделать необязательным предметом закон божий, чтобы сделать обязательным предметом изучение одного из ремесел, чтобы назвать гимназию общеобразовательным политехническим училищем? Ведь такой же ее хотел сделать Всеволод Владимирович.

В раздевалке Колю Сперанского слушали до десяти гимназистов из разных классов. Тут были Волька Пламенев, Митька Байкалов, Бату Мухамедзянов, второй брат Сперанский, Геня Шумилин, и все они одобряли Сперанского.

- Тебе и быть председателем стачечного комитета, - сказал очень серьезный Федя Кравченко, сын хорошего и любимого в заводе инженера.

Программа требований и все ее пункты были приняты с восторгом.

Добавлений оказалось немного. Только два. Воля Пламенев предложил:

- Если мы требуем, чтобы убрали Калужникова, так должны же мы кого-то и провозгласить - я настаиваю на слове «провозгласить» - нашим директором.

И был принят новый пункт: «Требуем провозгласить директором учредителя нашего учебного заведения Всеволода Владимировича Тихомирова».

Предложенное Мавриком не прошло. Он хотел сбросить в пруд ненавистного медведя. Все сказали, что в гимназии этого не решить, однако все нашли требование правильным и революционным.

VII

Был выбран стачечный комитет. Маврик вошел в него кандидатом. Зато его выбрали делегатом для вручения ультиматума и требований.

На другой день, до начала уроков, Толлин, с красной повязкой на правом рукаве, что должно означать - революционер, и с белой повязкой на левом рукаве, означающей - парламентар, вошел в учительскую.

Там собрались почти все учителя, даже те, у которых не было первых уроков. Они знали о забастовке, и многие хотели ее, хотя и скрывали это.

Толлин вошел, остановился, сделал общий глубокий поклон и сказал, как было велено, очень вежливо:

- Прошу извинения. - Затем, чтобы не заикнуться, он сделал паузу вдох и выдох - и подошел к протоиерею, подал хорошо переписанные, без единой пропущенной запятой, листы и сказал без обращения, как было велено старшеклассниками: - Ультиматум.

Калужников, не прикоснувшись к положенным перед ним листам, не взглянув на них, сказал:

- Чтением не удостою. Перешлю при случае в округ. Пусть решают там. Затем, повернувшись спиной к парламентару, отошел к окну.

Это было слишком оскорбительно. Толлин еще раз поклонился всем и, не удержавшись, объявил, не заикнувшись:

- Забастовка начинается сегодня.

Стачечный комитет, стоявший у дверей учительской в полном составе, слышал, а кто-то и видел в щелочку, что происходило там.

Вместо ожидаемого звонка затрубил охотничий рог. Его принес Байкалов. Затем послышался бой ротного барабана гимназии. Он бил тревогу. Дежурные выстраивали свои классы в коридоре второго этажа. Председатель стачечного комитета объявил:

- Наши требования не стали даже читать. Забастовка начинается сегодня. Сейчас. Организованно и спокойно идите в раздевалку. Пикетчики, по местам!

Забастовка началась.

Митька Байкалов, довольный своим избранием на пост начальника пикетов, успел дать по уху толстомясому Левке, оставшемуся в классе, и замахнуться на Сухарикова. Ударить такого, у кого «еле-еле душа в теле», было невозможно. Это все равно что бить ребенка.

Учащиеся младших классов, которые не должны были участвовать в

стачке, не могли не воспользоваться ею. Это два, а то и три свободных дня. Там тоже оказался свой стачечный комитет. И они тоже ринулись, хотя и менее организованно, в раздевалку.

В этот же день сестра и брат Киршбаумы, сидя у Матушкиных, обсуждали, что можно предпринять, чтобы выволить Анну Семеновну. И когда было решено, что в Пермь с письмами от Мильвенского Совета депутатов поедет Илья, раздался тихий стук в ставню окна.

Емельян Кузьмич вздрогнул. Это был очень знакомый и точный условный стук.

- Неужели он вернулся?! - крикнул побледневший Матушкин и побежал к двери.

Не прошло и минуты, как Емельян Кузьмич завопил, запел, захлопал в ладоши:

- Господи, да святится имя твое... Сто чертей и одна ящерица! Да неужели ж это вы?

На пороге стояли сияющие, смеющиеся, исхудавшие и, судя по всему, голодные Григорий Савельевич в солдатской шинели и Анна Семеновна в чужом стареньком пальто.

- Mamочka!

- Папа!

Дети повисли на шее родителей. Шум, визг, слезы и крики...

- Теперь все позади... Теперь все позади, - успокаивает Григорий Киршбаум не то детей, не то жену, а может быть, свои пошаливающие нервы.

VIII

В Мильве все говорили об ученических забастовках. Женская гимназия забастовала в знак солидарности с мужской. Чтобы не дать выглядеть забастовке «пустой», были предъявлены требования не обязывать гимназисток появляться только в форменных платьях и разрешать носить прическу с шестого класса, а также не ограничивать цвет чулок только черным и темно-коричневым. Требовалось также отменить внеклассный надзор, хотя такового и не было, да и некому его было вести.

Городское училище не могло не забастовать хотя бы потому, что какие-то гимназисты-трубочисты бастуют, а «городские» не участвуют в революции. Учащиеся городского училища требовали для детей солдат бесплатную одежду, учебники и завтраки. Требовали пятого класса, в котором было бы можно по желанию получать специальность: чертежника, разметчика, табельщика, конторщика, делопроизводителя и нормировщика.

Всеволод Владимирович считал забастовку неизбежной потребностью возраста и своеобразным откликом на события, происходившие в стране. Видя, как его питомцы с деланно серьезными лицами разговаривали друг с другом, он находил закономерным и это подражание взрослым. Он знал, что бастующие, устроив себе такие необычные каникулы, непременно возместят пропущенные дни удлинением учебного года и укорочением летних каникул.

С Калужниковым после истории на молитве с отменой пения гимна Всеволод Владимирович старался не разговаривать. Тихомиров знал, что в учебном округе сидят те же лица, что и при царе, и там та же косность, что и была. И что Калужников как был, так и останется исполнять обязанности директора. Однако Всеволод Владимирович ошибался. Старым чиновникам приходилось лавировать и приспособливаться к времени, делать хотя бы вид, что происходят решительные перемены.

Неожиданно для всех явился чин из учебного округа. Его не послали бы сюда через снега и леса, но забастовка гимназии звучала политическим протестом. И требования гимназистов были составлены настолько солидно, что за ними чувствовалась та сила, с которой нужно было ладить.

По приезде чина из округа, человека обходительного, приветливого, вкрадчивого, носившего благозвучнейшую фамилию Алякринский, через пикеты была передана покорнейшая просьба к учащимся собраться в актовом зале и поговорить по существу требований бастуемых.

А накануне уже пронесся слух, что по причине присоединения к Мильве двух новых церковных приходов отец протоиерей вынужден отдать бразды управления гимназией, которые он держал временно, другому лицу.

Это уже можно было назвать уступками, которые удивили учителей и Всеволода Владимировича.

На другой день Алякринский выступил перед учащимися и начал с того, что его, как поборника новшеств и сторонника реформ на ниве народного просвещения, приводят в неописуемый восторг и священную зависть не только лишь слог ультиматума и умение лаконичнейше выражать свои требования, но и само существо манускрипта.

Он говорил возвышенно, не льстя и не покровительствуя, он выразил полнейшее согласие с каждой строкой требований от первой буквы до завершающей точки.

Раздались шумные аплодисменты. Он и рассчитывал на это. Много ли нужно безусым забастовщикам, если усатых и старых, выдавших виды рабочих ловко умели обводить вокруг пальца подобные мастера усыпительного обмана, каких теперь появилось так много, и не только в чиновных кругах, но и в рабочей среде, называющих себя священными именами социалистов, демократов, революционеров, а на деле оказывающихся соглашателями, примиренцами, прихвостнями и слугами тех, с кем нужно бороться и кого нужно досвергать.

- Учебный округ поручил мне поздравить, - продолжал Алякринский, провозглашенного вами, благодарные питомцы, выдающегося и бескорыстнейшего учредителя вашей родной гимназии ее директором и вручить уполномочивающие на директорствование манускрипты. - Он, видимо, любил это латинское слово.

Теперь кричали «ура» все. И учащиеся, и школьный сторож, и два истопника, стоящие в коридоре.

- Далее по пунктам, - продолжал он все так же галантно и всепочтительнейше. - А разве ваша гимназия не является политехнической, коли в ней свои мастерские?.. Разве она не будет политической, коли учебный округ рекомендует ввести обязательным предметом изучение политической экономии?.. Что касается переименования... В названии ли дело? И если вы назовете меня не Алякринским, а Мараклинским, изменюсь ли от этого я?

Шутка очень понравилась всем, и особенно преподавательнице немецкого языка Нинели Шульгиной, которая тотчас же опустила глаза, изобразив своим ртом маленькую-премаленькую букву «о», и принялась мять свою сумочку.

Видя свое отражение в сердцах, душах учащихся и прехорошенькой учительницы немецкого языка, Алякринский заговорил о законе божием:

- Что же касается изучения этого учебного предмета, то я бы от себя лично позволил заметить, что это дело совести, благоразумия и дальновидности каждого из учащихся и главным образом родителей...

Опытнейший оратор возвращение в гимназию Киршбаума приберег напоследок.

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

В скучную, одинокую жизнь Любви Матвеевны недавно пришло приятное известие, а за ним другое. В первом сообщалось, что ее Герасим Петрович теперь уже не нижний чин. Он произведен. Он зауряд-военный чиновник. Почти офицер, но не строевой.

Во втором известии говорилось о приезде отчима Маврика. Любовь Матвеевна вынула из сундуков ковры, приобретенные на пиво, покрыла кровати плюшевыми одеялами, расставила все добытое в отсутствие мужа, чтобы он сразу же по приезде оказался в уюте не худшем, чем у людей.

Новые шторы. Новые занавесочки. В буфете три сервиза. Новая оленья доха и новое штучное ружье. Уже ждет примерки костюм для визитов.

Хотя Вишневецкий теперь и не тот гость, которого можно звать, однако же если бы не он, так умно подсказавший ей, как нужно распорядиться пивом, обреченным на слив в снег, то было ли бы у нее это все? Пристава, наверно, все-таки следует пригласить. Конечно, без гостей и поздно вечером.

Герасим Петрович приехал раньше, чем его ждали. Он появился в офицерской шинели. В серой каракулевой папахе. На погонах по звездочке. Ириша дичится отца. Она не помнит его. А он не спускает ее с рук. Раздаются подарки. Маврику преподносится фотографический аппарат фирмы «Ернеман» со всеми принадлежностями.

Пусть с запозданием, но пришел аппарат. Теперь можно накапливать повествовательные фотографические альбомы. И Маврикий готов сделать первые снимки. Но...

Отчим говорит:

- Еще не кончился учебный год, Андреич. Аппарат может отвлечь тебя. А кроме того, я купил эту дорогую и серьезную вещь на будущее... Когда ты подрастешь.

Аппарат и принадлежности собираются и складываются в сундук. Мать молчит. Она, конечно, всем сердцем хочет отдать сыну аппарат. Он так был нежен с ней все это время. Мать видела в нем свою опору. Она знала, что из него получится хороший человек. Кем он станет, было трудно предположить. Она не исключала увидеть его учителем, сочинителем пьес,

начальником типографии или почты. Кем бы он ни стал, мать может положиться на него как на кормильца. Эти мысли пришли в голову, потому что Герасим Петрович приехал удивительно красивым. Форма так шла к нему. А она за эти годы изменилась не к лучшему.

Все бывает в жизни. К тому же... он моложе ее.

Приезд отчима вернул оскорбительное прошлое. Маврика не назвали петрушкой, но это прозвище так недвусмысленно подтверждалось подаренным и тут же отобраным аппаратом.

Чтобы не уронить себя, чтобы скрыть свои страдания, Маврикий, сказав, что послезавтра трудная диктовка и ему нужно готовиться к ней, ушел из дому, еще раз поблагодарив отчима за дорогой подарок.

Маврик направился к тете Кате в Замильеве через плотину и, как это бывало часто, задержался у медведя. Все привыкли к тому, что на его горбу оставалась корона. Даже кто-то из просвещенных людей сказал, что эта корона никому не мешает и ничем не угрожает, как и все цари и царицы, остающиеся жить памятниками в Петрограде и в других городах.

Маврик не соглашался с этим. Каким памятником, чему памятником может быть царь, восседающий на коне посреди площади? И если он не колебался относительно памятника Петру Первому, то для остальных царей в его душе не было исключения. И тем более его не могло быть для этого зубастого зверя с короной на горбу.

Разглядывая с младенческих лет знакомый монумент, Маврик думал о шестиглавом чудище, которое он топчет и которое совершенно определенно еще в прошлом году называли крамолой, то есть революцией. Какая же еще могла быть большая крамола против царя? И с этим нужно мириться?

Маврику вдруг захотелось пойти к Киршбаумам, и он направился к ним. Всю дорогу он думал о медведе и, придя к Киршбаумам, продолжил свои мысли вслух.

Григорий Савельевич был очень весел. Сегодня он узнал, что с каторги возвращается старейший мильвенский революционер, организатор первого нелегального кружка «Исток» - Родионов. Теперь прибавится еще один большевик. И может быть, его можно будет провести в Совет.

Киршбаум, соглашаясь с Мавриком относительно медведя, сказал:

- Едва ли можно придумать более злую сатиру. Российский капитализм был горбат от рождения. И он сгорбил еще больше, когда стал матерым зверем. Таким он остается и теперь. Горбатого может исправить только могила.

Для Маврика стало непреложно, что горбатый медведь олицетворяет

капитализм и что такое олицетворение терпеть на плотине завода нельзя. И Маврик предложил:

- Хорошо бы его сбросить с камня в пруд. Тут очень глубоко. Леска в семнадцать колен не достает до дна. Это больше пяти саженей. Со дна пруда никто и никогда не поднял бы медведя.

- Кому нужно, Маврик, возиться с этой машиной? В нем же, наверно, пудов двести. А то и больше, если он отлит не пустотелым. Хорошо, если б с него хотя бы свинтили корону.

Об этом тоже думал когда-то Маврик. А теперь он твердо решил отвинтить корону и сбросить в пруд.

Этим планом он поделился с Ильюшей.

- А что ты думаешь, Мавр, и свернем. Нужно только узнать размер гаек и подобрать ключ.

Залезая мальчишкой на медведя, Маврик точно помнил, что корона привинчена четырьмя большими гайками, но каков их размер - он не знал. Ему на память пришел раздвижной французский ключ. Тот самый французский ключ, что изображен скрещенным с молотом на фуражках техников. Если бы достать такой ключ!

Оказалось, что можно достать и не такой, а цепной, с большим рычагом.

- Перед таким ключом не устоит никакая гайка, - заявил знающий Илья. - И такой ключ есть у Терентия Николаевича.

Услышав это дорогое имя, Маврик вспомнил, как он всегда потакал их затеям. И уж если кому-то можно было довериться без опасений, то только ему, верному другу детства. Захотелось взять в компанию по свертыванию короны и Санчика Денисова.

- Решено?

- Решено!

II

А дальше все было как в сказке. Санчик, конечно, немедленно согласился раскороновать медведя. Терентий Николаевич тоже сказал:

- В чем дело, рабочий класс? Только керосинчику все ж таки нужно захватить. Вдруг да прикипели, приржавели гайки к болтам.

Ночь была мгlistая и теплая. На счастье, не горели на плотине дуговые электрические фонари. Полицейского поста не было и в помине.

Три друга благополучно отвернули три гайки. Четвертую заело.

- Значит, и на мой пай осталась гаечка. Спасибо, не обошли своего старого дружка.

Терентий Николаевич полез на памятник, и гайка с первого же рывка отломилась вместе с изоржавевшим болтом.

Самое легкое оказалось самым трудным. Корона была литой и тяжелой. Ее нужно было, во-первых, снимая с анкерных болтов, приподнять, а потом скатить с горба по хребту к хвосту, не дав ей сползти по боку медведя.

Нашлась доска. Доску подвели под корону. Затем протащили по доске к хвосту и скинули в пруд. Корона будто сама рвалась в воду. Покатившись, она не упала на кромку, а булькнула в промежуток отбитого от кромки плотины льда. Так что не пришлось и спускаться на лед.

- Теперь скорым ходом-пароходом по домам! - скомандовал Терентий Николаевич.

Дуговые фонари зажглись до того, как Маврик пришел домой.

О похищении короны с горбатого медведя стало известно ночью.

Утром об этом узнали рабочие, идущие в завод через плотину, а затем и весь завод.

С наступлением дня по плотине нельзя было ни пройти, ни проехать. Всем хотелось посмотреть на медведя без короны. И всех это страшно потешало. Медведь с болтами, торчащими из горба, выглядел дурашливым зверем из балагана. И кто-то уже потешался, заметив это:

- А как, Миша, мильвенские молодайки по воду ходят?

И казалось, что медведь подымет на дыбы и начнет услужливо паясничать.

Побывал на плотине и доктор Комаров. Он сказал:

- И очень правильно сделали... Если он нес на своей спине эмблему, не соответствующую времени, ее нужно было сбросить, как сбрасываем мы

все противоречащее нашему революционному духу...

А на обратном пути, едучи в своих легких санках, доктор пожалел, что не было торжественного церемониала сбрасывания короны. Как бы это могло быть театрально... Корону можно было бы осквернить, а затем отправить в печь для переливки на оборону.

Турчанино-Турчаковский тоже имел суждение по этому поводу на деловом совете:

- Я и сам думал об этом, да постеснялся выглядеть слишком левым. Мне давно казалось, что корону следует заменить якорем.

- А почему именно якорем? - играя в некоторую оппозицию, по крайней мере интонационно, спросил неперменный кандидат делового совета и зауряд-техник Краснобаев.

- Якорь, Игнатий Тимофеевич, - мягко принялся отвечать Турчаковский, - помимо того, что является давнейшим изделием нашего завода, еще аллегорично олицетворяет собою надежду! Это символ надежды.

- А на что? - спросил снова с наигранной ершистостью Краснобаев.

- Все люди во все века надеялись на что-то! - с той же мягкостью разъяснил Турчаковский. - А теперь, после революции, мы живем столькими надеждами! И такими, - он простер руки, - великими надеждами.

- А как же насчет крамолы, которую попирает медведь?

- Игнатий Тимофеевич, это не крамола, а са-мо-дер-жа-ви-е... Ненавистный царизм растаптывает русский народ в образе проснувшегося после вековой спячки могущественнейшего исполина леса, которого из черного нужно перекрасить в... во всяком случае, подсветить.

И всем это понравилось.

Было велено подыскать четырехлапый якорь или отковать новый по размеру.

III

В Мильве каждый день что-нибудь да случалось, и ничего не происходило существенного, изменяющего жизнь, становившуюся день ото дня труднее.

В России давно, а может быть, и никогда еще не было такого разновластия, такого многопартийного ералаша.

А в Омутихе на мельнице, в бывшем тихомировском доме, строились свои планы. Они были несравненно мельче и благовиднее, хотя суть их была той же самой - воспользоваться «неразберихой», добыть, приумножить то, что обесценилось в сумятице войны и нетвердости в управлении, чтобы потом, когда все войдет в свою норму, когда появится новый царь, или президент, или какая-то разумная коалиция, обесцененное скажет свою настоящую цену. Поэтому, если мужики под шумок рубят казенный лес и продают почти даром за посевное зерно отличные бревна, бери их, Федор Петрович, складывай, укрывай. Есть-пить не просят. Брошенный овдовевшей солдаткой клин земли будет стоить подороже золота. Покупай, Федор Петрович, да делай вид, будто ты это жалеючи соглашаешься взять маловажную землю.

Глупо скупать скот. Он требует ухода, а медь, листовое железо, сортовой прокат, что тащат с завода недоедающие люди, тоже подымется в цене, как только люди, прикончив войну, начнут латать свои прорехи.

Кому теперь нужен тот же гвоздь? Кто строится теперь? А как понадобятся гвозди, когда вернутся уцелевшие на войне!

На горбатом медведе нет короны, но медведице царствует. Он ведет за собой еще многих людей, и ему еще очень многие поклоняются.

Как же сломать это все и можно ли сломать? Как выправить горбы людям? Горбатых много. Нельзя же их всех исправлять могилами. Это жестоко до невозможности.

И однажды, задумавшись у окна в тихой квартире тети Кати, Маврик спрашивает:

- Правда ведь, тетя Катя, я стал серьезнее?
- Ты всегда был серьезным мальчиком. Серьезным и жизнерадостным.
- Нет. Это неверно. Я никогда не был серьезным. И может быть, никогда не буду. Вообразив себя поэтом, я написал глупый роман в стихах. Вообразив себя взрослым в восемь лет, я поверил, что Лера влюбилась в меня. Это же глупо.

- Почему же? Если б я была Лерой, то разве бы я взглянула на кого-нибудь?

- То ты, тетя Катя. В любовь играть нельзя, как и в революцию. А я играл... Забастовка в гимназии разве не была игрой? Разве эта игра не продолжается?.. Тетя Катя, не перебивай!.. Мне пятнадцатый год. И если бы не мой низкий рост, я бы походил на мужчину.

- Да ты и сейчасходишь, Мавруша. Оченьходишь!

- Нет. Я хочу походить. Я играю в мужчину. Тетя Катя, когда же, когда из моей жизни уйдет игра, уйдет детство, которое не отстаёт от меня? Ведь отвинчивание короны с медведя на плотине - это тоже было мальчишеством.

- Это ты отвинтил ее, Мавруша?

- Тебя это пугает, тетя Катя?..

- Нет, нет. Мне почему-то хотелось думать, что это сделал ты. И, конечно, Ильюша. И, конечно, Санчик.

- И, конечно, Терентий Николаевич. Это он разболтал тебе.

- Нет, Маврик, я могу поклясться, мне этого никто не говорил.

- Как это удивительно! Наверное, ты и я - это почти что одно.

- Наверно.

- А с папой я, кажется, на разных политических позициях.

Екатерина Матвеевна не отозвалась на это. Тогда Маврик спросил прямее:

- Так много партий, что не запомнишь их всех. Какая, ты думаешь, лучшая?

- Я так далека от всего этого и даже не знаю, как ответить.

- И не можешь посоветовать мне, какую лучше выбрать?

- Зачем же тебе советоваться со мной? У тебя столько хороших и умных друзей. А я скажу тебе, что ранний и торопливый выбор партии тоже может оказаться игрой...

- Это верно, - согласился Маврик, - но нацеливаться и разбираться в политике нужно уже сейчас...

IV

Тетка и племянник теперь сдружились по-новому. Как взрослый с взрослым. И тем более было странным то, что в разговорах они почти не касались Ивана Макаровича Бархатова.

Они скрывали друг от друга то, что потеряло всякий смысл держать в тайне.

На другой же день, когда в Мильве стало известно о падении монархии, счастливая Екатерина Матвеевна хотела рассказать своему самому близкому человеку о том, как с первой встречи в Перми у нее проснулись добрые чувства к Бархатову и как потом, после его приезда в Мильву, она поняла, что любит Ивана Макаровича. Боясь этого чувства, уходя от него, она приближалась к нему. А потом, когда она поняла, что этот прекрасный человек достоин большего счастья, чем она может принести ему, пренебрегла всем. Богом, который тогда еще был в ней сильнее всего. Церковным браком. Боязнию быть сосланной, ославленной, осмеянной. И она встретила с ним в маленьком уездном городе Оханске.

Она нашла бы слова для племянника, чтобы тот не осудил свою тетку. Она сумела бы раскрыть перед Мавриком душу ее мужа и показать, как богата и как щедра эта душа человека, отдавшего себя людям. Екатерина Матвеевна рассказала бы о встречах с ним в Елабуге, в Верхотурье, не утаив ничего.

Ей нужна была исповедь. Она все еще в чем-то чувствовала виноватой себя, хотя и не видела за собой никакой вины.

Прошрое в ней не было сильнее ее большой любви, но все же оно давало себя знать. И что скажет соседка, как отнесется к этому родная сестра, для нее не было безразлично. И тем более очень важна была для нее оценка Маврика. Так уж была устроена Екатерина Матвеевна.

Откладывая со дня на день разговор с племянником о своем замужестве, она в конце концов пришла к заключению, что будет правильнее, если обо всем этом расскажет ему сам Иван Макарович. От него все это время не было никаких известий. И это удерживало Екатерину Матвеевну от разговора с племянником.

А почему же Маврик, зная все, не подсказал тетке счастливого для них обоих разговора?

Прежде всего, как и прежде, он считал неуместным вмешиваться в тети Катины тайны. Может быть, все на самом деле не так, как ему хочется

думать и верить? Может быть, как случается с самыми хорошими людьми, они разонравились друг другу? Ведь почему-то от него нет никаких известий, хотя теперь он и мог бы написать открыто. И это тоже заставляет думать, что в их отношениях произошли не очень хорошие изменения. Зачем же напоминать о нем тете Кате и ранить ее, заставляя стыдиться, раскаиваться. Нет, он этого никогда не сделает. Другое дело, что он никогда не сумеет плохо относиться к Ивану Макаровичу. И он не сумеет обвинить его, даже если... Ну, правда же, тетя Катя не так уж красива, хотя и очень цветуща для ее лет... Правда, что она довольно далека от революции, от его борьбы...

Нет, Маврик не будет винить его. А виденное им в Верхотурье на берегу излучины Туры он забудет для всех и для себя.

Но, как бывает обычно, сложные узлы, запутанные истории развязываются нередко просто и быстро. На другой день Екатерина Матвеевна получила от своего мужа письмо и не раздумывая показала его Маврику. И Маврик прочитал:

«Родная моя! Прости меня за молчание. Там, где я был, оттуда не доходят письма. Сегодня с гордостью могу сказать, что выполнил очень большое поручение, такое большое, что даже не могу поверить в то, что было. В ближайшие недели буду на Урале и, конечно, в Мильве. Следующее письмо пошлю завтра, оно будет подробнее. Целую тебя и барашу-кудряшу...»

Тут Маврик прервал чтение и, прикинув к тетке, сказал:

- Я очень счастлив, тетечка Катечка...

Не будем давать волю розовым сентиментальным строкам, которые готовы занять несколько страниц; скажем только, что этот день для Маврика был днем многих и неожиданных развязок.

Не зная, куда деться от счастья, заполнившего всего его, Маврик решил пробежаться по плотине, плюнуть на ходу в морду горбатому медведю. И это было сделано. А потом ему захотелось побывать на Мертвой горе, где самые ранние проталины. Там начинается весна раньше, чем где-либо в Мильве.

Идя через кладбище, Маврик никак не предполагал, что здесь произойдет драматическая сцена, и даже не одна.

Надо сказать, что кладбище в Мильве вовсе не такое уж мрачное место. Огромные разлапистые сосны, могучие лиственницы в сочетании с лиственными деревьями делают кладбище похожим на парк.

И весной, когда еще всюду снег, здесь немало гуляющих. Были они и сегодня. И среди них Маврик встретил Леру Тихомирову и Волю Пламенева. Они шли медленно по широкой, как улица, аллее. Лера выглядела совсем взрослой. Ей семнадцать лет. Она всегда будет старше Маврика на два года и несколько месяцев.

То ли почувствовав за собой шаги, то ли глаза Маврика, Лера оглянулась.

- И ты здесь, Маврик? Здравствуй!

- Здравствуй, Лера, - ответил на «ты» Маврик. Зачем же он ей будет говорить «вы», когда она говорит «ты»?

Они бы, наверно, как все эти годы, раскланявшись, разошлись, но глаза Леры смеялись, а глаза Воли Пламенева насмехались. Он спросил:

- Уж не назначил ли ты кому-нибудь здесь свидание? - Его глаза насмехались еще более.

В это время, неожиданно до невероятности, меж могил и новых крестов появилась девушка. Это была Соня. Та самая Сонечка Краснобаева, которая шутливо прочилась в невесты Маврику. Соня, не ожидая и, конечно, не желая такой встречи, на секунду замерла, потом спряталась за памятник, похожий на часовню. Лера, заметя это, сказала:

- В самом деле, Маврикий Андреевич, вы, такой влюбчивый молодой человек, наверно, здесь не просто так...

Этого оказалось достаточно, чтобы «завести» Маврика. И он стал говорить не заикаясь, не ожидая от себя таких точных слов. Может быть не только обида, но и прочитанное письмо от Ивана Макаровича придавали ему и силу, и красноречие, и смелость.

Он сказал:

- Нет, я никому не назначал свиданий с тех пор, как в вашем доме, на мельнице, посмеялись над моей ребячьей любовью, которую ты, Лера, заставила зажечься во мне под рябинами на Ходовой улице, когда я был ребенком.

Лера заметно смутилась. На ее щеках появился румянец.

Соня Краснобаева не хотела слушать далее их разговор, но какая-то сила удерживала ее.

- Ну что ты, право, Маврик, - сказала тихо Лера. - Это все было милой шуткой...

- Милая шутка стоила мне горьких слез, - сказал Маврик. - Это было первое безутешное горе...

- Но теперь-то, когда все прошло и забылось, зачем вспоминать об этом? - негромко и наставительно сказала Лера.

- Откуда ты можешь знать, Лера, что все забылось и прошло?

Соня снова попыталась покинуть свою засаду и не могла. Хотела - и не могла.

- Послушай, ты забываешься! - прикрикнул на Маврика Пламенев, как старший на младшего. - Я запрещаю тебе...

- Запрещаешь? Ты запрещаешь? А разве это в твоих силах? - спросил Маврик. - Разве можно запретить мечтать, верить, надеяться, любить... Этого не может запретить никто... Никто, кроме смерти... - Так он сказал, наверно, потому, что кругом были могильные кресты, надгробные плиты и сама гора называлась Мертвой. - Ты, может быть, запретишь Лере встречаться со мною во сне? Попробуй уведи ее из моих снов!

Пламенев подошел к Маврику и хотел приподнять его за воротник шинели и тряхнуть, как это делают с озорными мальчишками, а затем наподдать коленом, но пронзительный голос Леры остановил его:

- Не смейте, Пламенев! Это бесчестно. Вы хотите воспользоваться своим превосходством?

- Превосходством? - переспросил Маврик. - Каким? Мускулы превосходство быка, но не человека... По-латыни это изречение звучит выразительнее, - сказал он только Лере и затем, поклонившись тоже только ей, заметил: - Какая сегодня хорошая погода. Прошу передать поклон от меня и от тети Кати Варваре Николаевне... Всего хорошего.

Маврик еще раз поклонился Лере и ушел. Удивленная Лера осталась посреди главной аллеи. Обескураженный Пламенев поднял вытаявший сосновый сук и пустил им в удаляющегося Толлина. Сук не долетел до цели. Маврик не оглянулся.

- Тоже мне... - сказал Пламенев. - Щенок, наторевший твякать трагическими монологами. Доморощенный стихоплет...

Лера не отозвалась, провожая Маврика виноватыми, широко раскрытыми глазами. Она искала слова и взвешивала их.

Слов нашлось много, и хороших слов, но почему-то не сказалось ни одно из них. Наверно, Лере было жаль обидеть Волю Пламенева, который так неожиданно померк, а затем умер в ней и для нее. Как будто ничего не произошло, но что-то случилось непоправимое. И Лера сказала Пламеневу:

- Воля, вам лучше всего сейчас молча оставить меня, если вы хотите на что-то надеяться. Идите же, - сказала она, свернув на боковую просеку.

Маврик был уже далеко. Он не слышал и не видел, что происходило за его спиной. Но все же ему пришлось оглянуться. Его догнала Сонечка Краснобаева.

- Мы так давно не виделись и не говорили.

Перед Мавриком стояла тоненькая гимназистка с темными печальными и взрослыми глазами.

- Да, Соня, мы так давно не виделись...

- Какой ты стал большой-пребольшой и умный-преумный. Я всегда верила, что будешь таким, и гордилась тобой.

Маврик, остановившись, настороженно спросил:

- А зачем тебе нужно гордиться мною?

- Не знаю, - тихо сказала Соня. - Только ты все это время жил в моих глазах. Стоило только мне их закрыть, и ты тут. - Соня закрыла глаза, повторяя: - И ты тут. Где бы ты ни был и кто бы ни был с тобой, я никогда не отпускала и не отпущу тебя из моих глаз... Этого мне тоже никто не может запретить, как и тебе видеть во сне ту, которая не стоит ни одного твоего сна, ни одного колечка твоих волос, ни одного лучика твоих глаз...

- Это неправда! - крикнул Маврик.

VI

Ранняя влюбленность не похвальна, но если она чиста, то за что же ее хулить?

Соня, признавшись Маврику, стремглав умчалась, счастливая, веселая, окрыленная...

Маврик, желая осмыслить события, направился было к дедушке с бабушкой, но его привлек стон и храп.

Меж могильных холмов лежал оборванный, с грязным лицом, заросшим свалывшимися седыми волосами, очень дряхлый старик. Он был смертельно пьян. И смерть сторожила его здесь, на кладбище, где было сыро, а ледяная земля и не думала оттаивать.

Маврик не сразу узнал лежащего. Это был изгнанный законоучитель кладбищенской церковноприходской школы отец Михаил.

Маврик слышал, что просвирня Дударина очень плохо обращается со своим старым спившимся сударем. Бьет его. Отбирает у него довольно большую пенсию благочинного, ушедшего на покой. Старик, страдающий неизлечимым алкоголизмом, был вынужден просить милостыню или, появляясь у казенки, молить о глотке водки.

Как ужасно, как жестоко поступила с ним жизнь! Но должен ли быть жестоким он - порядочный человек Маврикий Толлин? Не безнравственно ли пройти мимо, не оказав помощи?

Маврик побежал за церковным сторожем. Нашелся и другой человек, прирабатывавший на кладбище. Они согласились за предложенные Мавриком деньги стащить пьяного в просвирнин дом, находившийся напротив кладбища.

Просвирне Маврик сказал, что ей придется отвечать перед судом, если она не позаботится о своем гражданском муже.

- Теперь не старое время, - напомнил Маврик, обещая поговорить с протоиерем Калужниковым об устройстве отца Михаила в богадельню.

Что было и сделано Мавриком. Однако же скажем, чтобы не возвращаться к личности кладбищенского попа, что он, попав в режим богадельни, без алкоголя не прожил и двух недель. Но все же умер он по-человечески, не под забором и в трезвом виде.

Покойника никто не провожал до могилы. Даже не пришла с ним проститься просвирня Дударина. Он канул бесславно в черном забытии, как жалкая крупица того мира, которому оставалось доживать не так много

дней.

Но этот мир еще существовал, действовал и не собирался уходить.

VII

После свержения самодержавия в России возникли две власти: Советы и Временное правительство. А в Мильве их было даже три. Третья - заводская, управительская, самая сильная власть Турчанино-Турчаковского и его свиты.

Трудно приходилось большевикам, мильвенские большевики окончательно размежевались с партиями, ставшими на путь соглашения и примиренчества с буржуазией и ее правительством.

Комитет большевиков, находившийся в Замильвье, приходилось охранять. Пугали разгромом. Подбрасывали анонимные угрожающие письма. Задерживали почту. Не всегда доставляли большевистские газеты. И все же чем больше травили, третировали большевиков, тем слышнее был их голос. С большевиками можно было не соглашаться, но невозможно было опровергнуть того, что они говорили. Потому что это было правдой. Неоспоримой правдой.

Работать было чрезвычайно трудно. Мильвенские большевики просили помощи в ЦК. На большую помощь рассчитывать не приходилось. Для работы в Мильву посылались два питерских рабочих и выдающийся организатор многих партийных ячеек, прошедший суровую школу подполья, - Прохоров.

О приезде Прохорова в Мильву стало известно в день открытия обновленного памятника на плотине. После того как были произнесены примелькавшимися ораторами помпезные речи, после того как театрально сполз белый полог, закрывавший перекрашенного в цвет старой бронзы медведя, который нес теперь на своем горбу четырехлапый символ надежды позолоченный якорь, слово было предоставлено Прохорову.

У Маврика, стоявшего в толпе вместе с Ильюшей и Санчиком, замерло сердце. На трибуне появился Иван Макарович Бархатов. Хотелось крикнуть. Хотелось побежать к нему. Но разве это возможно? Иван Макарович, может быть, теперь не только не Бархатов, но и не Иван Макарович. Но все равно это тот человек, который навсегда записан в сердце Маврика Иваном Макаровичем. Нужно взять себя в руки и слушать его.

- Товарищи! Граждане! Господа! - начал он. - Якорь, олицетворяющий надежду, лучше, чем корона, олицетворяющая власть царя. Однако же не всякая надежда достойна того, чтобы в честь ее возводились памятники.

В толпе пришедших на открытие перекрашенного медведя, слышавших до того заумные, высокопарные и расплывчатые речи, возникло оживление. Люди почувствовали, что этот оратор с короткой бородкой, седеющими висками, с большими глазами, которые горят не жадной похвал, а простым сердечным желанием вскрыть суть, тверд и непримирим.

Так он и говорил:

- Если кто-то, открывая этот памятник, надеется, что царя свергли для того, чтобы расчистить путь к власти капиталистам и помещикам, это напрасная надежда.

В толпе послышался шумок одобрения.

- Кому кажется, что все уже произошло, - продолжал он, - тот ошибается. Свержение самодержавия - это громадное завоевание нашего народа. Громадное, но не единственное и не самое большое. Главное впереди.

- На что вы намекаете? На что надеетесь? - послышался голос. Этот голос принадлежал Игнатию Краснобаеву.

И он получил ответ:

- На лучшее. На большее. На величайшее. И мы можем надеяться на это. В Россию вернулся Ленин. Вернулся Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

- А много ли вас с ним? - опять крикнул Краснобаев.

- Не очень много, - спокойно ответил Прохоров. - Но все же вполне достаточно, чтобы разоблачить соглашателей, вывести на чистую воду предателей и повести за собой рабочий класс, трудовое крестьянство, всех передовых и честных тружеников.

Сказанное получило живейшие отклики. Слова находили дорогу к сердцам. Маврикий тоже кричал «ура», и «правильно», и «поддерживаем». Но его хватило ненадолго. Ему нужно было как можно скорее побежать в Замильеве к тетке. Но ему в то же время хотелось знать, что будет дальше на трибуне.

А на трибуне приезжий все более и более овладевал вниманием слушающих. В его самых обыкновенных словах звучала большая правда, которую нельзя не понять и не принять.

Так уж ли много мильвенцев в апреле семнадцатого года слышали имя Ленина? А теперь они слышат, как с его голоса говорит встречавшийся с ним этот задушевно простой приезжий человек. И ему невозможно не верить. Даже Краснобаев, заранее, еще до приезда, ненавидевший этого присланного вожака мильвенских большевиков, и тот вынужден заставлять себя напрягать свои силы, чтобы не соглашаться с ним. Духовно

противостоять ему. И в висках у него стучит: а вдруг в самом деле такие, как он, поведут за собой народ?

Торжество открытия памятника неожиданно для организаторов превратилось в митинг, посвященный возвращению Владимира Ильича.

- Так вот, - продолжал Прохоров, - в Россию вернулся Ленин. Он вернулся не для того, чтобы оставаться равнодушным к буржуазии, захватившей власть в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата...

Снова пронесся гул одобрения. Это еще более воодушевляло оратора, и он сказал:

- Власть должна принадлежать тем, кому принадлежит все - от этого старого завода до этой трибуны. Все, созданное трудовыми руками народа. Народ будет владеть и управлять всем не через посредников и наместников, а сам. Сам! - повторил Прохоров. - Это значит, что к управлению должны быть привлечены самые широкие слои народа... И такие, как Яков Евсеевич Кумынин, как Терентий Николаевич Лосев, и, уж конечно, такие, как Африкан Тимофеевич Краснобаев, - называя их, Прохоров указывал рукой на знакомых, известных всей Мильве рабочих.

Сеня, Толя и Сонечка Краснобаевы стояли неподалеку от трибуны рядом с отцом. Они мысленно благодарили оратора, который при всех так ясно дал понять, что у их отца и у всей их семьи общего с Игнатием Краснобаевым только фамилия.

Слушающим Прохорова хотелось верить, но еще не верилось, что к власти придут простые, совсем простые люди, составляющие большинство населения Мильвы, и не только Мильвы, но и всей огромной страны.

Для многих уже не было сомнения, что партия Ленина станет главной движущей силой страны и времени. Верили в это и три друга, слушавшие, обнявшись, такие хорошие слова о том, какой должна быть жизнь.

Она будет хорошей. И об этом тоже должен Маврик сказать своей тетке. И как можно скорее объявить ей главный лозунг: «Вся власть Советам!»

И вот он бежит по плотине так, что в ушах свистит весенний ветер. И ему кажется, что сейчас он бежит вовсе не к тетке, а навстречу времени... Навстречу времени, в котором так много заключено неизвестного, таинственного и прекрасного...

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)